

Литературная
ГРУЗИЯ

1957-2007

Հրատարակումը անց է կացնում Հայաստանի հանրապետության
Գրականության նախարարությունը, Երևան, 1815



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ
"РУССКИЙ КЛУБ"

ЮБИЛЕЙНЫЙ СБОРНИК

Литературная
СРУЗКА

(1957 – 2007)



Тбилиси
2008

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ "РУССКИЙ КЛУБ"

Издание осуществлено при поддержке
Благотворительного фонда "Карту"

Составитель и редактор сборника
Заза Абзианидзе

Художник Олеся Тавадзе

В подготовке сборника принимали участие:
*Майя Мерабшвили, Ирина Зурабашвили,
Нино Рехвиашвили, Евгения Орлова, Дмитрий
Масхарашвили, Александр Джискуридзе*

На наклейках фотопортреты Важа Пшавела
и Ильи Чавчавадзе принадлежат
Александру Роинашвили (1846-1898)

ISBN 978-9941-402-24-1

Полувековой путь

Журнал «Литературная Грузия» был основан в 1957 году (первый номер журнала вышел в июне того же года) в качестве печатного органа Союза писателей Грузии. Новый «Литературно-художественный и общественно-политический журнал» (как указывалось в подзаголовке) являлся продуктом хрущевской «Оттепели». (Знаменательно, что в том же году начал издаваться молодежный литературный журнал «Дискари» («Заря») – грузинский аналог московской «Юности»).

«Идейную подкованность» нового журнала должен был обеспечить главный редактор – в прошлом «Пролеткультовец» и классический представитель ортодоксального соцреализма – Константин Лордкипанидзе (1905-1986). Тем не менее, появление ежемесячного литературного русскоязычного журнала знаменовало, что негрузинский читатель отныне будет в курсе живого литературного процесса, ознакомится с новыми достижениями грузинского искусства и гуманитарной науки, а также с избранными образцами из классического наследия грузинской литературы. И, действительно, в первые же годы читатели журнала ознакомились с творчеством корифея грузинской поэзии – Галактиона Табидзе, с замечательной прозой Михаила Джавахишвили и Константина Гамсахурдиа; широко была представлена лирика тогдашних «столпов» грузинской поэзии – Георгия Леонидзе, Симона Чиковани, Колау Надирадзе, Ираклия Абашидзе. Особое внимание привлекли первые переводы поэтов послевоенного поколения – Анны Каландадзе и Михаила Квливидзе. Здесь же состоялся «русскоязычный» дебют наших «шестидесятников» – Тамаза Чиладзе и Джансуга Чарквиани.

К столетию со дня рождения Важа Пшавела была приурочена публикация переводов блестящих размышлений грузинского классика о сущности свободы.

В те же первые годы существования журнала (1957-1962) публикации стихотворений Бориса Пастернака и Булата Окуджавы явствовало, что русские поэты, биографически связанные с Грузией, будут особенно желанными гостями на страницах «Ли-

тературной Грузии»; традиционные грузино-украинские литературные связи подчеркивала публикация стихотворений Миколы Бажана, а стихи, посвященные Грузии и вышедшие из-под пера маститых абхазских поэтов — Ивана Тарба и Баграта Шинкуба, возвращают нас к тем временам, когда на административной границе с Абхазской АССР развевался лозунг «Брат братом силен!», писались восторженные стихи и очерки о вековой дружбе народов... Сегодня, возвращаясь к этим патетическим строкам, мы с интересом стараемся разграничить в них искренние порывы от фальши и конъюнктуры и думаем о том, смогла бы или нет более трезвая, раскованная, свободная от расхожих клише литература угадать «гроздь гнева» под лазурной поверхностью взаимных восхвалений...

Итак «первая пятилетка» в основном определила идеологические и художественные приоритеты журнала, которые, если и менялись, то уже в зависимости от предпочтений редактора и той «допустимой свободы», которую завоевал тот или иной руководитель «Литературной Грузии».

С 1962 по 1968 год журналом руководил Михаил Мревлишвили (1904-1980) — весьма интересный и колоритный прозаик и драматург, существенно ожививший художественную палитру журнала. При нем печатаются первые переводы замечательных грузинских прозаиков — Реваза Инанишвили и Гурама Рчеулишвили; также из «шестидесятников», но уже поэтов, — представлены Отар Чиладзе и Гиви Гегечкори; появляется имя прекрасного Александра Цыбулевского, коренного, колоритнейшего тбилисца, своими русскоязычными стихами, рассказами, статьями и исследованиями сразу же привлечшего внимание литературного сообщества. Нельзя не отметить, что при Мих.Мревлишвили все более и более углубляются русско-грузинские литературные связи: свидетельство тому появление на страницах журнала первых стихотворений Станислава Куняева, Юнны Мориц, Елены Николаевской, статей Ираклия Андроникова, отнюдь не вписывающиеся в «идеологическое русло» тех лет публикации писем Бориса Пастернака к грузинским друзьям, переводов Анны Ахматовой и т.д. Весьма интересным было, несомненно, появление на страницах журнала имени прекрасного чешского поэта — Витезслава Не-

звала и английского дипломата, серьезно увлекшегося средневековой грузинской поэзией – сэра Оливера Уордропа (в 1919-20 гг. он возглавлял британскую дипломатическую миссию в независимой тогда Грузии).

С 1969 по 1977 год журнал ведет Георгий Цицишвили (1922-2005) – многогранный и многоопытный литератор, автор романов, повестей, монографий, посвященных грузинской советской литературе, академик Академии наук Грузии, директор Института грузинской литературы, впоследствии – председатель Союза писателей Грузии.

Георгий Цицишвили обладал завидной способностью ладить и с властями и с коллегами и в результате этого редкого качества ему сходили с рук публикации, которые лишили бы редакторского кресла любого другого редактора. Провоцирующий момент в эту ситуацию вносил Георгий Маргвелашвили (1923-1989) – колоритнейший человек и темпераментный критик, ярый поборник русско-грузинских литературных связей. В «Литературной Грузии» он основал и в течение многих лет вел рубрику «Свидетельствует вещей знак», которая знакомила читателей с новыми русскоязычными поэтами, живущими в Грузии, с новыми именами в самой русской поэзии и с теми страницами из новейшей русской литературы (касалось это Пастернака, Мандельштама, Цветаевой или Ахматовой), которые никак не желала публиковать, страшась суловского идеологического террора, столичная литературная пресса. А здесь, вдали от центра, руководясь принципом: «Авось, пройдет», печаталось многое из «запретного», журнал расходился 12-тысячным тиражом (это тираж нынешней «Иностранной литературы») и пользовался необычайной популярностью. Именно с тех пор имя «Литературной Грузии» в российских литературных кругах ассоциировалось с неизмеримо большей свободой, чем могли себе представить столичные издатели, и по сей день во многих и многих публикациях, посвященных наиболее драматичным страницам истории русской литературы XX века, неизменно ссылаются на публикации нашего журнала.

Редакторство Гурама Асатиани (1928-1982) совпало с последними годами «периода Застоя». Будучи ярким критиком и эс-

сеистом и не менее яркой личностью, он конечно же оставил особый след в истории «Литературной Грузии»: именно при нем появляются интереснейшие публикации Анны Ахматовой, Беллы Ахмадулиной, Вл.Леонovichа, Яна Гольцмана, Арсения Тарковского, Олега Чухонцева, Александра Кушнера, Галины Корниловой. На этот раз мы начали с «русской части». Теперь взглянем на «хозяев» – это прекрасные рассказы Нодара Думбадзе и тогда еще молодого Гурама Дочанашвили, публикации стихотворений Мурмана Лебанидзе и возвращение к лирике Георгия Леонидзе и Симона Чиковани. Гурам Асатиани, совместно с Отаром Нодия, председателем существовавшей в те годы Главной редакционной коллегии по литературным взаимосвязям и художественному переводу, был инициатором «осенних» и «весенних» семинаров, посвященных тем или иным жанрам и тенденциям современной грузинской литературы, устраиваемых попеременно то в Кобулету, то, увы, – в Гагре и Пицунде. Это период конца 70-ых – начала 80-ых годов – наиболее плодотворный период русско-грузинского литературного сотрудничества (поскольку на вышеупомянутые семинары приезжал весь «цвет» тогдашнего русского «литературного цеха» – будь то Булат Окуджава или Андрей Битов...). И, что главное, результатом этих литературных дискуссий являлась череда прекрасных статей о грузинской литературе (кстати, говоря, не только московских авторов, но и украинских, литовских, эстонских), которые попеременно печатались и в «Литературной Грузии» и в русскоязычном альманахе «Кавкасиони», издаваемом в те годы Главной редакционной коллегией.

С 1982 по 1986 год журналом руководил Тенгиз Буачидзе (1926-1994) – всесторонне образованный литератор, профессор русской литературы Тбилисского государственного университета, в разные годы работавший министром культуры Грузии, председателем Союза писателей, но (что главное!) последние годы жизни посвятивший тонкой ностальгической прозе и учрежденному по его инициативе Грузинскому фонду культуры.

С 1986 по 1996 год главным редактором журнала являлся Роман Миминошвили (1928-1998) – профессор классической филологии ТГУ, переводчик античной литературы, писатель и литературовед. Общественная деятельность Р.Миминошвили нача-

лась еще в советский период – он был одним из руководителей Союза писателей Грузии и видным идеологом республики. – и продолжилась уже в «перестроечные» годы и времена становления независимой Грузии, когда столь пригодились его яркие качества публициста и публичного оратора.

«Смутные времена» отразились и на периодичности и, естественно, на литературной панораме журнала. Тем не менее, из публикаций этого периода надо отметить изящные литературные сказки Чабуа Амирэджиби, рассказы большого мастера грузинской прозы – Отара Чхеидзе (в свое время сумевшего написать и опубликовать роман о трагедии 1924 года – «Ветер, которому нет имени!»), рассказы маститого Мих.Мревлишвили и молодых – Годердзи Чохели, Нугзара Шатаидзе, Гурама Одишария... Интересны статьи зарубежных авторов, посвященные проблемам грузинской литературы – итальянца Луиджи Магаротто и англичанина Дональда Рейфельда.

Еще более остро встала проблема периодичности с 1997 года, когда главным редактором журнала был назначен Заза Абзианидзе, писатель и литературовед, эксперт Нобелевского комитета по литературе, профессор грузинской литературы, заведующий кафедрой филологии в Тбилисском театральном институте и ведущий научный сотрудник Института грузинской литературы им. Ш.Руставели.

Наиболее заметные «вехи» прошлого десятилетия – это тематические номера журнала, ранее не практиковавшиеся: так, например, один из номеров 1998 года (№ 7-9) целиком был посвящен грузино-еврейским историческим связям; № 1-6 за 2002 год, быстро ставший библиографической редкостью, был посвящен грузинскому Авангарду – как в литературе, так и в живописи начала XX в.; № 1-3 за 2003 год, вышедший в честь 300-летия Санкт-Петербурга. «Сквозная тема» этого номера очерчена в предисловии главного редактора озаглавленном: «Санкт-Петербург в грузинской истории и культуре». Весьма содержательным и емким получился также номер журнала, в 400 с лишним страниц, посвященный грузино-северокавказским историческим и культурным взаимоотношениям (2003 г. № 4-6).

Государственное финансирование журнала прекратилось

несколько лет тому назад, так что после 2000 года, практически, издание осуществлялось лишь за счет спонсоров и то – время от времени.

Благодаря такой спонсорской поддержке и вышел в свет последний, ставший юбилейным номер журнала, кстати, согласно сложившейся традиции, также тематический и повествующий о драматической участи грузинской эмиграции в первой половине XX столетия (2007 г. № 1-6) и, что главное, сам этот юбилейный сборник, который, по замыслу, должен отразить как полувековой путь завоевавшего заслуженное признание литературного журнала, так и памятную эпоху духовного обогащения исторически взаимосвязанных культур.

1

ЛИТЕРАТУРНАЯ

ГРУЗИЯ

1957

1957-1962



Лордкипанидзе Константин Александрович (1905-1986), писатель, поэт. Родился 7 января 1905 года в селе Диди Джихаиши Самтредского района. В 1924 году окончил Кутаисский гуманитарный техникум, после окончания которого работал в различных газетах и журналах. Участник Великой Отечественной войны, военный корреспондент.

Первое стихотворение опубликовал в 1924 году, первый сборник стихов – в 1926 году. Нашумевший роман «Заря Колхиды» до 80-ых годов был включен в учебную программу грузинских школ.

Перу писателя принадлежит сборник «Белорусские рассказы» (1936-1938 гг.). Автор киносценариев и переводов на грузинский произведений А. Мицкевича, И. Франко, М.Бажана, Т. Шевченко и др.

Первый редактор журнала «Литературная Грузия» (1957-1962), главный редактор журнала «Цискари» (1962-1966). Директор издательства «Накадули» (1966-1977), главный редактор альманаха «Гантиади».

Илья Чавчавадзе

Поэт

Пусть мне петь необходимо -
Я бездумной птицей не был,
И не сладостным кадиллом
В мир меня послало небо.

Я - земной, и я - небесный!
Я - не бог, но равен богу,
Коль пою такие песни,
Чтоб народ вести в дорогу.

И пускай мне сердце гложет
Божье пламя год от года:
Я поэт - посланник божий,
Потому, что брат народа.
И народные невзгоды
Грудь, как язвы, мне тревожат.

На пиру и в час ненастья
Жизнь народа - жизнь поэта,
Наделен я высшей властью -
Высекать огонь рассвета,
Слезы счастья и несчастья
Утирать с лица планеты!

Перевод М. Максимова

Деятнадцатый век

Вот и первый день двадцатого века. Новому веку пока что нечего сказать, разве только: вступил ногою к вам, да будет благоволение божье с вами. Прошлый век, который сегодня уступил свой путь и трон новому веку, принес миру немало доброго. Совершенные в этом веке чудеса науки и обретенная людьми просвещенных стран слава и величие далеко превосходят все то, что было видано за все предшествующие восемнадцать веков. Конечно, если бы в прошедшие века люди оставались в бездействии, девятнадцатый век не стал бы столь продуктивным, ибо, как ни говори, прошлые века были сеятелями, а гордостью и славой девятнадцатого века является собранный им обильный урожай, настолько обильный, что наши предки не могли его и ожидать.

Английский философ Бэкон сказал, что прогресс человечества есть не что иное, как каждодневное преодоление границ невозможного. Если взглянуть на девятнадцатый век с этой точки зрения, он действительно вызывает изумление. Невозможное и непостижимое для наших предков сегодня стало возможным благодаря девятнадцатому веку. Расстояние, разделявшее до сих пор отдельные страны, теперь почти ликвидировано железными дорогами, телеграфом и телефоном. Медицина достигла того, что в живом человеческом организме почти ничего не осталось неизвестного и неизлечимого. Внутренние органы человека теперь прощупывают и простматривают, словно выставленный напоказ предмет. Найдены лекарства против многих, истреблявших человечество болезней, и, кажется, немного осталось для того, чтобы открыть даже тот эликсир



Илья Чавчавадзе



жизни, который с таким усердием искал и ищет человеческий разум. Наука уже нашла пути к средствам омоложения и, кто знает, быть может, вскоре мы будем свидетелями того, что и на этом своем пути наука проявит свои способности к чудесам. Человек стал лучше по своему мышлению, думам, разуму, морали и материальному богатству. Богатство разума, морали и материальных благ достигло такой степени, что даже не снилось предшествующим векам. Общее благосостояние человечества повысилось, а раздоры, нашествия и вражеские нападения обузданы боязнью всеобщего порицания. Теперешняя война между Англией и Трансваалем, не говоря о прочем, с полной ясностью показала, что человечество осуждает нападение сильного на более слабого и справедливо гневается на такого рода несправедливые действия.

Трудно перечислить все блага, которые девятнадцатый век принес человечеству. Одним из огромных и замечательных дел девятнадцатого века является то, что широко развернуло крылья и стало на прочную соснову человеколюбивое учение о том, что всякий человек, независимо от общественной ступени, на которой он стоит, имеет равное со всеми другими человеческое достоинство и наравне с другими заслуживает внимания и сочувствия. Правда, истоки этого учения берут начало в далком прошлом, на наш век усилил и возвеличил это учение, и, подведя под него научную основу, превратил его в спасительное для слабых и бедных учение. Идеалом социального строя девятнадцатый век признал "упразднение собственности и равномерное распределение доходов между людьми, уничтожение всякого классового господства и, по возможности, всякого классового различия, помощь трудящимся классам для их расцвета". На этом пути один лишь девятнадцатый век, к его чести, сделал больше, нежели все предшествовавшие века вместе взятые.

Одним словом, повсюду, куда только достигнет ваш слух или взор, увидите успех и движение вперед. Правда, повторяя Шекспира, мы должны сказать: в мире еще много такого, что и не снилось современным ученым; однако даже достигнутое ярко свидетельствует о могуществе острого человеческого разума - и в этом великая заслуга того столетия, которое вчера благославило путь новому столетию, завещая ему показать свою мощь.

Еще раз скажем: прошедший век со своей стороны много дал человечеству. Однако возникает вопрос: счастливее ли стал сегодня человек среди такого довольства, окрепший и усилившийся благодаря успехам науки? Не думаю. Правда, в настоящее время человек - бедный или богатый - лучше устроен, легче может передвигаться, откликаться на события и поддерживать связи с миром; сегодня человек лучше одевается и питается, чем это было в прошлом. Но счастье все еще далеко от него. В наше время между бедными и богатыми, слабыми и сильными легла более глубокая грань, нежели когда-либо раньше, и в этом заключается острота той болезни, исцеление которой девятнадцатый век завещал наступающему столетию. Наука, поступательное движение человеческого разума, улучшение нравов - еще и в дальнейшем смогут успешно решать многие вопросы. Но они не смогут поставить перед человечеством и решить более величественной задачи, нежели это завещание девятнадцатого века.

31 дек. 1899 г.

Перевод Г. Чикваидзе

1957, № 3

Симон Чиковани

Майский дождь

Ни слова пока о дожде.
Все после о нем уяснится.
То просо мешают в воде,
То с веток летит шелковица.

То в капанье слышится треск
Расправленных крыльев павлиньих,
То их переливчатый блеск
Мерещится в молниях синих.

К дождю обратим все мечты.
Прижмемся на улице к зданьям.
Средь давки откроем зонты,
В толпе под платанами станем.

Дождь шлепает по мостовой
И брызжет струями с балкона.
Дождь хлопает над головой
Забытую рамой оконной.

Я сам становлюсь бестолков.
Мне слышится в плеске капли
Твой шаг, стук твоих каблуков
По каменным плитам панели.

Мы встретимся чуть погода,
Душой освеженной воспрянув.
Ведь только и после дождя
Приходят развязки романов.

Ни слова пока о дожде.
Сначала увериться надо,
Что не пострадали нигде
Зеленые всходы от града.

Но ярко блещат зеленыя
И свет отражается в лицах,
И капли, пленяя меня,
Дрожат у тебя на ресницах.

Перевод Бориса Пастернака

1957, № 4

Борис Пастернак

Снег идет

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.

Снег идет, и все в смятенье,
Все пускаются в полет,
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.

Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатадном салопе
Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака
С верхней лестничной площадки
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.
Не оглянешься, и святки.
Только промежутки краткий.
Смотришь, там и Новый год.

Снег идет, густой-густой,
В ногу с ним, стопами теми,

1957-1962

В том же темпе, с ленью той,
Или с той же быстротой
Может быть проходит время?

Может быть за годом год
Или как слова в поэме?
Следуют, как снег идет,

Снег идет, снег идет,
Снег идет, и все в смятеньи,
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.

1957, № 4

*Галактион Табидзе***Абхазский дождь**

Знаешь почему,
Страна родная,
Дождь абхазский
Полюбился мне?
Голосом поэта обладая,
Он поет чарующей весне,
И звеня зеленой лирой мая,
Сыплет он серебряную рожь,
И по нивам волны пробегают,
Как по лире радостная дрожь.
Ливнем льет
На лавры и на туи
Дождь свои серебряные струи,
Тучей льнет к земле, напоминая
Сердцу о далеком милом крае,
О забытой солнечной любви.
Звоном, плеском
Огласил кудесник
Всю семью чудесных
Тихих роц.
За веселый шум,
За звонкость песни
Полюбился мне
Абхазский дождь!
Так шумит
И плещется в амфору
Молодое

Сладкое вино:
Ведь бродить
В младенческую пору
На земле всему и всем дано.
Звоном, плеском
Огласил кудесник
Всю семью чудесных
Тихих роц.
За веселый шум,
За звонкость песни
Полюбился мне
Абхазский дождь!

Перевод А. Патарая

1959, № 2

*Ираклий Абашидзе***В Мцхета**

Если все на земле
только призрачный сон, в самом деле,
Если все – только тень, только тлен,
Почему же тогда до сих пор не истлели,
Почему осязаемы
Джвари и Светицховели,
Вековечные камни
щербатых обветренных стен?!

Почему же тогда
колоннады Самтавро видны
И седого Армази
непоколебима основа,
И у самой запруды,
над гребнем смиренной волны,
Мост помпейский
державно вздымается снова?

Видишь город старинный!
Безмолвье. Руины. Покой.
Дух Армази, витающий рядом крылато.
В усыпальницах древних
властители спят над рекой, –
Те, кто правил Арагвой,
кто властью гордился когда-то.
Я напомню тебе,
как пред нами в недавние дни
Саркофаги Армази

в молчанье суровом вскрывали.
Как второе пришествие,
взорам явились они,
То, что в них сохранилось
на тленье похоже едва ли.
Нам ударил в глаза
дивный блеск драгоценных камней.
На амфорах и чашах
узоры нетленно горели.
Почему же они
не истлели за давностью дней,
Если все на земле
только призрачный сон, в самом деле?!
Помнишь горло кувшина,
его лебединую стать,
И венцы вырезные,
лежащие с кольцами рядом?
Но зато в усыпальницах
мы не смогли отыскать
Даже кости того,
кто при жизни владел этим кладом.
И тогда я поклялся
нетленностью этих красот,
Формой этих амфор,
лебединой повадкой кувшинов:
Нет, не сон и не прах,
то, что мастер в трудах создает,
То что он созидает,
в грядущее мост перекинув.
И тогда я подумал,
что это не камни горят,
А глаза их творцов
польхают огнем из-под спуда.
Ощувив на себе

этот зоркий и пристальный взгляд,
Я поклялся, что жизнь
ярче сна и чудеснее чуда.
Но быть может, лишь тенью,
и тленом, и призрачным сном
Жизнь считали умельцы,
прапредки далекие наши.
Через тысячи лет
мы с тобой убедились в ином,
Наполняя вином
их амфоры, кувшины и чаши.
И суждения ложного
не исповедуя впредь,
Ты не сможешь забыть,
Как над нами о вечности пели
Стены, камень которых
ничто не способно стереть,
Даже время – седое,
как Джвари и Светицховели.

Перевод Александра Межирова

1959, № 6

Микола Бажан

Родник

Он добежал, пораненный стрелой,
Сюда, где меж мохнатых диких круч
Из глубочайших недр пробился ключ,
Клокочущий целительной водою.

Припал он к влаге, что лилась, светла,
И вновь былая ожила в нем сила,
По немощному телу потекла
И дивной мощью сердце напоила.

Встал на ноги олень, и трубный звук
Вмиг огласил высокогорья дали...
Увидев это чудо, Горгасали¹
Вдруг опустил нацеленный свой лук.

И повелел, рукою обозначив,
Здесь город заложить, где, горячи,
Из-под земли могуче бьют ключи,
Равно сердца его людей горячих.

Прошли столетья. Воды родника,
Теплом земным насытятся без предела,
Ключи межгорий солнечных картвела,
Не остудились даже за века.

¹ Вахтанг Горгасали – основатель города Тбилиси.

Еще ни разу, древний наш Тбилиси,
Струи ручьев целебных и живых
С такою щедрой силой не лилися,
Не омывали так камней твоих.

Себе твою эмблему представляя,
Я вижу: мчит олень свободных гор
В грядущих дней безбрежность и простор,
Навстречу солнцу и цветению мая.

Перевод с украинского Г. Литвака

1959, № 7

Георгий Леонидзе

Судьбы Грузии

Кто изведал, кто поведал детям
Ночь былого дня?
Кто по нашим дымным лихолетьям
Шел и пел, доспехами звеня?

Кто не загребал, не грабил, не пил
Карталинских гроздьев знойный сок?
Над страной кружился горький пепел,
Сединой ложился на висок.

Между пепелищем и потопом
Мы воздвигли стены крепостей,
На восток и юг по горным тропам
Шли встречать непрошенных гостей.

Наши недостроенные кровли
Пламя пожирало на ветру.
Реками народных слез и крови
Звали мы Риони и Куру.

Были лозы попораны хазаром,
Очаги разорены до тла,
Черный дым клубился над пожаром,
Пела половецкая стрела.

Сколько раз ценою истреблений
Враг просторы наши полонил,
Заставляя падать на колени
Возле свежевырытых могил.

Из ущелий – пламя било в лица,
За спиной – кровавилась вода.
Мы в огне могли испепелиться,
Под волной исчезнуть без следа.

Но в земле, в любой и каждой пяди,
Жил бессмертья нашего исток,
И захватчик вопля о пощаде
Из души народной не исторг.

Даже те из нас, кого постигла
Злая доля жить с отчизной врозь,
Помнили, что слез в глазах у тигра
Видеть никому не довелось.

Не народ ли сам, на поле брани
Выбиваясь из последних сил,
В образе страдальца Амирани
Собственные муку воплотил?!

И правдивей не было рассказа,
Не было сказания святых,
Чем легенда древнего Кавказа
О тебе, грузинский Прометей!

Мудрость мысли нашей и десницы
На скрижалях запечатлена –
Да пребудет с нами, да святится
В поколениях будущих она!

Там в горах, где ни следов, ни тропок
Не отыщет самый зоркий взгляд,
Возникают храмы из раскопок,
Крепости в развалинах стоят.

Тяжелы и угловаты плиты,
Их поверхность серая груба,
Но узоры прочно в камень влиты –
Тонкая и точная резьба.

И непостижимая отрада –
Разглядеть на каменной плите
Тигра в тяжких гроздьях винограда,
Олененка в дивной простоте.

Рукописи прошлого листая,
На заставки пристально взгляни –
Легче легкой голубиной стаи
Вьются над заглавьями они.

До сих пор не порван, не изношен
Жаркой гладью вышитый наряд.
В тесной темноте чеканных ножен
Сабли закаленные горят.

Не назвать, не вспомнить, не исчислить,
Сквозь туман веков не разглядеть
Тех, кто заставлял дышать и мыслить
Камень, глину, золото и медь.

Плавили, чеканили, ваяли,
И, в безвестность канув навсегда,

Даже имени не оставляли
На плодах бессмертного труда.

Так и не узнали мы доселе,
За чертой неведомых времен,
Где же, где могила Руставели,
Где Гурамишвили погребен.

Тьмой непроницаемой повита
Предков беспощадная судьба:
Кто оплакал нашего Давида,
Оценил деяния Саба?

Не оскудевал народный гений,
Закалялся в битвах, как металл.
Саакадзе на полях сражений
Вражеские орды измотал.

Триста арагвинцев бой неравный,
Смертный бой за родину вели, —
И сочится вечно кровь из раны,
Из Крцанисской раненой земли.

Вспомни тех, кто, яд изведав горький,
Пролил слезы у родных могил,
И в земле грузинской, как Георгий,
Надвое клинок переломил.

С прошлого не взыщешь за печали
И утраченного не вернуть!..
Враг не знал, что крылья за плечами
У народа раненного в грудь.

За плечами крылья для полета
Наш народ израненный хранил.
Это мы вдохнули в песню Шота
Чувства дружбы и геройский пыл.

Это мы прошли сквозь все невгоды,
За свободу жертвуя собой,
Но дорога света и свободы
Стала нашей кровною судьбой.

Перевод Александра Межирова

1959, № 9

Анна Каландадзе

Входила в Гурию каланда

Я помню изгородь под инеем.
Снег падал тихо и светло.
Кричит петух – и вспоминаю я
мое гурийское село.
Проламывалась наледь тонкая
под грузом шага моего,
и лаяла устало Толия,
сама не зная на кого.
Похожий на большую букву,
один на вековом посту
дуб укрывался, словно в бурку,
в свою дырявую листву.
Глубокий снег следы марали,
Тропинка далеко вела,
и возле вещего марани
был ветер пьяным от вина.
Все это где-то и когда-то,
но позабыть о том нельзя...
Входила в Гурию Каланда
и чичилаки¹ нам несла.

¹ Каланда – новогодье, чичилаки – подобие искусственной елки, выструганной из ветки орешника.

Когда наступит ночь
И вычернит
все камни и цветы вокруг,
когда на небе месяц вычертит
свой точный, неразрывный круг,
и склонятся ко сну все травы,
все люди,
все живые твари, —
луч месяца соединится
со снегом чистым, молодым,
то белым светом озарится,
то розовым, то голубым.
Их поцелуй так тих,
отраден,
и запахом цветов отравлен.
Лишь палочкою выручальной
там птица вдалеке стучит.
Кавкасион величавый
все видит,
слышит
и молчит.

Я слечу, сирень...

Небо синее,
нет у неба предела
здесь, близко,
и там, далеко.
Появилось облачко
и поредело.
Небу тайну хранить нелегко.

Я прикрою веки,
прикрою веки,
чтобы мир едва голубел и серел.
Слечу я
на твои синие ветки,
на твои синие ветки
слечу,
сирень!

Я буду петь твоим мелким цветочкам,
о буду петь,
буду только петь —
твоим прожилкам,
крапинкам,
точкам,
потому что не смогу утерпеть.

Я буду петь голосисто и тонко.
Как мне хочется петь, сирень!
Никому так не хочется!
Может быть, только
небу хочется так же синеть.

О облака!
Я догнать их надеюсь,
я за ними следую
всегда и сейчас.
Но куда я денусь,
о, никуда не денусь,
сирень,
от твоих сиреневых глаз.

О зачем мне скрывать эту тайну?
Навеки,
навсегда
одного хочу:
я слечу на твои синие ветки,
на твои синие ветки слечу.

Не я, а сердце хохочет моё

Когда прохожу по долине росистой
меня, как ребенка, смешит роса.
Цветы приоткрывают ресницы,
к моим глазам обращают глаза.
Я вижу движение каждого пестика,
различаю границу утра и дня,
Ветер, подай мне цветок персика,
травой и листьями обсыпь меня!
Я,
эти цветы нашедшая,
хочу,
чтоб они из земли вылезали.
И, как сумасшедшая, —
о сумасшедшая! —
хохочет трава
с растрепанными волосами.
Деревья сняли свои драгоценности
и левой пригоршней меня забросали.
Вот драгоценности — все они в целости.
Деревья,
вы понимаете сами.
Я тоже,
я тоже сошла с ума.

Всего мне мало
и все мне мало!

Хохочет,
хохочет –
не я сама! –
Хохочет,
хохочет сердце мое!
И ты на исходе этого дня
листьями и травой прогоркшей
обсыпь меня,
да, обсыпь меня,
но только правой пригоршней!

Я совсем маленькая веточка...

Вот я стою – ни женщина, ни девочка,
и ветер меня гладит по плечам.
Я – маленькая, маленькая веточка.
Садовник, утоли мою печаль.

Садовник, заслони меня от ветра:
мой он разорвет лепестки.
Что сделаю я, маленькая ветка?
Ведь у меня ни слова, ни руки.

О подойди, скажи: не солгала ты,
ты – маленькая веточка, прости.
А ветер – он буян и соглядатай,
и ты меня от ветра защити.

1957-1962

* * *

Что делает весна с владениями роз?
Ей хочется заботой их порадовать.
Шиповник медленный свой замечает рост,
и начинают веточки подрагивать.
Как голосят влюбленные пернатые
над каждой лужайкой и тропой!
А вот цветы, поникшие, примятые,
перемешанные с травой.
Их, верно, парни девушкам дарили.
У тех же, видно, помыслы свои:
они сбегают весело в долины,
где новые цветы и соловьи.

* * *

О ты, чинара, взмывшая высоко, —
страшны ли тебе ветер и гроза?
На фоне просветлевшего востока
ты открываешь медленно глаза.
Всей кожей на рассвете холодея,
ты распуши листву
и так замри,
безмолвная, как Тао и Халдея,
соединеньем неба и земли.
Назначена для страсти и восторга
бровей твоих надменная краса...
О ты, чинара, взмывшая высоко, —
страшны ли тебе ветер и гроза!

1957-1962

Тута

Чего,
чего же хочет тута¹?
Среди ветвей ее темно.
Она поскрипывает туго,
как будто просится в окно.
Она вдоль дома так и ходит,
след оставляет на траве.
Она меня погладить хочет
рукой своей по голове.
О тута,
нужно в дом проникнуть
и в темноте его пропасть,
и всей корой ко мне приникнуть,
и всей листвой ко мне припасть.

Перевод Беллы Ахмадулиной

1959, № 4

¹ Тута – шелковица.

Тамаз Чиладзе

Из книги «Сети звезд»

Платанам подъема Петриашвили,
платанам подъема Петриашвили
я посвящаю эти стихи.

Эти платаны меня предрешили,
эти платаны меня предложили
вам, облака, навсегда в пастухи.

Первым деревьям, первым деревьям,
первым дареньям и удивленьям,
первым томленьям и удаленьям
в скверы, где так аллеи тихи, –
я посвящаю эти стихи.

Платаны подъема Петриашвили –
на мостовых была ваша тень.
Платаны подъема Петриашвили
на стенах, машинах была ваша тень,
но главное, то что вы совершили, –
на платье любимой была ваша тень!

Так же, как первая женщина в жизни,
памятно первое дерево в жизни, –
– Мысли, вы будьте просты и строги!
Вам, самым первым моим деревьям,
вам, самым главным моим деревьям,
я посвящаю эти стихи.

1957-1962

* * *

Ничего еще нет,
ничего еще нет,
только в мыслях
какая-то пауза.
Только лунный след,
только зыбкий свет
накрененного круто паруса.
Ничего еще нет,
ничего еще нет,
только тянет
к холсту и глине,
и к перу и к резцу —
чтобы твой портрет
был увиден
всеми другими.

Я хочу твой портрет
написать на века.
Напишу я его
и вслепую.
Я хочу, чтоб любая была строка
вбита в звезды,
как пуля в пулю.
Я прошу вас, стихи мои,
дети мои,
вы звучите
и грозно и нежно.
Вы достойными будьте
этой Земли
и достойными
этого неба.

Перевод Евгения Евтушенко
1960, № 11

Важа Пшавела

В архиве Важа Пшавела сохранились неопубликованные при его жизни материалы. К ним относятся две помещенные ниже публицистические статьи – «Что называется свободой?» и «Что такое свобода?». Автографы Важа не датированы, хотя несомненно написаны после революции 1905 года, но не ранее второй половины 1906 года.

Что называется свободой?

Когда арестовывают нашего знакомого или родственника, мы идем его навестить, как навещаем больного. И говорим при этом: «Ах, какая беда с ним приключилась!» Но почему? – Потому, что у человека отняли свободу, отняли радость и дали страдание. Свобода и счастье – это одно и то же. Человек, лишенный свободы, становится глубоко несчастным: он ест и пьет не по своей воле, ему не разрешают одеваться так, как он хочет, видеть того, кого он любит, заниматься делом, которое он любит. Он не может слово сказать, шаг ступить так, как ему хочется.

Человек под арестом превращается в раба. И мы, входя в его положение, жалеем его. Что же можно сказать, когда под арестом – целое общество, нация, государство? Зверь или птица, попав в неволю, всеми силами стараются вырваться на свободу, убежать, и, если это не удастся, умирают от тоски. Примеров тому бесконечное множество. Пусть в неволе за ними прекрасно ухаживают, вдоволь кормят и поят, предоставляют отличное жилье, – несмотря ни на что, их тяготит неволя. Они с радостью променяют сытный корм, который им подают наготове, на пищу, добытую пусть даже с риском для жизни, но своим трудом, на воле. Холод и зной им нипочем, им нужна только свобода; жить, двигаться по своей воле – это главное и необходимое. Вот как сладостна свобода!



Важа Пшавела



Человек от рождения свободен. Понаблюдайте за грудным младенцем, как вольны его движения, когда, освобожденный от пеленок, лежит он на постели. Как он тянется за всем, что видит и слышит; как он размахивает ручонками и ножками, сопротивляясь, когда мать пеленает его и укладывает в колыбель. Лишь воля старших заставляет его лежать смиренно и затаить это неуемное стремление к свободе...

Но вот ребенок вырастает, в нем просыпается сознание, и тогда, кроме старших в семье, появляются у него другие старшие — общество с бесконечными законами и обычаями, взглядами, канонами, в числе коих множество никчемных, а порой и гибельных для человека, ограничивающих его свободу, заглушающих его здравые суждения. Родители, общество и негодные школы с детства приучают человека к тому образу мыслей, который подавляет, душит его сознание, прививает вредные для жизни взгляды, идеи, приучает к повиновению, покорности, терпению, убивает в нем любовь к свободе. Так и становится человек кровным врагом природы. Вместо того, чтобы сохранять бесценное сокровище — чувство свободы, дать ему верное направление, пестовать его, — родители и общество всеми силами стремятся задушить, уничтожить, вырвать его с корнем из сердца человека.

Общество не сознает, что становится кровным врагом самому себе. Так человек рубит ветвь, на которой сидит, сдирает кору с дерева, не понимая, что ветви высохнут, а с ними, рано или поздно, и само дерево, ибо, лишенное коры, оно не долго продержится.

Да, общество, члены которого воспитаны в рабстве и не любят свободу, не стремятся к ней, не борются за нее, такое общество — все равно что сухое дерево. Оно топчет свое счастье и становится гнездом всяческих несправедливостей. Угнетенные и угнетатели, ограбляемые и грабящие тотчас появляются в этом обществе, и между ними завязывается борьба. Ныне мы — свидетели и участники такой борьбы. Часть общества (класс), ли-

присваивая то, что природа дарует всем.

Законы, равно обязательные и для нации, и для отдельного человека, должны быть установлены народом.

Итак, свобода должна давать нам радость. Правда, наказыв свободного человека за недостойный поступок, доставим ему и неприятность, но все же его свобода не будет этим стеснена, и здесь действует закон, установленный народом и им самим. зря ведь наш крестьянин говорит: «Если отсекут руку за правду не больно». Воистину, это так.

Свобода должна возвратить рабочему человеку все плоды труда. Должна дать просвещение ему самому, его нации и привить сознательную любовь к человечеству.

Человек должен получить право заниматься тем, что ему нравится и удается, жить там, где захочется, но чтобы не ущемля свободу другого человека, не причинять ему неприятности. Ему нужен паспорт – пусть ездит, куда вздумается. Никто не должен беспокоить его, пока не решит того закон. Нужно говорить, писать об общественных делах так, как чувствуешь, и никто не смеет этому препятствовать, нужно высказывать свою мысль, осуждать отвергать дурное, приветствовать и одобрять хорошее.

Что такое свобода?

«Братство, Единство, Свобода», – этими словами переполнены не только человеческие сердца, об этом кричат даже камни, думается, никогда за все время существования нашей страны мощно и широко не звучали в Грузии эти три слова, как в 190 годах, как сегодня, как будут звучать впредь.

Потому-то мы должны ясно понимать, что означает первое, второе и третье. Но даже если мы оставим первые два термина, осознаем смысл и силу третьего, то-есть – свободы, и этого будет достаточно. Ибо Братство, Единство – лишь ветви дерева, имя которому – Свобода: где нет Свободы, не ищите Братства и Ед

ства, ибо найдете лишь вражду, коварство, лихоимство. С одной стороны – волчий лагерь, с другой же – овечье стадо, где бесчинствуют волки... Разве могут жить овцы там, где водятся волки? И разве возможно между ними братство? А коли невозможно, несовместимо и недопустимо, так чего же мы ратуем за это братство? Мы призываем, и должны призывать, – но не волков, а разрозненных, разоренных овец, чтобы они собрались воедино, объединились, обдумали, как им жить, не попадая на обед волкам; они должны найти прибежище и безопасные тропы. Что же делать волкам на их собрании? Они даже делают вид, якобы не слышат этого призыва, и, наверно, не придут. Волки тоже проповедуют братство и единство, – но среди своих. Ибо если они этого не сделают – пропала тогда их сила, овцы, хоть они и не имеют таких зубов, как волки, расправятся с ними поодиночке: благо у них есть рога и копыта! Ведь братство в том и заключается, что если одному волку приходится туго, другой спешит ему на помощь; так и овца должна выручать овцу.

Но единство-то необходимо не столько волкам, сколько овцам, потому что каждый волк обладает достаточной силой, чтобы одному справиться с овцой – силой, конечно, физической. А сила овца – лишь моральная сила.

Доселе мы были овцами – и продолжаем ими быть, а кто такие волки – это вы и сами хорошо знаете. Мы мучались, разбегались и в одиночку подвергались разбою. Постепенно мы поняли, что нужно объединиться, договориться, что только в единстве наша сила... Мы возжаждали свободы, чтобы волки по своему произволу не стригли и не пожирали нас... Наше стремление к свободной жизни проявляется пока в том, что мы хотим на первых порах пресечь насилие, а со временем и вовсе уничтожить его.

Свобода возможна и необходима для живых, но не для мертвых. Она проявляется в желаниях и стремлениях человека; свобода – это действие: осуществление желания, мысли, чувства, но не покой, не бездействие. Свобода личности и свобода нации, наро-

да тесно связаны друг с другом: где не свободна личность, там угнетена и порабощена нация, а в порабощенном обществе порабощена и личность. Личность в таком обществе становится игрушкой, вещь в руках поработителей.

Разве может быть свобода там, где присваиваются плоды чужого труда? Там, где добытое моим трудом, помимо моей воли, без моего ведома и согласия, присваивает кто-то другой? Я плачу, а он смеется, и во мне рождается лишь отвращение к похитителю и жажда мести! Я хочу учиться, он не дает мне этой возможности, не дает права! Хочу основать университет на мой собственный счет – мне отказывают!

Я не хочу поклоняться тому разукрашенному идолу, которому поклоняешься ты! Какая может быть свобода там, где я не могу говорить на своем родном языке; мне не разрешают ни учиться, ни петь, ни радоваться?! Какое сердце должно быть у меня? Какие чувства могу я испытывать? Никаких, кроме отвращения и ненависти. Отравлена вся моя жизнь, недовольство душит меня, ненависть обуревает, и я клянусь тебе силой, тех «волков», которые мешают мне во всем, преграждают мне путь, и жду момента, чтобы уничтожить их... Когда же настанет это время и я начну действовать, чтобы сокрушить враждебные мне силы, – тогда и начнется моя свободная жизнь. Борьба – начало свободы.

А если я молчу, не говорю ни слова – значит, я раб, безропотный и смиренный. Может быть, мне и ненавистна сила, угнетающая меня, и я таю эту ненависть в сердце? Но тогда я трус, а трус еще более отвратителен, чем раб. Нет, когда ненависть достигает своего апогея, тогда отступает, исчезает трусость, и человек восклицает: умру или одолею моих мучителей!..

И пока этого не скажет большинство народа, сила угнетающая не заколеблется, не дрогнет волчья стая. А скажет ли народ когда-нибудь решительно и твердо: «смерть или жизнь!» (т. е. свобода?). Да, скажет. Скажет. Он говорит это и сейчас. Мы явственно видим, слышим, чувствуем это. Итак, ненависть народная и волкам дошла до предела.

И знайте: смерть не устрасит нас более, каждый из нас готов сложить голову за Свободу. А раз это так, то победа наша несомненна. Потому, повторяю, тот, кто стремится к свободе и жаждет ее прихода в страну, прежде всего, должен возненавидеть всем своим существом, всем сердцем и душой тиранов и тиранию. Ненависть — единственное средство, с помощью которого человек может стойко сражаться, не жалея жизни, в борьбе за свободу...

Но что же такое Свобода?

Не обессудьте меня, если я сам объясню слово «свобода». Свобода — это счастье, отнятое тиранами у народа. Что же остается народу, лишенному счастья, кроме горя и несчастья? — Ничего. Потому-то глубоко несчастны все порабощенные и угнетенные, несчастен лишенный свободы народ и лишенная свободы личность.

Похитители пользуются этим разбойнически добытым счастьем лишь короткое время, ибо логика жизни обращает ворованное, награбленное счастье в несчастье для похитителя. Взгляните на всю Россию — и вы тотчас убедитесь, что это именно так. Ныне народ возвращает, отвоевывает то, что было у него отнято и пока еще не принадлежит ему, — свое счастье. Похититель сегодня плачет, льет слезы, ограбленный веселится, ибо обретает потерянное, возвращает отнятое. Похитителей свободы всегда ждет расплата. Когда народ открывает глаза и воочию видит те черные силы, которые отняли у него счастье, безграничная ненависть вспыхивает в его сердце. Тогда-то и наступает час расплаты.

Что требует от человека свобода? Как должен вести себя свободный человек? Свободный человек своими поступками не должен причинять зла ни отдельным окружающим его личностям, ни обществу в целом. Его действия должны быть направлены на благо страны. Если свободный человек не блюдет этого условия, значит, действия его разбойничьи, ибо только разбойник пользуется свободой с целью личной выгоды. Итак, свобода не в том лишь, чтобы говорить, писать, делать то, что тебе хочется —

нет! Каждое слово, каждое действие должно быть направлено на общее благо народа. Если оно не приносит пользы, то, по крайней мере, не должно вредить обществу.

Свобода, похищенная у народа, перестает быть свободой. Она превращается в тиранию. Тираны куют тысячи цепей и о изобретают ловушки, клещи, дубинки, коими бьют по голове народ, ставят виселицы... Отнятую свободу они превращают в яд: поят этим ядом народ. Но и сами травятся зельем, которое заготавливают своими руками. История знает немало таких примеров: народ выносит все это и остается народом. Народ поедает, и сонм тиранов обращается в прах... Потому похищенная свобода прежде всего и больше всего обращается против похитителей, против тех, кто стремится использовать ее только для себя.

Правители совершают величайшую глупость, стремясь поработить народ. Они позорят свое имя и вредят себе нравственно и физически, но помимо этого, наносят большой урон народу: поработенный народ слаб и немощен в борьбе с внешними силами. Яркий пример тому – нынешняя Россия. Громадная страна не выдержала натиска крохотной Японии, обломала свои зубы на маленьком орешке.

Итак, свобода должна быть не только отдельной личностью, но вся нация, весь народ. Страна будет счастлива только тогда, когда каждый человек, ее населяющий, будет свободен... Свобода и счастье – синонимы.

Не ищите Свободы там, где основой общества – имущественные различия, где возможность добыть себе хлеб насущный дается не всем, а лишь тем, кто имеет звание и соответствующее происхождение, где труд презирается, где достаток, просвещение, знания делятся неравномерно.

Богатство без зрелости сознания, без просвещения и знания не гарантирует народу сохранения свободы.

Перевод Камиллы Коринте

1961, № 7

1957-1962

Колау Надирадзе

Снег идет

Снег идет, и снежинки мерцают,
Но они не волнуют теперь.
Я последнюю песню кончаю,
Закрываю заветную дверь.

А когда-то снежинки мне пели,
Долетая ко мне с высоты,
Вместе с музами у колыбели,
Голубые дарили цветы.

Снег шуршит...

Это времени шорох.
Помолчи о нем, боль, помолчи!
Скоро сердца биение, скоро
С ним сольется в холодной ночи.

Снег идет. Я весну вспоминаю,
Отзвеневшую юность люблю.
Ты уснула давно, дорогая,
Тихо падает снег на тебя.

Что несет он с собою – не знаю...
Шорох снега – твой голос родной
И улыбка твоя неземная,
Что навечно осталась со мной.

Снег идет, и снежинки мерцают,
Но они не волнуют теперь.
Я последнюю песню кончаю,
Закрываю заветную дверь.

Перевод С. Стаценко

1961, № 3

Мурман Лебанидзе

Моему народу

Вечно удивленными глазами
Я смотрю уже который год
На красу осенней Алазани,
На величье крутолобых гор.

Мой народ,
Садовник и воитель!
Мой народ,
Создатель красоты!
Среди всех открытых мною истин
Самая большая – это ты.

Родина моя, моя награда!
Плод в саду, на поле сноп тугой!
Я целую гроздья винограда,
На коленях стоя пред тобой.

Как бы нас по свету ни бросало,
Верная любовь у всех одна...
Арало, Урмули и Цангала¹
Не умолкнут в сердце
Никогда.

¹ «Арало», «Урмули», «Цангала» – грузинские народные песни.

1957-1962

Баграт Шинкуба

Я родился под солнцем
Грузии

Питомец двух стихий, двух матерей,
люблю и ветер гор, и плеск морей.

Когда глаза раскрыл я в первый раз —
я увидел сверкающий Кавказ.
Когда глаза раскрыл я в первый раз —
я море увидел в рассветный час.

С высоких гор скакал лихой поток,
был слаще молока любой глоток.
Я сильным вырос, ибо день-деньской
меня купала мать в воде морской.

Был песней колыбельною моей
суровый гул бунтующих морей.
Когда я засыпал — всю ночь вдали
седые горы караул несли.

Мне жить без родины моей нельзя,
родился я под солнцем Грузии, друзья.
Люблю и ветер гор, и плеск морей,
питомец двух стихий, двух матерей.

Перевод с абхазского Э. Иодковского

1961, № 5

Иван Тарба

Сакартвело

Мы – люди
одного большого племени.
Цвети страна, ликующе и смело!
На гребне
удивительного времени
поем тебя всем сердцем, Сакартвело.

Из тьмы времен
крылами бьет История.
Вливаясь в хор, окреп мой голос слабый.
Одно над нами солнце –
то, которое
сравниться может лишь с твоею славой.

Поют мои друзья,
поют товарищи...
Летит, летит наш голос через горы,
и горы тоже слышат
голос, славящий
твои неувядаемые годы.

И горы
улыбнутся понимающе,
и море зашумит, внимая думам...
Гостей,
твои просторы посещающих,
ты словно возвеличиваешь духом.

Нет, не исчезнет

со страниц Истории
то братство, что не терпит лжи и лести.
Мы связаны
едиными истоками,
и в будущее мы шагаем вместе.

Сколько раз дождик лил по трубе.
Сколько раз ветерок этот дунул, —
Столько раз — о тебе, о тебе,
Столько раз о тебе я подумал!

Перевод с абхазского Беллы Ахмадулиной

Бегство от тебя во Мцхета

О, как дожди в то лето лили...
А я бежал от нас двоих.
Я помню мертвенные лики
Старух молящихся... До них,
О, не было до них мне дела,
Их вид меня не поражал, —
Я помню лишь, как ты глядела,
Как улыбалась.
Я бежал!

И здесь —
В старинном Мцхета вещем —
Смеялся я, от солнца слеп,
Но в этой клинописи вечной
Твоей руки я видел след, —
Ты здесь играла, рисовала...

Ты и тогда была умна,
И камням этим раздавала
Иероглифы и имена...

Гора лежала, словно буйвол,
Так тяжела и высока.
У ног ее, в движенье буйном,
Текла и падала река.
И ворот неба был распахнут,
И синевою обжигал,
И луг был заново распахан...
А я – все от тебя бежал!

Зеленые, как у рыбачки,
Глаза мне виделась твои,
Я, словно в каменной рубашке,
Спасался от твоей любви...
Я помню плач. И конский храп...
Как долго мной ты помыкала!
Я гордо превращался в храм.
Но это мне не помогало.

Перевод с абхазского Э.Иодковского

1961, № 2

Джансуг Чарквиани

Небо Грузии

Мне дали родину зеленую
с горами, солнцем и луной,
морской простор,
 волну соленую
и небо Грузии родной.

Но вот ко мне приходят юноши –
спор возникает, как гроза.
Глаза их – гордые и южные –
похожи на мои глаза.

О небо Грузии высокое,
взор от меня не отврати,
а дай мне
 с песнею веселую
дорогой дальнею пройти!

Наполни грудь звенящей силою, предубеждения
сломай,
благослови –
 и кубка милого
от губ моих не отнимай!

Пусть все пребудет мне наградой –
и алый цвет твоих знамен,

1957-1962

и эти лозы виноградные,
и солнце будущих времен.

И если я умру,
и тление
охватит смертной белизной, —
мой долг оплатят поколения,
которые придут за мной.

Перевод Э. Иодковского

1961, № 5

1957-1962

Булат Окуджава

Картли

Осень ли разгуливает, март ли –
солнце неизменное встает.
Здравствуй, здравствуй, Картли –
сердце мое!

Если спросят, чем же ты отмечен,
край, где воздух синего синей, –
я войду под гор крутые плечи
и себя почувствую сильней.

Если спросят, что в тебе такого,
чем, мол, ты меня околдовал, –
я услышу твой гортанный говор,
терпкие, певучие слова.

И меня поманит издалика
перевал, которого не знал,
и увижу: тянется дорога
к детству, к сердцу через перевал.

Вот они. Встают навстречу горы.
Как же мне не рваться к тем горам,
где лежит такой веселый город,
и собаки бродят по дворам.

И глядит, задумавшись, на звезды,
будто бы не слыша ничего,
в ношеной буденовке подросток,
на отца похожий моего.

1961, № 6

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ



1 9 6 7



1962 – 1968

Издательство «Литературная Грузия»

1967 г.



Мревлишвили Михаил Николаевич (1904-1980) – писатель, заслуженный деятель искусств Грузии (1961).

Получив экономическое образование (поступив в 1924 г. на экономический факультет Тбилисского университета, в 1928 г. продолжил учебу в Московском планово-экономическом институте), он, тем не менее, связал свою жизнь с искусством и литературным творчеством.

В 1946-1948 годы М.Мревлишвили работал заместителем директора Дворца деятелей искусства, 1948-1953 гг. – консультантом Союза писателей Грузии, в 1953-1959 гг. – главный редактор газеты «Заря Востока», в 1959-1962 гг. председатель Театрального общества Грузии, в 1962-1969 гг. – главный редактор журнала «Литературная Грузия».

Первое его литературное произведение опубликованное в 1926 году (роман «Инон») высоко оценил Мих. Джавахишвили. Автор повести «Очаг Харатели» (1947; одноименная пьеса, 1954), сборника «Тбилисские новеллы» (1964), романа «Опасный поворот» (1964) и др. Не менее известен был как драматург: пьесы «Николоз Бараташвили» (1949), «Лавина» (1956) – о жизни послевоенной грузинской деревни; историческая драма «Пламенный мечтатель» (1957) – об А. С. Грибоедове с успехом ставились на грузинской сцене.

Григол Абашидзе

Строки о жизни

Обнять весь мир. Забыть, что он громаден.
Как в малой капле, отразиться в нем.
Работа – мост из шатких перекладин.
А молодость – всегда игра с огнем.

По шаткому – беги! Чтобы окрепло
Твое дыханье в муках и в пыли.
Стори до тла, стань бедной горстью пепла,
Но берегись – крыла не опали!

И – в путь! Смотри, как кругозор громаден.
Ты словно птица потерялся в нем.
Ты на мосту из шатких перекладин.
Ты существуешь, чтоб играть с огнем.

Перевод Павла Антокольского

1962, № 11

Станислав Куняев

Грузинские тосты

Давно не доверяющий словам,
звучащим патетично и обманно,
я поднимал доверчиво стакан,
учился говорить высокопарно.

Высокопарно... Высоко парить...
Забывтый смысл угадываю снова.
Учись красноречиво говорить
и, как вино, продегустируй слово.

Что говорить? А что придет на ум.
Как говорить? – Как на душу положит...
Подковой золотой лежит Батум,
и море это золото полощет.

А север пьет, словами дорожа.
Там хмурятся, свою судьбу поведав.
На юге – тосты ходят не спеша,
и азбукою служат для поэтов.

Не суетись. Спокойно постигай
искусство говорить неделовито.
Не торопись и где-то понимай:
вот так в горах рождается лавина,

которая смешает все подряд, –
а смешивать вино небезопасно,
в стране, где птицы высоко парят
и люди говорят высокопарно.

1962, № 12

Юнна Мориц

Из Цикла «Грузинские Гравюры»

Я – птица черного пера

Я – птица черного пера
У черной ветки на запястье.
Работа так ко мне добра,
Когда случается несчастье!

Будь проклят! Уезжай! Лети!
Мне одиночество не в новость;
Меня утешит снег в горсти
И память, чистая, как совесть.

В том душном городе морском,
Где лик мой выглядел опиской,
Все птицы – с тонким голоском,
А у меня грудной да низкий.

Пусть пальмы изумрудный крест
Тебя в том городе возвысит,
Как окрик мой, как мой приезд,
Как рев дождя в ночном Тбилиси.

Светает! Я – в своем уме.
Красна волос моих корона.
Тбилиси держит на холм
Свой рот в улыбке фараона.

На Мцхету падает звезда...

На Мцхету падает звезда,
Крошатся огненные волосы.
Кричу нечеловечьим голосом –
На Мцхету падает звезда...

Кто разрешил ее казнить,
Кто это право дал крестину
Совать звезду под гильотину?
Кто разрешил ее казнить,

И смерть на август назначал,
И округлял печатью подпись?
Казнить звезду – какая подлость.
Кто смерть на август назначал!

Война – тебе! Чума – тебе,
Земля, где вывели на площадь
Звезду, чтоб зарубить, как лошадь.
Война – тебе! Чума – тебе!

На Мцхету падает звезда.
Уже не больно ей разбиться.
Но плачет Тициан Табидзе –
На Мцхету падает звезда!

Завтрак в кафе с низким потолком

Еще не пахнет оскорбленьем,
И память ночи дорога.
Еще за утренним кормленьем
Зубов сияют жемчуга

А я живу уже сознаньем,
Что это кончится, как снег,
Как дождь, как град, как наказание,
Как поражение и успех.

Но будет капать «Телиани»,
И солнце падать и взлетать,
И ноги розовой лани
На бале осени блистать.

1962, № 12

Реваз Инанишвили

Море

Тогда... я был так же молод тогда. Борис и Лана – еще молодые. А море – море и тогда было такое же – беспокойное, спокойное, равнодушное.

По утрам мы встречались в столовой. Борис носил обычно синие спортивные брюки и репсовую рубашку, Лана – желтый сарафан. На Борисе одежда казалась тесной. Лана, напротив, была такая тонкая, будто платье, сшитое по фигуре, даже не касалось ее тела.

В очередь за обедом они становились вместе. Борис стоял, скрестив на груди большие руки, Лана комкала чек, подносила его к губам, нервно покусывала углы. Иногда она оглядывалась и обводила зал голубыми глазами, излучавшими какую-то тихую радость.

Если очередь продвигалась медленно, она, устав, опиралась на плечо Бориса. Он молча ласкал ее руку.

За обеденным столиком они садились не рядом, а так, чтобы видеть друг друга. Борис угощал – очень серьезно, любезно. У Ланы глаза светились радостью. Она благодарила Бориса. Казалось, они успели сказать друг другу все хорошее, теплое и теперь скупались на слова, почти не разговаривали.

После завтрака они шли к морю. Брала с собой красную сумку из пластика, китайский зонтик и пестрое полотенце. На дороге, под тенью частокола, крестьянки продавали фрукты. Борис и Лана задерживались. Смеясь, торговались. Женщины охотно выбирали им спелые груши и вареную кукурузу.

Море было спокойное, теплое. Только у самого песчаного берега перекатывались длинные, звонкие волны.

Лана и Борис облюбовали на берегу валун – у этого валуна они раздевались. Борис с шумом бросался в воду и плыл метров десять, даже не двигая руками. Лана стояла на берегу и, улыбаясь, наблюдала за ним. Борис высовывал из воды голову, шумно выдыхал воздух и звал Лану – мол, прыгай! Лана нерешительно, медленно приближалась к воде. Ее обдавало волной, она испуганно кричала:

«Ай, ай!...»

«Ха-ха-ха!» – хохотал Борис.

Лана обижалась и, надув губы, садилась на берегу. Тогда Борис выходил из воды, брал ее, как ребенка, на руки и нес в воду. Лана крепко обнимала его за шею, заливалась смехом. Борис поддерживал ее. Она, раскинув руки, ложилась на спину, покачивалась на волнах. В море они оставались минут десять, потом выходили на берег, ложились на песок, в тени зонта. Борис обычно читал – низким, грудным голосом. Лана, улыбаясь, слушала его и изредка проводила ладонью по покрасневшему плечу.

В полдень мы снова встречались в столовой. Перед заходом солнца – снова на море, вечером – на танцплощадке. После ужина, если ночь была лунная, – вновь на море.

Они сидели на берегу и смотрели в пространство, наполненное лунным мерцанием.

Лана сидела, положив голову на плечо Борису, тот обычно находил на берегу камешки и бросал их в море.

Вот и все...

Но почему-то все отдыхающие с каким-то умилением смотрели на эту пару. Я не знаю, что думали другие о них. Лишь видел их лица – и мне казалось, что они похожи на детей: детей, остановившихся у витрины магазина игрушек.

Мы же – я и мои друзья: экономист Гаихарашвили, его семерых детей, и пожилой инженер – мы были неразлучны. Вместе обедали, вместе смотрели на эту чудесную пару, много курили и молча всей пятерней почесывали затылки...

А думать – мы тогда ни над чем особенно не задумывались.

лись. Просто нам приятно было видеть Бориса и Лану, мы любовались ими, курили и ни один из нас не произносил ни слова.

– Эх, пройдет время, и... – начал было я однажды. Я хотел сказать, что вот пройдут годы и на лицах Бориса и Ланы поблекнет это выражение счастья.

Но пожилой инженер, будто мы сидели в театре и мои слова могли помешать ему, строго прервал меня.

Тогда же у меня мелькнуло в голове: «Никому не доставляет удовольствия рыться в потрепанных философских учебниках, полных житейской мудрости». Я даже обрадовался, замолчал. Закурил и поудобнее устроился в кресле.

Мы сидели, курили, почесывали затылки, и никто из нас не нарушал молчания. Казалось, все мы ждали какого-то представления.

...Но вот Борис и Лана уехали. Мы бежали за автобусом, бестолково кричали что-то и махали руками... Потом пожилой инженер поехал в город, до бесчувствия напился и провел ночь в отделении милиции. Гаихарашвили отправился с экскурсией на Рицу, у меня же страшно разболелся зуб, и я провалялся в постели весь день.

И никто по-прежнему не проронил ни слова... Конечно, о них.

Море волновалось, шумело целых три дня, потом полил дождь – мелкий, пронизывающий, непрекращающийся дождь.

Перевод Викторией Зининой

1962, № 12

Гурам Рчеулишвили

Старая учительница

Цкито медленно шел вдоль длинной унылой ули. Сухие желтые листья шуршали у него под ногами. Невысокий старый дворник сметал опавшие листья в одну кучу, потом пихивал их в совок. Листьев было очень много, они уже не вщались в мусорный ящик. Дворник ссыпал их прямо на землю рядом с ящиком... Тут же в листве тихонько играли ребятишки вымаранными невесть чем лицами. Цкито сошел с тротуара, шагнул прямо в собранную дворником листву, по колено погрузился в шуршащий хрупкий ворох. Дворник обернулся, сердце посмотрел на него, но потом продолжил свою работу.

Цкито свернул в узкую улочку. На солнышке, развалившись на тротуаре, дремала кошка. Она лениво поднялась, нехотя уступая Цкито дорогу, потом вспрыгнула на полуразрушенную ограду и, уткнувшись мордочкой в передние лапы, вновь погрузилась в дремоту.

Цкито вошел в просторный двор, согнувшись пролез бельем, развешанным для просушки, поднялся по каменной лестнице и дернул ручку звонка.

Дверь открыла пожилая женщина — учительница немого языка.

— Здравствуйте, Изольда Зигфридовна, — вежливо поздоровался Цкито

— Здравствуй, мой мальчик. Входи, входи. Садись здесь.

— Благодарю вас.

— Я сейчас приду, а ты пока почитай вот эту книжку.

Изольда Зигфридовна вышла из комнаты. Цкито видел, как она прошла по коридору. Оставшись один, он встал, подошел к зеркалу. Потом вернулся на свое место. Спустя несколько минут он с головой углубился в книгу, что дала ему учительница.

— Цкито, милый, — услышал вдруг он ее голос. — Выйди-ка сюда на минутку.

Цкито порывисто вскочил со стула, прошел в галерею. Изольда Зигфридовна поливала пожелтевшую пальму.

— Я помогу вам.

— Нет, милый, спасибо. Как поживает твоя мама?

— Благодарю вас, хорошо.

— А отец и сестра?

— И они тоже, спасибо.

— Кажется бабушка и дедушка хворали, верно?

— Да, но они уже здоровы.

Учительница подошла к окну, растворила его.

— Пожалуй, так лучше, пальме будет больше воздуха.

— Да, конечно...

— Не знаю, что делать. Она еще летом стала чахнуть.

— Может, почве нужны удобрения?

— Я часто подсыпаю удобрения. И кадку ей поменяла. И агронома приглашала. Ничего не помогает.

— Наверно, она состарилась.

— Наверно. Мы ведь с ней ровесницы. Мой отец купил ее в подарок маме, когда я родилась. Мне было шестнадцать лет, когда мы переехали сюда из Германии, и мою пальму я привезла с собой. А потом я вышла замуж, и мы специально для пальмы отстроили веранду. Я всегда очень заботилась о ней, тщательно ухаживала, потому что она была единственным напоминанием о моей родине.

— Простите, Изольда Зигфридовна, но разве у вас здесь не было родственников?

— Родственников не было. И детей не было. А потом

умер и мой муж. Хороший человек был покойный...

Цкито невольно взглянул на портрет, висевший на стене.
— Давно это случилось?

— Да так лет тридцать назад. Умерли и родственники мои.
С тех пор я учительствую. Много у меня было учеников, сейчас
много. Но всегда они уходили и забывали меня.

— Я никогда не забуду вас!

— Ты? Что ж, возможно, — ты хороший мальчик. Мои
тоже были хорошие, и не они повинны в том, что забыли меня.
У многих из них уже и внуки есть, у каждого свои дела,
заботы... Я люблю таких юных, как ты. Я всегда дружу с ними,
они меня любят.

Учительница растворяла в воде какое-то удобрение.

— Дайте-ка я помогу вам, — предложил Цкито.

— Нет, милый, спасибо. Я никому не могу доверить работу
старого больного друга. Вот уже пятьдесят лет мы с пальмой
разлучны, ничего не поделаешь, привыкла.

— А может, обрезать желтые листья?

— Для чего?

— Потом появятся молодые побеги.

— Нет, милый, ее дни сочтены.

— А потом вы купите новую, правда?

— Нет, мальчик.

— Почему?

— Тебе этого не понять, дорогой. У тебя много близких
родных. А у меня единственный близкий — вот эта пальма.

Кто-то позвонил у двери. Изольда Зигфридовна пошла
крывать. Она ввела в комнату гостя — пожилого человека.
Она вернулась в галерею, Цкито стоял перед пальмой и печально
глядел на пожелтевшие листья. Учительница мягко опустила
руку на плечо мальчика и ласково сказала ему:

— Цкито, за тобой пришел дедушка.

Цкито оглянулся. Дедушка стоял в дверях и с улыбкой

смотрел на внука.

— Пойдем, родной, я хочу взять тебя к тетке.

У Цкито радостно заблестели глаза, он робко взглянул на учительницу.

— Ты придешь ко мне в среду, Цкито, а сегодня я тебя отпускаю.

— Благодарю вас!

Дедушка взял Цкито за руку, попрощался с учительницей.

Они спустились по лестнице, держась за руки, пошли через двор. Учительница с улыбкой глядела на них сверху, из окна. Потом она повернулась, и взор ее снова обратился на пожелтевшую пальму. Она опустила на стул, невидящим взглядом окинула стену перед собой, с которой, улыбаясь, глядела на нее ее последняя любовь.

Перевод Камиллы Коринтели

1962, № 12

Гиви Гегечкори

Из цикла «Сезам, отворись!»

Кто медный колокол желанья моего
Растормошил на белой колокольне?
И я кусаю губы, как раскольник,
Предвидя лучшей веры торжество.
Мое «хочу!» сильнее всех начал
И всех развязок взвинченной вселенной.
Кто опустил на одно колено
И колокол желанья раскачал?
Тяну бессонниц лиственный настой.
Мое «хочу!» мне объявляет войны,
Оно кругами покрывает волны –
Поверхность крови сладкой и густой.
То побежден, то победитель я,
То проиграл, то выиграл сраженье.
О, крови бескорыстное спражение
По всем глагольным формам бытия!
Я поздно понял эту правоту.
Мой детский дух так долго кровью правил!
Пора!.. Кто землю в горизонт оправил,
Кто узаконил эту лжечерту?

1962-1968

* * *

Я раздваиваюсь – как устье реки,
Как дыханьем развоенные уста.
Я отдал прекрасному обе руки.
Эта жертва естественна и чиста.

Мелочность – непоправимый изъян.
Я стал необузданней древних греков –
То грубейший из всех на земле обезьян,
То нежнейший из всех на земле человек.

* * *

Улыбаюсь улыбке зари на кресте,
На распяты, торчащем из белого неба.
Но боюсь я того, кто притих в темноте
И со мной состязается вечно и немо.

Как лицо мое буднично сходством святым
С грудой лиц, обведенных таким же пунктиром!
Я – никто и ничто! Я пока еще дым
Бессловесных предчувствий, владеющих миром.

1962-1968

* * *

В дорогих мне зрачках, в тех родных, как жилые,
Как же медленно я вырастаю, о боже!
И желаний моих золотое жнивье
Ждет прихода жнецов. Пусть им время поможет!
Безразлично, кому их дожидаться дано —
Мне, другим... Нетерпенье, достанься бездарным!
День, который моим называть суждено,
Притворился числом на листе календарном.
Дни на пальцах считай, днем и ночью молись —
Поклоняйся прекрасному смертно и свято.
Скоро!.. Скоро я крикну: «Сезам, отворись!»
И рассыплется наземь червонное злато!..

Перевод Юнны Мориц

1962, № 12

1962-1968

Елена Николаевская

Тбилисский день

Я вижу снова наяву
Тбилисский день осенний –
И разноцветную листву,
Как смену настроений...

То страсти пламенем горя,
То багровея в гневе,
Внизу пылает, как заря,
Овраг Варазисхеви.

Здесь расставания печаль
В шуршании осеннем,
Измены желтая печать
И ржавчина забвенья.

Но презирая ветра свист,
Дождю противореча,
Блеснул зеленый свежий лист
Надеждою навстречу, –

Он зелен, зелен, как весной,
Пусть голы все деревья!..
Таким останется со мной
Овраг Варазисхеви.

* * *

Все позабудется,
Все растворится:
Сушь и распутица,
Встречи и лица.

Звуки свое потеряют звучание,
Краски свое потеряют свечение.
То, что тебя повергало в отчаянье,
Тоже свое потеряет значение.

Гор очертанья,
Слов сочетанья,
Радость и ярость —
Все пронесется:
Только б осталась
Память о солнце!

1962, № 3

1962-1968

Отар Чиладзе

Громко дождь стучал

Мне надоело думать. Я читал.
В окне качались мокрые деревья.
Читал – и все. И громко дождь стучал.
Отяжелели мокрые деревья.

И облако качалось, как звезда.
Качался дождь и дерево качалось.
Кричали на дорогах поезда –
у них по-человечьи получалось.

И померещилось, что кто-то, близкий мне,
Маячил на перроне, ростом низок.
И я не мог окликнуть в тишине
Того, кто был мне так предельно близок.

Ведь я не знал ни имени его,
Ни цвета глаз. Я ощутил впервые,
Что мысли у меня и у него
Похожи, словно капли дождевые.

Он был отяжелелый от дождя.
К его плащу от ветра листья жались.
Огромные составы, проходя,
В туманных лужах сверху отражались.

1962-1968

И облако, и дерево качал
Холодный ветер, над землей летящий.
Качался дождь, качался мост блестящий.
Не мог я больше думать.
Я читал.

Перевод Юнны Морис

1963, № 5

1962-1968

Александр Цыбулевский

Рача

Вдруг мельницей окончился лесок.
Я в землю врос, не изменяя позы.
В ромашках утопает колесо
и синие по белому стрекозы.

Но ты зовешь покинуть этот край,
все круче по тропинке забирая.
Что ж, может быть, то вовсе был не рай,
а только лишь преддверье рая?

* * *

Был час, когда молчат легенды,
но горы в горьковатой дымке.
И водопад замолк над бездной
остолбенелый, как на снимке.

Над полуночными пирами
звезда погасла и притихла.
Но что же двинуло горами,
какая цель, какая прихоть?

1962-1968

* * *

Рача осталась за спиною,
так оглянись, еще постой.
Дорога мертвою петлею,
дорога мертвою петлей.

Да, я переживу разлуку,
но будет час и будет день,
я вспомню – мул бредет по лугу
и странный расцветает пень.

И вспышки новых озарений
остановлю и сберегу
пылание листвы осенней
на рано выпавшем снегу.

И после жажды вздорной крови
хозяйки, нас лишившей сна, –
вдруг щебетание под кровлей
с глотком холодного вина.

1963, № 5

*Елена Ахведиани***Петре Оцхели**

Невысокого роста, с густой шапкой волос, с большими черными глазами, веселый, жизнерадостный, остроумный и, главное, очень талантливый – таким запомнился друзьям художник Петре Оцхели. Он с детства пристрастился к рисованию и никогда не расставался с карандашом. Учился в трудовой школе, при которой была организована художественная студия. Руководил ею педагог Чеишвили, и Петя занимался у него. Окончив школу, Оцхели, уроженец Кутаиси, поступил в Тбилисскую Академию художеств в класс профессора И. А. Шарлемана. В 1927 году художник оформляет пьесу Луначарского «Поджигатели» в Народном доме, где в то время работали актриса Елена Донаури и режиссер Вахтанг Абашидзе. Как-то К. А. Марджанишвили зашел туда посмотреть спектакль, и ему так понравилось оформление, что он пригласил Оцхели в руководимый им театр в Кутаиси. Очень скоро художник стал любимцем Константина Александровича и всей труппы 2-го государственного Кутаисского театра.

Работать с Марджанишвили было большим счастьем; Петя это хорошо чувствовал и жадно впитывал все советы Константина Александровича, был очень трудолюбив. Иногда мы удивлялись, когда он успевал делать свои эскизы. Целыми днями пропадал в театре, бегал по цехам, балагурил, что-то рассказывал, кого-то копировал, рисовал на стенах мастерской карикатуры на товарищей. Под мастерской размещался хореографический класс, и к ужасу Д. Н. Мачавариани, я и Петя

часто спускались вниз и, конечно, мешали занятиям: копили танцующих под общий смех как актеров, так и сам Давида Николаевича.

На праздники Марджанишвили всегда что-нибудь «думывал» и для оформления номеров приглашал разных дожников. Оцхели, конечно, был первой скрипкой. Эскизы над которыми кропотливо работал по ночам, он приносил рано в условленный день и час. Они были прекрасно прорисованы, тщательно обработаны, продуманы. Непостижимо было откуда у молодого художника такое знание сценической драматургии. Поражала также широта его творческого диапазона: большая фантазия (например, в оформлении спектакля «Немые заговорили» Баазова). Оцхели умел глубоко прочувствовать замысел режиссера, сливался с ним.

Внешне спокойный, какой-то улыбчивый, он работал с увлечением. Ни одна мелочь ни в одном цеху от него ускользала, он был неутомим, наш Петя-Петушок, как звали всю труппу. А вот писать декорации Оцхели не любил. Марджанишвили требовал, чтобы театральные художники исполняли не только свои декорации, но и декорации приглашенных художников. Пете большей частью удавалось избегать от этой работы.

Очень интересны были у него и эскизы костюмов. В них, как и в эскизах декораций, чувствовалась высокая культура театального художника с большим вкусом и фантазией.

Лишь 9 лет жизни смог отдать Петя любимому делу: работал жадно и за эти годы оформил пьесы: «Уриэль Акоста», «В самое сердце», «Беатриче Ченчи», «Поэма о том, как немые заговорили», «Сломанный мост», «Отелло», «Ранники». В Москве в театре Корша Оцхели оформил спектакли: «Строитель Сольнес» Ибсена, в Малом театре – «Коварная любовь», «Славу», «Овечий источник», в музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко – «Пограничник», прошел первым по конкурсу за оформление «Риголетто»,

Ладо Гудиашвили

Большой художник

Мартiros Сергеевич Сарьян прошел огромный, можно зать, доблестный творческий путь, и как радостно сознавать, этот путь увенчался победой. Сегодня мы знаем Сарьяна как шего представителя советского армянского изобразительного искусства, как автора прекрасных художественных полотен, об тивших сокровищницу советской культуры.

Мне вспоминается выставка произведений Сарьяна колько лет назад в Тбилиси. Это был большой праздник для нас. Мы словно прикоснулись к яркой, полной света природе мении, ожившей в полотнах этого мастера кисти.

И ранние картины Сарьяна константинопольского пера как «Константинополь. Улица. Полдень», и «Идущая феллах женщина» и пейзажи современной Армении – «Араратская до: из Двина», «Колхоз села Кариндж в горах Туманяна», «Сбор в града», удостоенные высокой награды – Ленинской премии, – неповторимый красочный мир, оживший на полотнах художни

Перед нами вновь предстал истинный, большой художок и гражданин. Его жизнь и творчество, я думаю, лучший при служения своей родине и искусству.

Волшебство колорита, оригинальность формы и глуб эмоциональность делают творения Сарьяна, согретье любовью родине, близкими и понятными людям.

Ярко выраженная индивидуальность, присущая его т честву, способствовала расцвету таланта целых поколений

ренных художников. Своеобразный и разумный взгляд Сарьяна на современное советское искусство, реально отображающее нашу великую действительность, явился одной из основ на пути развития живописи братских республик.

Я высоко ценю и безгранично люблю прекрасное жизнеутверждающее искусство Мартироса Сарьяна и от всей души желаю ему дальнейших творческих побед.

Перевод с грузинского

1963, № 11

1962-1968

Витезслав Незвал

Ночь в Тбилиси

Та ночь была черна, как ночь,
и светом магния горела;
и страсть не в силах превозмочь,
пять вековых орлов взлетело.

О ночь парная, на меня
смотрела память Пантеона,
и столько силы и огня
передавала мне влюбленно.

Я не забуду мудрость скал –
грузинской женщины Тамары,
чей дух из фрески возникал,
и всех тбилисских улиц чары,

жары безумие и милость,
и ночь сухих Кавказских гор, –
а из ночи вино струилось,
в вине плескался метеор.

1962-1968

Уличные урны

Сердце, сердце мое, никогда никому не завидуй,
никогда, никогда, мое сердце, готовое здесь ко всему!
А иначе утратишь кристальность свою и величие,
а иначе ты станешь бессмысленным мусорным ящиком века,
где скопляется пепел и всякая гниль и отбросы.

Поутру этих урн погребенья мне кажутся аукционом.
Привокзальной затоптанной суетной улицей станешь,
и не будешь таинственной вышкой, откуда весь мир — на ладони,
и откуда видны все сердца и все окна.

Перевод с чешского Георгия Мазурина

1963, № 10

Лев Аннинский

То, что мы называем книжностью

Заметки о современной поэзии

Очень много стали о книжности говорить.

Книжные отроки в повестях гуляют и в романах; кри этих отроков препарируют; поэты показывают читателям золистые руки, либо – если нет мозолистых рук у них – хв; геологические молотки и бегут в дорогу, набивая мозол ногах, честно искореняя книжность из стихов своих.

Книги или дороги? – так ставят сегодня вопрос. Кни жизнь выдуманная. В дорогу!

Как сказал молодой геолог и поэт Вл. Павлинов – пл нам на все бумаги – лишь бы руки не подвели.

Геологический бунт против бумаги – мода недавн видимо, недолговечная; бунт этот достаточно бесхитрос быстро изживает себя: пыль дорог кажется нам более реал чем пыль библиотек, пока дороги «зовут» нас, как орнаме карте; мы можем даже собственноручно ходить по этим дог но ни следа действительного нашего бытия не окажется следах, которые мы оставим на дорогах, пока будут они д специальная панацеей от книжности. Ибо реальность, исл венно создаваемая в противовес книжной, – та же выд только вывернутая наизнанку: сколько тут всамделишной ни соберешь на сапоги, – реальность эта кажущаяся, потом она подстроена. Сегодня с книжностью воюет символически

родах в штурмовке, а вчера воевал с книжностью символический романтик-десятиклассник; смена костюмов в поэзии – тоже интересное зрелище, но более важным кажется мне другое: вот уже десять лет меняет костюмы молодой герой нашей лирики, а ненависть его прикована все к тому же неуловимому противнику, которого в яростных филиппиках именует он Книжностью. Как-никак, а в середине XX века с его всеподчиняющим производством духовных систем, с его разветвленным культом знания – эта непрекращающаяся атака на книжность сама по себе много более интересна, чем тот очередной костюм, в котором кидается на свои ветряные мельницы наш обросший в походах юный геолог. Десять лет назад, помнится, этот юноша не был столь яростен; он даже слегка гордился своей книжностью; устами Роберта Рождественского он звонко провозглашал: «Вышли в свет романтики, все у книг занявшие...» Тревога проскользнула уже у Владимира Соколова: «И в листьях слышишь шорох книг и книжек. Но книги правду говорят лишь тем, кто смеет жить всерьез...» В поисках этой серьезной жизни и заметался в ту пору Евгений Евтушенко: «О правде гадали по строкам в Гайдаре», – и началась атака на обманную книжную экзотику.

Критика тогда же стала осмыслять эту тенденцию; Ю.Суровцев был один из первых, кто описал ее; статья Ю.Суровцева о грузинских лириках «филологического поколения»¹ была, кажется, первой попыткой осознать книжность молодого героя в связи с его реальным историческим опытом. Ю.Суровцев писал об «исключительно гуманитарной подготовке» грузинских лириков послевоенной волны, о «несколько изолированной от практической жизни обстановке», о «неустоявшихся характерах и малюсеньком запасе собственных жизненных наблюдений...». «Сравнительно несамостоятельная, бесхлопотная, сравнительно далекая от больших и малых практических треволений повседневной жизни», – так описывал Ю.Суровцев нашу юность, и видя

¹ «Близость к жизни и глубина поэзии». «Литературная Грузия», 1958, № 4, 5, 6.

в этом истоки проклятой книжности нашей, предсказывал изжить книжность поможет лишь «начало собственной труд деятельности, а вместе с ней начало накопления собственного опыта, лично «заработанного», личными усилиями добытого.

Прошло шесть лет.

Устоялись характеры.

Началась «собственная трудовая деятельность», появились «треволнения повседневной жизни»; «лично заработанный» оделал наших сверстников всесоюзно известными поэтами.

И тут выяснилось, что проблема не решена.

...Что **книжность** остается вопросом вопросов.

...Что бичуя и проклиная ее, поэзия продолжает, как заданная, ходить вокруг этой магической точки.

...Что самые откровенно книжные поэты по каким-то доксальным законам упорно продолжают попадать в центр мания.

Осенью 1959 года в журналистских кругах Москвы несся слух о необыкновенной девушке, которая, всю жизнь болезни проведя в четырех стенах и не покидая своих Мембри, лишь по книжкам одним достигла такого поэтического умения, что хоть сейчас издавай. Парадокс подтвердился, когда «Коммунистическая правда» посвятила этой поэтессе половину странички в предисловии к стихам говорилось, что девушка, написавшая «много читала, много слушала, много думала. Книги, рад люди доносили до нее образы и ароматы жизни, великую красоту и силу искусства». Подборка имела успех, и в декабре газетно-журнально-издательская контора дала щедрые полстраницы для новых стихов дебюта. В следующем году ее уже печатали ведущие журналы. Вышла книжка.

Новелла Матвеева получила признание.

Удивительность этого дебюта заключалась в том, что визна и свежесть открылись в поэзии откровенно, подчеркнут исключительно книжной.

Матвеева «Рембрандт». «Рубенс». «Кипплингу». «Памяти Пришвина». Это название стихотворений. Темы и аксессуары поэзии Новеллы Матвеевой литературны и экзотичны. Джунгли. Обезьяны и попугаи. Колокольчики лиан и «чудовищный цветок» алоэ. Гайавата (в переводе И.Бунина): синеют в сумерках вигвамы, скользят пироги под ветвями. А вот – с крестами и виски – коварные миссионеры. Джонни с винчестером, сигарой и кольцом от Мери дорогой. А вот Фриц, мечтающий о своей Лотхен. А вот «британец властный». Старое фламандское вино. Манжетка гнома. Мокрые грибы под деревом и записная книжка доброго старичка... От Кипплинга до Пришвина, как сама поэтесса хорошо сказала, – «полный книгами старый дом».

Книжность – материал ее поэзии. Книжен и сам ход ее раздумья. Архивариус – символический герой. «Его стихия – старая бумага... Раскопок ждут бумажные пласти... Читает он с глумливым видом мага... Мгновение – и старый документ, как заклинание, выудит из мрака гиганта с волосами из комет». Это сказано о себе: Матвеева расшифровывает иероглифы, знаки, символы. Она берет кусочек янтаря и, как архивариус, прочитывает в нем «леса, которых нет». Берет снежинку. « – Как сложилась песня у меня? – вы спросили. Что же вам сказать? Я сама стараюсь у огня по частям снежинку разобрать...» Она, словно снежинку, разбирает отвлеченные законы жанров: «завидую далеким временам, когда сонет мешал болтать поэтам...» – и все ее искусство может и впрямь показаться выращиванием ледяных цветов и изобретением литературных редкостей: «О! Многое Шекспир вложил в уста сонета, но ведь осталось же несказанное где-то».

Домысливать недосказанное другими – право, занятие для следователя, не для поэта.

Поэт открывает мир заново, открывая в этом мире себя.

Новелла Матвеева играет в архивариуса. Но на наших глазах холодные камни ее таблиц и гробниц высекают живую искру, и в абсолютно книжной сфере оживает поэтическая личность.

В чем тут секрет?

Один английский философ писал: нет ничего занячем составлять себе верное представление о происшествии искаженным, тенденциозным репортажам – для этого надо чрепортажи, тенденциозные диаметрально: ложь уничтожложь, непроизвольно обрисовывая рельеф фактов.

Отвлеченности могут дать представление о реальном для этого они должны сшибаться друг с другом.

Новелла Матвеева сшибает отвлеченности.

Книжные атрибуты, готовые символы, образы трех степени сталкиваются у нее, сплетаясь в сложные метафорические комплексы. В них бьются мысли и воображение, они же они свидетельствуют о личности.

Есть готовые красоты: полог неба, нитка журавльстай. Новелла Матвеева прошивает полог неба ниткой жураПейзаж ожил.

Есть символ: молот. Есть символ: серп. Есть серп Лутоже символ. Матвеева скрещивает символы. Ее отклик на советского лунника – один из лучших в нашей поэзии:

Земной рабочий молот
Упал на лунный серп.
Какие силы могут
Разрушить этот герб?!

Символы оживают – в этом суть мастерства Матвеева. Она намеренно извлекает из слов их самые отвлеченные значения: «Поскорей наполним нашу все равно какую чашу: кратера вулкана или чашечку цветка». Осознать в отвлеченном образе его отвлеченность – уже это есть акция живой личности.

Матвеева дает только отвлеченный, только книжный образ, но в том, как она их сталкивает меж собой, – отключается беспокойство человека, доискивающегося реальной правды. «Мысль», «рассудок», «разум» – эти слова встречают

Матвеевой часто. Но ее поэтическое мышление не рассудочно. Рассудочность – это слепая вера в абстракции. А она им не верит. Она их разрушает, сталкивает. Разумность Матвеевой – не рассудочность, а скорее интеллектуальная игра, в которой рассудочность опровергается. В этом качестве стихи Новеллы Матвеевой напоминают старые стихи Леонида Мартынова, довоенного Мартынова, автора «Тобольского летописца» и других поэм тридцатых годов.

Мартыновский Игнашка Шпак в ту пору не имел опыта и знаний, чтобы уличить в обмане искателя руд, который предлагал озадаченным посадским людям купить у него «за три рубля» волшебный прут, что видит в недрах соль земли. Однако Игнашка смог опровергнуть мошенника при помощи чистейшей и абстрактнейшей логики.

« – Коль прут сей видит вглубь земли, так он не стоит три рубля. А коль он стоит три рубля, так он не видит вглубь земли».

Мартынов в этих поэмах все время испытывает мир на его логичность. И все время поражается: логика опрокинута, мир казуистичен, полон хитрости и предательства. Мартыновская игра слов – любованье логикой, чудом сохранившейся в закоулках изображаемого им мира, поправшего логику. «Непостижимо для ума на свете многое весьма», – весь ранний Мартынов в этой изумительной строке!

У Новеллы Матвеевой нет мартыновского блеска и исторической глубины, но поэтический тип – тот же: взбудораженная логика испытывает мир, изумляясь несоответствием:

Всех сводят сводники:

Козла – с капустой;

Сор –

С отсутствием метлы;

Рубашку – с молюю;

Огонь с водой;

Пилу или топор –

С деревьями;

Шиш – с маслом,

Рану – с солью.

Но близок час расплаты!

Он придет –

И сводника со своднею сведет.

После выхода «Кораблика», второй книжки Н.Матве могло создаться впечатление, что красота ее поэзии – это красота далекой сказки, экзотической страны Дельфинии, зеленого моря и алых парусов, возрожденных через тридцат. Если бы в стихах Матвеевой было только это – ее поэзия лась бы простым перепевом гриновских мотивов. Но в с Матвеевой притягивало что-то новое. Не сказка была душ поэзии, а то, к а к сказывалась сказка. Обостренное, беспоко недоверчивое вглядывание в книжный образ, стремление р шить этот фантом, разгадать его, испытать его логикой – вот матвеевской поэзии. Ее камерная лирика чревата масштабно Узкая тематически, камерная поэзия Новеллы Матвеевой д стрирует тот обостренный умозрительный интеллектуализ торый возникает на базе чистой книжности, если в книжном ну оказывается внутренне сильная, ищущая натура. Актив этой природы приходит интуитивно в столкновение с отвлече материалом, окружающим ее; затиснутая в книжные образ имеющая иного оружия, личность сотрясает и разрушает мир, требуя себе масштабов, требуя себе – реальности.

Возьмите у Новеллы Матвеевой ее парадоксальное с ние понятий и опрокиньте эти парадоксы на эпический шиц материал – и вы получите поэзию Наума Коржавина:

Век открывался для меня не просто.

Он был противоречьем во плоти.

Я видел подлость – знаю благородство.

Я видел мрак – и знаю свет пути.

Век шел к свободе — и крепил законы.

Все для войны — и не любил войны...

Был бунтовщик и — надевал погоны...

Был демократ — и соблюдал чины.

Коржавин сталкивает понятия, но это уже не игра в логику, а попытка понять логику истории. Коржавин исходит из отвлеченных значений — но ищет он реальность исторического движения. Коржавин книжен — но это уже иной уровень и тип книжности.

Новелла Матвеева любит литературные реминисценции, она вводит в стихи строки Пушкина. Для Матвеевой пушкинские строки — элемент орнамента, средство усиления парадоксальности, предмет игры. Вот ее «Ответ анониму»: — «Я к вам пишу. А как вас звать?»

Новелла Матвеева любит литературные реминисценции, она вводит в стихи строки Пушкина. Для Матвеевой пушкинские строки — элемент орнамента, средство усиления парадоксальности, предмет игры. Вот ее «Ответ анониму»: — «Я к вам пишу. А как вас звать? Никак? Чего же боле?! Меня презреньем наказать никак не в вашей воле».

У Коржавина тоже есть вкус к реминисценциям. Он тоже вплавляет в свои стихи строки классиков. Он тоже уходит в исторические фолианты. Война с Наполеоном. Декабристы. Карл Либкнехт. Нигилисты прошлого века. Но одно существенное обстоятельство отличает его книжность от книжности Новеллы Матвеевой. Коржавин не коллекционирует книжные раритеты, но мучительно доискивается их смысла и всеобщей связи — он ищет внутреннюю последовательность и спасительную логику в историческом процессе.

Коржавин парадоксален, но только в исходной точке размышленья. Цель его — разгадать парадокс, разрушить его, раскрыть в нем логику. Отсюда — ведущий коржавинский мотив —

связь времен. Петербург становится Ленинградом. Мы рловную духа ведем от баррикад. Нигилисты швыряют боцаря, и самое главное: нас бы не было без них... Возвращаю прошлое, поэт пристально вглядывается в него, стараясь дать в нем неизбежность нынешнего. С Бородинского полчут впереди русских воинов сумрачные офицеры. Коржавин дывается: и бунта ихнего начало лежит, наверно, в этом. Потом погоны генералов с них – будет час – за бунт сорв; баррикадных боях 1905 года участвует рабочий – мар; большевик. Коржавин ищет в нем взгляд грядущего: и т наркомом он станет, но это уж будет потом... В дымных и т ных питерских пригородах конца века поэт находит оди; пешехода, ничем не приметного внешне, – всматривается: и двадцать пять ему, и встался он еще Ульянов... Историческ; терминизм, историческое «вчера», «сегодня» и «потом» главная забота Коржавина; он берет на шкале времени т; старается угадать в ней движение; он влезает в душу разо шего от пива прусского филистера и ищет, где же в ней пр; ся вихрь еще не наступившего XX столетия; он твердо; закономерность есть, и надо только разглядеть ее.

Эта вот абсолютная вера в логику, в справедливость и ходимость, в неразгаданную стройность истории при всей мой ее хаотичности – и есть главная вера Коржавина. В табности исторических построений, в этом безраздельном рии к логике, в умении воссоздавать ее – своеобразие его п. Во многих отношениях И. Коржавин стоит в современной i как бы особняком.

У его старших сверстников: Межирова или Пан Левитанского или Окуджавы – нет такого вкуса к отвлечени – в их поэзии больше крови и плоти, вещности и материалы.

У его младших сверстников: Евтушенко или Рожде ского, Вацетиса или Чиладзе – нет такого вкуса к масштаб такой страсти проследживать разветвления истории изнутри.

Коржавин оказался как бы между этими поколе;

соединив и в собственной биографии черты тех и других. Ревеник Винокурова, Коржавин возрастом примыкает к фронтовикам. Судьбою к нам: он не попал на фронт (из-за плохого зрения). Поэтому возмужание было связано у Коржавина не с огнем атак, как у его сверстников, а с холодом эвакуации, как у послевоенных поэтов: тут детские мечтания, духота поездов, встречный воинский эшелон, в столовой толпа, голодная девочка, просящая хлеба, а главное: война – не в окопной конкретности, а лишь в широкой ее сути, в мировом обобщенном смысле. Такой она и останется в сознании Коржавина, война – столкновение идей, война – шрам на челе планеты, война – бедствие истории: «Я пишу не затем, чтоб свести свои счета с Германией и найти в ней причину всемирного, вечного зла...» Вы чувствуете: это именно то, что он ищет!

Чем превосходил Коржавин певцов военного детства?

Возрастом, но не опытом!

Его мирочувствование было по сути таким же, как у наивных юных мечтателей – просто оно было более оформившимся, более последовательным. Оно было более масштабным.

«Что мы услышали от мам? Все то, что прочие? Едва ли! Другие песни спели нам, другие сказки рассказали. Мы были новой страной, еще не признанной, но сущей. Гражданской сказочной войной она прорвалась в мир грядущий», – пишет Коржавин, обращаясь к своим сверстникам, родившимся в двадцатых. Эти слова можно отнести и к родившимся в тридцатых: ощущение сказочной первородности нашей страны было и нашим ощущением, – когда все виделось мессиански великим, события – балладами, дни – датами, люди – героями. Критик Б.Сарнов в работе о Евгении Винокурове заметил, что до войны Винокуров и Евтушенко представляли собой одно поколение, ими владело одно мироощущение, выраженное тогда Павлом Коганом и его товарищами: освобожденный от цепей земшар, вихри революций, режущий глаза ветер истории, косые углы и осмеянные овалы. Война разделила их на взрослых и детей. Взрослые гибли,

побеждали, мужали. Дети хранили мечту. Коржавин был с ним, но он был старше, с его поэзией произошло то, что, наверное, произошло бы с поэзией Павла Когана, если бы не война...

Коржавин доводит до логического конца ту духовную, полную романтического пафоса и революционного реализма нравственную программу, которая перед войной пером Когана и Кульчицкого, Отрады и Майорова. Да, про годы, и Коржавин пересматривает когановскую угловатость, хотя из когановской же мечты о мировой гармонии, он берет методы, исходя из тех же целей. В этом смысле коржавинская поэзия – уникальный пример дошедшего до нас умонастроения довоенных мальчишек, умонастроения, не спугнутого войной и не растраченного по mladости, а сохранившего свою творческую силу, чтобы судить себя по своим же законам.

Коржавин переосмысляет Когана. Он ставит эпиграф: «Я с детства не любил овал. Я с детства угол рисописать начал». Он пишет далее: «Меня, как видно, бог не звал и вкусом не был тонченным. Я с детства полюбил овал за то, что он такой чуждый... Но все углы и все печали, и всех противоречий тем острее ощущаю, что с детства полюбил овал».

Может быть, Коган написал бы сейчас такие же стихи. Тогда углы казались ему признаком справедливости. Он искал бы справедливость иную. Впрочем, война все равно была бы его другом, даже если бы он вернулся. Но тот безраздельно верящий в логичность истории, сейчас пишет нечто подобное: их объединяет с Коржавиным одно решающее качество: абсолютная вера в историческую логику. И с Коржавиным легко спорить с Коганом: чтобы столь уверенно брать угол на овал, надо иметь общую геометрическую основу.

Но чтобы пробиться сквозь эту поверхность к реальности жизни, нужен реальный опыт: сказки, рассказанные тебе в детстве, могут быть для тебя правдой, поэзией, но лишь до того пока ты не знаешь другой опоры, пока сам ты умеешь жи-

в сказке; а зрелость неизбежно приходит, врывается – к Когану войной, к Коржавину...

Намертво взятая в плен исторической логикой, поэзия Коржавина всецело остается в пределах книжного мышления. Мы все время чувствуем, как, не находя иных опор, неистово бьется в этом кольце упрямый ум Коржавина. Как впивается он в готовые книжные символы, выпытывая у них логику. Как не находит – и впивается вновь.

«Над книгой Некрасова. 1941» – озаглавлены стихи. Они построены на реминисценции, на готовом книжном образе. «Столетье промчалось. И снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет...» Коржавин вводит некрасовскую крестьянку в горящие села 1941 года – так рождаются строки, поразительные по силе и емкости, может быть, лучшие строки Коржавина:

Она бы хотела иначе –
Носить драгоценный наряд...
Но кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят.

Для того, чтобы «преодолеть книжность», поэзии не надо отбрасывать книги. Главное – чего зыскуешь ты у книг. Можно бесконечно циркулировать по гляncy исторических картин, пытаться сопрячь эти картинки овальной линией логики, а потом вдруг – как взрыв: «Но кони все скачут и скачут...» – и прорван глянец, и плоскость – иная, и чувствуешь, как бьется там, в кольце понятий и реминисценций, ничего не забывающее живое сердце.

Поэзия – там, где реальность духовной жизни, где реальность личности.

Метнуться из книжного окружения в поисковую партию или даже на строительство Братской гидроэлектростанции – еще не значит уловить реальность: реальность хитрее, и она, между прочим, повсюду – и в Братске, и в Ленинградской Публичной библи-

отеке; чтобы разгадать ее, мало взглянуть: надо найти в ней осознать ее в единстве со своим духовным опытом.

Мы говорили о книжном отроке. Узнает ли сей жизнь, если, отряхнувшись от книжной пыли, подышит кс дом в Братске? Нет! Грандиозная панорама стройки окажется него продолжением книжности, очередной картинкой на рачном куполе его знаний. Как тут пробиться к реальности войти в ее структуру, стать ее частью, почувствовать в себе гику? Реальный опыт не идентичен мозолям на руках или н он дается лишь осознанием своей судьбы в судьбе мира. И думаете, что насиживая себе мозоли в Публичной библи вышеупомянутый книжный отрок хоть на йоту приближа той р е а л ь н о с т и, которая сокрыта в движении идей, д нии мысли? Тоже нет! Потому что нет и здесь участия. осознать в своей книжности меру ее реального смысла, вительность в ней осознать, судьбу.

У Льва Халифа, издавшего недавно первую книгу «И многое продиктовано непосредственным опытом. Безотцов детство военных лет. «Поколение на фронт смотрящих и поколение не отпущенных на фронт...», «Мне эта наука да не очень... Я был путевой рабочий...». Многие стихи Хали писаны, так сказать, прямо о жизни, о ее «практических т нениях», о том, как строили железную дорогу, о том, как . летчики... Не странно ли, что именно эти, очищенные от « ности» стихи – в конечном счете оказываются неуловимо ными? «Тебя я прошел и руками потрогал. Железную пес стала, дорога...» Как видим, измерить что-либо пешком потрогать руками – еще не все в поэзии; это не гаранти общих мест типа «железной песни», «крыльев тугих» или кротимых замыслов». А главное – эти благостные общие совершенно не вяжутся с тем, что в поэзии Халифа сос самую душу: с его неуютной, беспокойной, взбудораженн тонацией.

Вернемся назад. Лет за восемь до первой книжки Халиф дебютировал в газете миниатюрой, которая впоследствии пошла гулять анонимно и псевдонимно по литературным нивам, кочуя по романам и повестям в качестве известной всем притчи. Вот она:

- Из чего твой панцирь,
Черепаша? –
Я спросил и получил ответ:
– Он из мной накопленного страха.
Ничего прочнее в мире нет.

Стихи по видимости куда более условные и книжные, чем цитированные нами взаправдашние воспоминания путевого рабочего, – но какая неподдельная поэтическая сила в них! И опять тот же самый секрет: блеск чистой, так сказать, мысли... Халиф оживляет книжные понятия, соединяя их в парадоксальном единстве, он высекает искру поэзии из черепашьего панциря так же, как Новелла Матвеева высекала ее из камней гробниц, а Коржавин из окаменевших цитат... Халиф делает это резче, он саркастичен, жесток в интонации. Осмысляя мировую историю в ее драматических моментах – от стрелецкой казни до эвакуационных буден войны, от дней Конвента до Дня Космонавта, – Халиф тоже старается найти прочные, железные формулы бытия личности в потоке времени. «Плавь нас, время, пробуй, но чеканя – не кроши в разменную монету, ты до звона в онемевшем камне нас пометь своей особой метой!» История теряет у Халифа коржавинские плавные очертания, и время человеческой логики, которое подобно Коржавину приветствует Халиф, – далеко от завершенной овальности. Халиф возрождает углы. Мир пахнет для него вселенскими ветрами. Но в ритмы истории, в ритмы вселенной герой Халифа вживается иначе, чем герой Коржавина: у Халифа гармония взорвана, мир неуютен, пронизан ветром; ветер – сквозной мотив, и гулкое эхо, и простор... Да, Халиф книжен в лучших своих стихах – потому что он втягивает в свою поэтическую

орбиту книжные понятия, сошедшие к нам со скрижа трогать Великую Французскую революцию так же трудно мерить шагами понятие «мещанства»; но в окружающих н я т и я х таится взрывчатая сила, которую освобождает поэта: «Мещанин – рылолюбец – дуб с человеческой корой тоже нужна революция, если он – не король».

То, что мы называем книжностью, может быть чертой бы, реальностью духовного опыта. Как быть, если книга вьется для тебя жизнью? Если мир впервые пришел к тебе влечениях пятой степени? Сегодня легко представить себе века, вынесшего из многолетнего современного учения и разветвленное знание о жизни: знание не просто предшествует его судьбе живому опыту – сам опыт становится продолжением элементом знания... Так чем же будет книжность для самого этого человека? Химерой? Нет! Реальностью его. Теперь, чтобы потерять себя, ему достаточно выдумать какую-нибудь иную «реальность»: пуститься, скажем, или иным способом приобщиться к «треволнениям». Для того чтоб понять себя, этот человек должен сделать прежде и то. Взглянуть в глаза этой самой книжности. Не лгать себе.

Да, только поначалу этот книжный мир кажется ничным, и лишь поначалу наш отягощенный учением надеждой простирает к нему свои знания. В это мгновение поэт – Коржавин. Но неизбежно ледяной ветер, поднимая этих отвлеченных глубин, пронизает человека насквозь. Эзия Халифа. Только будет еще гармония, и будет востановленная цельность, правда, иная... Что остается человеку, занному ветром истории? Так или иначе – ему идти. Скорее всего, улыбнется человек своей былой наивности.

Тут я вспоминаю поэзию Кушнера.

Книгу свою Александр Кушнер назвал «Первое чтение». Не знаю, имел ли в виду молодой поэт хитроумия зя Талейрана, который, как известно, советовал б о

первого движения души, потому что оно самое благородное, – но поэзия Кушнера полемична по отношению к такого рода хитрым концепциям: Кушнер верит в первое, как он говорит, «мимолетное» впечатление именно потому, что оно достоверно и не подвластно еще уловке и умыслу – пусть оно не повторится снова и «проживет немного дней, но настоящего, второго, оно и ярче, и милей».

Кушнер по самой структуре таланта антикнижен, он покояется непосредственностью, прозрачностью, достоверностью взгляда, он мастер передавать живое течение повседневных буден. Именно у Кушнера книжность оказывается тем, что есть она в его судьбе, – чертой реальной жизненной биографии. Из стихов поэта встает вполне конкретный образ молодого учителя-словесника, который живет в Ленинграде, может быть, недалеко от Публичной библиотеки, который выходит по утрам на холодную набережную, слушает свирепый невский ветер, читает на углу объявления и, оглядываясь на Петропавловский шпиль, хорошо знает, какие литературные ассоциации должны при этом возникнуть. Мы знаем о судьбе этого поэта все: мы видим фильм, который он, замирая, смотрел перед войной, мы слышим, как гремят в репродукторе боевые сводки и капают капли с потолка, мы чувствуем, как эвакуированный мальчишка ждет писем с фронта... Мы ощущаем атмосферу Ленинграда: с летящими и неловкими домами первых пятилеток, с потемневшими эмблемами Осоавиахима, с холодным простором «Воздухоплавательного парка», с рабочими кладбищами, самые звуки названий которых дороги нам: «не на тихом, деревенском, где лишь вороны кружат, – за Обводным, на Смоленском и на Волковом лежат».

Итак, Кушнер – реалист до мозга костей. После отвлеченных орнаментов Матвеевой, после коржавинских исторических построений и кованых парадоксов Халифа – акварельный Кушнер обезоруживает, как мимолетняя улыбка. И вот всей логикой реалистичнейшего своего мышления Кушнер приходит к той же теме, в кругу которой оставались и Матвеева, и Коржавин, и

Халиф.

Книжки, учебники, музейные ветхие экспонаты, турные ассоциации – Кушнер весь в кругу такого рода и гентности, но удивительная реалистичность его письма этой книжности ее магический блеск, превращая ее в детвой судьбы. Кушнер преодолевает магию отвлеченных п он выходит из-под власти умозрительной гармонии (в смутно верит Коржавин и которой смутно не доверяет Ха ее снижает, с горных высот он опускает ее на школьную он объективирует ее, улыбаясь этой книжной магии, как ется украдкой школьный учитель потрясению восьмикла впервые прочитавшей «Бедную Лизу» (в душе он харак основоположника русского сентиментализма без всякого «Он открыл среди полянок много милых поселянок. Он средь полян много милых поселян» – все верно, и вмес какая ветхость!). С улыбкой наш обаятельный словесник жает присягать книгам и наукам: «О химия! Любовь моя яет физика повсюду...», «И геометрия царила, и в ней г была...». Гимны наукам подозрительно похожи на школь писание: поэт, окруженный книжной «гармонией», не вер ни одной секунды. Что выдает его? Улыбка!

Кушнер шутит там, где другие серьезны.

Станислав Куняев бьется над объявлениями о набочей силы, он мучается: почему же «отсутствует спрос и тов, журналистов и редакторов». А Кушнер улыбается: зья, набирайтесь терпенья! Слушайте иногда объявления! от них на душе, даже если ты занят уже».

А.Передреев пишет о смятении, в котором про разбуженный поутру радиопередачами его уставший Звонки будят, зовут и кушнеровского героя, а он пошучи дерутся, пока я встаю, за бессмертную душу мою».

Белла Ахмадулина, услыша свой голос на магн жалуется на трагическое расщепление личности: «Мой гчет отвлеченно». Кушнер слушает и ухмыляется: «Техни

ет наши души».

Герой Кушнера с улыбкой встречает превратности судьбы, будь то несчастье в любви или скука буден, или обман... Это улыбка шута: он подыгрывает глупости, изъясняя покорнейшее желание раствориться: «и счастлив я способностью воды покорно повторять чужие формы...» Он притворяется маленьким человечком: «Не замереть ли, голову склоняя?.. И всех просить: не трогайте меня!».

В простом акварельно-прозрачном мире, среди «больших и малых практических тревожений повседневной жизни» спокойный и внимательный глаз Кушнера легко различает фантомальное царство отвлеченностей, окружающее его с детства; герой Кушнера проходит эти трясины с улыбкой, он улыбается, как циркач-фокусник, подбрасывающий гири: все смеются, думая, что гири картонные, и никто не знает, что они настоящие.

Настоящее содержание поэзии Кушнера – это самое прозрение его в фантомальном книжном мире, это драматизм открытия подлинной жизни в зыбких книжных туманах, это самый переход подлинности в кажимость и обратно...

Одно из лучших стихотворений Кушнера – «Радищев» – построено на переосмыслении готовых, стократно цитированных книжных образов. Но в отличие от Коржавина, Кушнер оглядывается не на столетие, а на полтора столетия назад:

Ему потупиться бы скромно:
Живи один, себя спасай.
Радищев! «Чудище огромно,
Стозевно, обло и лайй».

Книжность взята в ладони, низведена до школьных цитат:

И вот стучит ногами гневно,
Кричит и требует воды

Богopodobная царевна
Киргиз-Кайсацкия орды!

В хрестоматийной и отглянцованной фигуре первого русского революционера Кушнер прозревает живого человека, влюбленного в свое достоинство, и это — не «книжная», а реальная драма:

Несовершенным мирозданием
Во все века и времена
И человеческим страданием
Его душа уязвлена...

И вот эта выявленная в живом, нервном существовании человеческая судьба мгновенно прячется опять в отчужденный хрестоматийный глянец:

А зло темно и вероломно:
Сибирь. Приехал. Вылезай.
Радищев! Чудище огромно,
Стозевно, обло и лайй».

Поэтическая мысль Кушнера как бы пульсирует в фантастическом мире книжности и угадываемым за ним реальным миром людей. Эти миры неразрывны, они не могут отделиться друг от друга, а поэт все пытается их разнять — в этом претанном усилии заключается истинный драматизм и настоящая правда поэзии Кушнера.

Есть в этом драматическом усилии что-то глубоко и важное для нынешней поэзии. Важное что-то есть.

За две тысячи километров от холодного Ленинграда: киними кинжалами гор, вырастет на совершенно иной национальной почве поэзия грузинского сверстника Кушнера; но при-

северную столицу, Тамаз Чиладзе вздрагивает на улице от такого же ощущения: то ли старинная литература оживает на глазах, то ли реальность мерцает книжной картинкой: «Улицу перейдет Пиковая дама. Я посторонюсь – посмотрю ей вслед. Что это за дама? Что это за дата? Все я вам выдумываю. Дамы нет...»

Поэзия Тамаза Чиладзе насыщена атрибутами древней культуры; многовековое развитие грузинской лирики осеняет его стихи; великие имена и великие названия соединяются в поэзии Тамаза Чиладзе в тот отточенный и изысканный узор, вне которого, как мне кажется, вообще не понять красоты и прелести грузинской поэзии. Чиладзе спокоен и раздумчив, среди грузинских лириков он выделяется уравновешенной сосредоточенностью; его чувства неотделимы от раздумий, от анализа; «течешь ты без гудения, без грохота – и волны твои мудрости полны», – в устах Тамаза Чиладзе это звучит почти как самохарактеристика: на фоне нынешней молодой грузинской лирики, впитавшей напряженную музыкальность Галактиона Табидзе – поэзия Т.Чиладзе кажется созерцательной, она тютчевского толка. Когда поэт вспоминает Светицховели – то это не чувственно воспринимаемый облик гениально построенного здания – это символ, древний посланец великой культуры, элемент легенды... «И я стою в кругу веков и эпох, – пишет поэт. – Переливается на скалах Икалто...» Усталый Сулхан-Саба в стихах Чиладзе качает Грузию на коленях, голос Камари доносится из сказок, и Джвари, как корабль, бросает якорь в его поэзии. «Примерзли к небу, словно эти скалы, гудки обледенелых кораблей... Похоже все на северные сказки, дошедшие до родины моей...» Похоже! Недаром на улицах северных годов чудится поэту стук палки Лютера, и Вивьен Ли рыдает на мосту Ватерлоо, и пушкинская Лиза спешит вдоль Невы-реки... Высокая, чарующая книжность.

В какой-то главной точке поэзия Тамаза Чиладзе, идущая от совсем иных традиций и от иных древних книг, – переключается с поэзией его северных собратьев.

О, у кораблика бумажного
есть с настоящим тождество...

Вы вспоминаете здесь сказочный кораблик Новеллы
веевой, который «сам себя, говорят, смастерил»...

Все это кажется
и вместе с тем не кажется...

Вы чувствуете, как знакомо нам это мерцание, когда
переливается в реальность, и реальность – в сказку, когда
рванность и быль причудливо и зыбко сливаются друг с друг

Ну, а если придется
с несчастьем столкнуться,
улыбнись ли открыто и смело тогда?
(А ведь стоит
тогда улыбнуться)...

Вы улавливаете, как сквозь тернии перевода пробива
нам интонация подлинника: улыбка скрывает драматизм. I
но, это не кушнеровская улыбка: Кушнер балагурит с н
Тамаз Чиладзе скупно улыбается про себя... Но истоки инто
внутренняя тема, конфликт, порождающий поэзию, – все т
Поэзия Тамаза Чиладзе рождается от потрясенного сознани
связи, что возникает меж книжным миром и миром реал
Это та самая связь, что «гриму, смешанному с потом и сл
вечность истины жестокой придает...», и когда в книжной
шекспировского Ричарда открывается поэту живая трагед
этот момент, словно бесшумный взрыв, возникает поэзия
хах Тамаза Чиладзе.

Будет дальше
по телам шагать история,

будут люди
руки в кровь марать,
а на сценах мира
с плачем и стонами
каждый вечер
будет Ричард умирать.

Это очень сложно – то, что мы называем книжностью. Это мир книжных образов, это старые фрески, это поддельные страсти актеров, это готовые символы старой культуры, это хрестоматийные цитаты, это истертые штампы, это все то, что создано другими, что прошло через миллионы уст, став общепотребительной частью эстетики, – это все то, наконец, что составляет гигантский безличный фонд современной духовности. Драматизм нынешней поэзии продиктован тем, что действительное бытие личности заключено не вне, а в недрах этого разветвленного духовного производства. Новые книги и старые фрески, искусственные страсти актеров и истертые цитаты – все втянуто в гигантское жерло массовой культуры XX века. Но у поэзии нет иного материала, чем тот, который дает ей время. И у поэзии нет иной задачи, чем открытие целостной духовной жизни в недрах этого материала. Поэзия ищет подлинность в тумане полуподделок, она находит личность в океане полубезличного существования, она читает жизнь меж строк современной информации.

А мы называем это книжностью:

Наряды осени народны.
И преклоняюсь каждый раз
Я перед вкусом благородным
Ее бесхитростных прикрас.

Это – книжность. Юнна Мориц осмысляет Россию через Пушкина, через болдинский облетающий багрец. Потом Юнна Мориц едет на Север, путешествует по зимовьям Новой Земли,

Таймыра, Диксона. Критики приветствуют ее: поэтесса ищет книжность. Она привозит с Севера стихи – сборник «Желания». Жгучие полярные вьюги, веселые зимовщики. О льдах, в насмешку вроде, идут «с приплясом, не спеша, с пеющей природе табаком в лицо дыша»... Вот как увиден С «Там все, как в линзу, велико и, как в грозу, свежо»... Багровом белом. Багровые от вьюги руки – белая тундра. Пылающих ветра лица – белая тундра. Острая игла костра – белая тундра. Черные ножи винта разбрызгивают белые льдины в земном море. Синее от холода гавань, в ней по-мужски тоскуют мужчины... Это Север, оплавленный солнцем, – на снегу пляшут смятая снег горячими пимами.

Вы чувствуете: конечно, это – не Пушкин.

Это – Рокуэлл Кент!

Это тоже, если хотите, книжность. Это мир, знакомый картинам и оказавшийся реальным. От ощущения этой где-то сказка смыкается с реальностью – острота взгляда и водел делающий арктические картины Юнны Мориц настоящей зией. Ощущение мгновенного слияния мечты и реальности ее книжки. И отсюда – ее взрывающиеся краски. Красное и мятежность и безмолвие, огонь и лед – «все скрестилось на в «Мысе Желания». «Восторг бескрайний – с крайним глубоким снегом – льда настил, одним прыжком он тунд морем и смерть с ошибкой совместил». Жестокость и до инстинкт и разум ошибаются у Юнны Мориц. Критика талась определить суть ее поэзии. Появился термин: «погные переживания». Этот термин ввел, кажется, Рунин, в рисунки поэзии был им определен точно. «Пограничные переживания» навели критика на мысль сравнить арктические Юнны Мориц со старыми тихоокеанскими стихами И.Сеского, а поскольку маститый поэт имел возможность высказаться на тридцать лет раньше, то и объявлено было, что Юнна лишь повторила его, не дав ничего нового.

Боюсь внешних аналогий. У Чехова степь и у Ан

степь. У Сельвинского охота на нерпу и у Мориц охота на нерпу. Да еще у С.Кирсанова был сборник «Мыс Желания». Бездна соблазнов!

Но сравнение «Нерпы» Мориц с «Охотой на нерпу» Сельвинского имеет смысл. Тут абсолютно схожий поэтический сюжет: нерпу обманывают музыкой, губят красотой. Решение темы однако – диаметральное! Юнна Мориц не повторяет, а опровергает Сельвинского. Ее драматизм имеет другие истоки.

Когда на лед сбежало скерцо
Из-под вертящейся иглы
Что у нее случилось в сердце
От этой простенькой игры?

Когда охотник подманивает нерпу музыкой, – то что такое эта игра для охотника? Элемент его жизни, его охоты, его существования. Что такое эта игра для поэта, горожанина, приехавшего на Север писать стихи? Красивая сказка, книжный парадокс, оксюморон – убийство музыкой. И вдруг этот книжный парадокс окрашивается живой кровью... Отсюда начинается для поэта – поэзия.

У Сельвинского нерпа не имеет сердца. Ее чувства просты и арифметичны, ее «толстый слух» – как канат, притягивающий нерпу к гибели, ее поведение исключает самый вопрос о том, что происходит в ее сердце. Интерес – в другом. Сельвинский дивится «двойственной роли» музыки, но это не ощущение жизни и смерти, а скорее изумление хитрости нового оружия: итальянский баритон не подозревал подобного, а вот его лирикой глушат зверя, как доской... Поэт вспоминает, что и сам он «бывал не раз избит, как нерпа, за доверчивость к искусству»; он и здесь изумляется хитрости раздвоенной его природы, но это изумление того, кто остался невредимым. Субъект лирического действия у Сельвинского – ловкий охотник Пантелей, который «набил 148 штук», а нерпа, что «ныряет, вьется вкривь и вкось, куда ведет ее

лосось», это – одна штука из 148, безвольная фантомно-неживой объект хитрости.

А Юнна Мориц? Она поражена как раз тем, что для винского неважно: внезапным безволием существа, которое что было свободно и вольно.

Она ластом волну мешала,
И льдины двигала она.
Казалось, кожа ей мешала,
Как распроклятье колдуна.

И ничего не надо, кроме,
Как лечь на палубе бугром
И умолять ценою крови
Расколдовать себя багром...

Звнящее ощущение личности сильно у Мориц потому, что оно под угрозой. Сельвинский не ведал этого, проблема цельности не занимала его по той причине, которой здоровый человек не знает, что у него есть сердце здоровое, силен, киплинговски жесток. Весь тихоокеанский Сельвинского таит в себе жестокость битвы, обернутую ласковостью. В знаменитой «Балладе о тигре» прием обманчивый: охотник усыпляет зверя лаской, а за лаской таится и опасность. Упоение дракой – цель: «Не от катара я умру, не от падагры Я, как поэму, смерть приму из тигровых когтей...».

Герой Сельвинского попросту не ведает грани между легендой и реальностью. Легенда для него и есть реальность, и он, попадая в когти тигра, он не оставляет себя на место нерпы. Он упивается игрой, охотой, лаской. Его поэзия не знала альтернатив: существование было безразлично, вобрано в творимую легенду.

Юнна Мориц не просто становится на сторону жерлицы этой охоте, она не просто сердце живое чувствует у нерпы.

поэзия охоты оказывается темой ее стихов, а загадка потери себя существом, которое жило отдельно от стихии этой сказочной охоты. Благодушный бригадир с царственностью победителя дарует нерпе жизнь:

У бригадира сдали нервы,
И был он добрая душа —
Уплыл, оставив кожу нерпе
Да искус музыки в ушах!..

Искус музыки — то, чем убили нерпу. Убили, не убив. Искус музыки — то, чем отняли ее у нее самой... Значит, она обречена — эта отпущенная на волю нерпа. Она не принадлежит себе; в ней жизнь подменена. Это вот трагическое ощущение жизни, подмененной невесть откуда сошедшим призрачным колдовством, хитроумной имитацией, игрой в жизнь, — и есть главный вопрос поэзии Юнны Морич.

Она это называет — «искус музыки».

Мы называем это книжностью.

Но как бы ни назвать — важно одно: поэзия всегда с людьми, и в то время, как подделка, шарахаясь от «книжности», изображает себя на всевозможных дорогах века, в худшую «книжность» невзначай попадая, — настоящая поэзия даже в самой книжности находит единственную для искусства дорогу — дорогу к правде.

1965, № 1

1962-1968

Письма Грузинским друзьям

(Из архива Бориса Пастернака)

Н. А. ТАБИДЗЕ

7/VII 1953

Дорогая Нина!

Что же Вы не едете? Я и сейчас делаю непозволительно подчиняясь желанию написать Вам и отлынивая от спешной боты. Теперь, после инфаркта, все работы стали для меня спящими.

Милый, милый, милый друг! Вы знаете, я давно не верю в возможность того, чтобы Т¹ был жив. Это был слишком большой, слишком особенный и разливающий свет вокруг себя человек, чтобы можно было его скрыть, чтобы признаки его существования не просочились сквозь любые затворы. И Ваша возмущающаяся вера в то, что быть может мы его увидим, на меня заразила меня.

Если он в живых, он непременно вернется в мою и Вашу жизнь. Это было бы невысказанное счастье: это, именно это, а что-нибудь другое, совершенно перевернуло бы ее для меня. Было бы именно той наградой судьбы, тем возмещением, которого мне никогда, никогда не достает, когда после огромного количества души и нервов... мне страшно хочется чего-нибудь равносильного, и никакие деньги и удовольствия, никакое признание и ничто на свете не могут мне возместить потраченные силы.

Приезжайте, мы давно ждем Вас. Я не могу написать или даже телеграфировать по-человечески из-за спешки, Вы, верное, не находите меня в письмах, они Вам кажутся холодными и рассеянными. Приезжайте хотя из любопытства, посмотрите как я изменился к худшему. Я нарочно ничего не пишу Ва

себе и о наших: все узнаете на месте. Поцелуйте Ниту и А. Н. и поцелуйте наши перешлите Гивику в деревню. Мне всегда бывало больно, когда Вы кровью сердца писали Ваши золотые письма, вроде последних, Зине и мне о Стасике, потому что на такие письма нет ответов равного значения. Приезжайте, Ниночка, я Вам напомню, как я люблю Вас, и что я еще человек, с которым можно разговаривать, – Вы это забыли. Крепко, крепко, крепко Вас целую.

Ваш Б.

Кланяйтесь семье Леонидзе, дамам и ему самому. Какое горе, какое потрясение смерть Нат. Георгиевны!² Такой талант, лицо самой жизни в ее лучшем выражении, такая красавица! Если бы у меня было время, я бы очень хотел написать обоим Чиковани – ей и ему. Вот с кем еще много я буду встречаться в жизни, если проживу еще. Верю в будущее Симона.

Ваш Б.

¹ Т. Табидзе.

² Н. Г. Вачнадзе.

Г. Н. ЛЕОНИДЗЕ

5/IX 1953, суббота

Дорогой Георгий Николаевич!

Если я Вас не увижу сегодня, как обещала мне, приехавши из города, Зина, (будто Вы будете в Переделкине у Леоновых, и от них зайдете к нам), то в этом буду виноват только я сам. Я знаю, что Вы много раз звонили нам в городе, не сомневаюсь в Вашем желании повидаться с нами, и сам очень хочу видеть Вас. Я должен был бы проявить в этом больше инициативы и сам должен был бы устроить эту встречу. Виной – пониженная моя активность последнего времени и некоторая общая отчужденность от того, что делается в литературе, и от литературных кругов.

Но все это пустяки. Бог даст, Вы приедете в другой раз, буду в городе, мы увидимся и все устроится само собою. Все я пишу Вам в успокоение, чтобы Вы не чувствовали неловкости или сожаления, что мы не встретились. Повторяю, — Вы — не тот, чем, это я должен был быть, предприимчивее и настойчивей.

Сейчас, осенью, я тут на даче один, за исключением боты и воскресений, когда ко мне приезжают Зина и Леня. Я мечтаю, сознавая ее неисполнимость, я думаю о том, что было бы, если бы на этот месяц осталась со мною Нина. К сожалению о службе, которая не позволила бы ей это сделать, она конечно, истомилась скукой рядом с железным и размерами моим трудовым режимом, целодневным молчанием и «разрыванием уст» только за обедом и вечерами. Но я бы, разумеется, блаженствовал. Она самый, самый большой мой друг, Вы и я и при ней мне чудно жилось и работалось.

Однако и сейчас в те нередкие дни, когда осень дышит в лицо темнотою, холодом и одиночеством, я побеждаю эти тупые тоски единственным нашим спасением, трудом. И тогда себя печку.

Как мне нравится Ваш дом, Ваша жизнь, если бы мы знали!

Целую всему этому руки в лице Евфимии Александровны и Вас обнимаю.

Ваш. Б. Г

Н. А. ТАБИДЗЕ

30/IV 1954

Дорогая Ниночка!

Отвечаю Вам второпях, так как завален всякими работами. Простите, что долго не писал Вам, и ошибочно думал, что в это время молчите и Вы, отвлеченные недосугом. Оказываясь в промежутке Вы послали письмо с оказией. Нет, такого пись-

не получали. По поводу Лениного воротника, плеч и рукавов уполномочен заявить, что у Лени ничего этого нет, а есть только глаза и нос и волосы. Зачем это Вам, Нина? Когда Вы перестанете сумасшествствовать?

Вива... Так как Вы любите исполнять приятные поручения, то вот просьба к Вам. У меня не было «Знамени» до сравнительно недавнего времени. Я только позавчера узнал, какой у меня вид в печати и прочел «Дорогу дружбы» Чиковани, которую открывается журнал. Очень живо, с натуры, по-настоящему написанное путешествие, производящее настоящее впечатление, как проза хорошего романиста, очень талантливо изложенная Межировым. Очень хорошо, оба молодцы.

Когда Симон был здесь, я ничего еще толком не видел, ни себя, ни его, и молчал. Он мог подумать, что мне не понравилось и что я эти стихи осуждаю. А в «Знамени» приготовили мне авторские, но пришли неизвестные студенты, сказали, что от меня, и забрали и унесли предназначенные мне экземпляры...

Целую Вас
Ваш Б.

Н. А. ТАБИДЗЕ

7/IX 1955

Дорогая моя Нина!

Огромное Вам спасибо за все. Сейчас Вива передала мне Ваше письмо, я прочел его и спешу написать Вам несколько слов благодарности...

Зина в открытке упоминает о «чудесах гостеприимства» (это ее слова), которые совершал Георгий Николаевич. Вива много черт прибавила в своем рассказе. Глазами души я все это вижу, вижу снова всех вас, вместе со своими, вижу Евфимию Александровну и Леонидзе, как себя самого, как замену меня в какой-то горячей сердечной близости с ними, как

защиту им. Что мне сказать? Пойдите к ним и крепко | луйте их обоих.

А главное вот что. Двадцать пять лет живет и | жается эта цельная, на части не делимая повесть, вся | тывающая, вся из о д н о г о звука, временами стра | горькая, временами до божественности проясненная, не | лая, и эта повесть моя жизнь, и моя тайная, глухая бор | бедная моя Зиночка и Леня жертвою моей судьбы и все | его склада, и ближайшие доли этой повести, и Вы, и бл | шие Вам Е. А. и Г. Н.¹ И все это оказалось вместе, | опять под чудным Вашим небом, соединенное цельности | шего тепла и красот, точно цельность вдруг все охвати | объединяющего душевного порыва. Какая редкая и дра | ная правда! Как удивительно, что этому еще раз суждено | повториться.

Ниночка, я только хотел поблагодарить Вас и жале | разболтался, не так надо было обо всем этом написать, — | это, туманно и слабо.

А все-таки все в общем это счастье, каким бывае | тоящее счастье — серьезное, глубокое, бездонное и гру | именно вследствие своей безграничности и величины, | ленное и обливающееся слезами, счастье.

Крепко целую Вас...

Ваш Б.

¹ Е. А. и Г. Н. Леонидзе

*Оливер Уордроп***Зеркало жизни**

Настоящий труд представляет собой попытку точно и слово в слово перевести книгу, которая считается зеркалом жизни одной высоко образованной и имеющей блестящее прошлое нации. Это зеркало местами потрескалось и повреждено под влиянием превратностей времени и судьбы, но бережный труд ученых в состоянии вновь восстановить его поврежденные места и вернуть прежний блеск. Даже в том виде, в каком представлено здесь это произведение, оно может привлечь всеобщее внимание¹.

Достойна рассмотрения сама история злосключений поэмы. Эта книга занимает совершенно особое место благодаря тому, что на протяжении семи веков она была настольной книгой, которую читал весь народ. Да последних времен молодежь заучивала ее наизусть. От каждой девушки, выходящей замуж, требовалось, чтобы она знала на память каждое слово этой книги, и при замужестве рукопись ее включалась в приданое. Такое преклонение перед книгой является доказательством того, что история героя «Витязя в тигровой шкуре» соответствует грузинскому жизненному мировоззрению. Она свидетельствует об истинности той мысли, что достоинства книги, подтвержденные семисотлетним существованием, которое было полно, главным образом, горя и мук, должны быть очевидными и для иных народов.

Такая книга должна быть признана кладом для всего человечества, особенно для таких наций, которые, подобно грузинам,

¹В английском переводе буквально: «Человек в шкуре барса».

испытали на себе воздействие греческих и христианских идей. В данном случае мы имеем дело не с чуждой психологией духовной жизнью такого народа, который, правда, находясь под влиянием духовного движения Ближней Азии, но в течение на протяжении тысячелетней борьбы со всей очевидностью доказал, что естественные его устремления были направлены к Западной Европе, к которой он так преданно обращал взоры.

Иверия Восточная и Иверия Западная² – обе они пережили волну арабского владычества и обе обильно были сдобрены митической кровью. Несмотря на то, что никто не знает определенно, имелось ли между народностями двух этих стран либо древнее этническое родство, это обстоятельство тем не менее оставило немалое количество общих характерных особенностей, объединяющих оба народа; тылы Испании укреплял христианский мир, Грузия же стояла в уединении и, оставленная наедине с врагом, перенесла мученическое и величественное сопротивление в защиту креста. Но в дальнейшем борьба стала бессмысленной, и она столетие тому назад избрала своей защитницей и защитницей Российскую империю.

В силу политических и географических особенностей Иверия превратилась в один из тех краев, которые лучше всего показали сближение западной и восточной мысли, что было характерно для эпохи крестовых походов. Мы не должны забывать и того, что если в последнее время Турция и Персия демонстрировали достаточную жизнеспособность и старались тем путем проведения реформ продлить свое существование, то Иверия и другая должны быть благодарны за этот приток иверийской крови.

Можно было ожидать, что тот народ, который всю свою жизнь посвятил борьбе в защиту христианства и превратился в своеобразный мост, проложенный между Азией и Европой, в своем главном художественном произведении непременно высказал бы бескомпромиссную христианскую проповедь.

мышление Шота больше характеризуется стремлением к свободе и независимости, чем фанатизмом. Именно поэтому в разные времена, вплоть до начала восемнадцатого столетия, православное духовное сословие преследовало и уничтожало рукописи поэмы, и она смогла в первый раз напечататься лишь в 1712 году, да и то потому, что ее венценосный издатель снабдил поэму религиозно-мистическими пояснениями³.

В поэме упоминаются Магомет (1010)⁴ и Мекка (1144), трижды говорится о Коране (339, 514 и 1144); официальные представители исламизма помянуты даже, можно сказать, несколько иронически (339).

Христианство, как церковная система, встречается в поэме по существу только лишь в попутных упоминаниях — день пасхи, 536; икона, 247; рака, 1345; сияние, нимб, 226, 229, 1110, 1410; встречаются некоторые цитаты из «Сотворения»: «грусть от горя», 99; «олень и родник», 835; «звенящие бубенцы», 772; восхваление «обилия щедроты», 1520; «явление», 110, 656, 701, 1431; «сокрытый клад», 882; «довлеет», «да не отвергнет никто», 18; «в море впадает и течет», 49. Кое-где мы встречаемся с именами библейских персонажей: Адам, Вельзевул, Эзра, Голиаф, Леви и Сатана; с географическими названиями: Эдем, Евфрат, Джеон, Бисон и Габаон. В одном месте автор как будто даже упоминает о доктрине второго рождения (регенерации) — 184, а в другом — пишет об аде — 785.

По всей вероятности, Руставели, создавая свою поэму, не ставил себе целью возвеличение одного какого-либо вероисповедания за счет унижения другого, он не дает предпочтение ни одному из них, а на все смотрит критическим взором, и самолично вырабатывает собственную философию, собственное мировоззрение. Несмотря на то, что и в первой, и во втором явственно проглядывает след заметного воздействия арабского и персидского мировоззрения, в обоих настолько обильно вплетены идеи христианства и неоплатонизма, что это определенно сближает их с западным мироощущением. «Грузины в десятом и

одиннадцатом столетиях находились в поисках ответов на вопросы философской сферы, которые интересовали в ту самых передовых мыслителей христианских государств Востоке, так и на Западе. В данном случае они отличался от других, а именно от европейцев, тем, что в ту пору гораздо раньше других откликнулись на новое направление философского мышления и вооружились наиболее показательным для своего времени критицизмом, который имел своим предметом рассмотрение писаний греков в самих оригиналах»⁵.

Вся поэма выражает безграничное восхищение женой: созиданием: бог... не породит зла (1468, 1485); добром женой зло (1337); если мир найдет спасенье, утрудит ли кто (687); кто бы и что ни говорил, мир прекрасен, приятен созерцания, каким бы пустынным и неухоженным ни казался порой; глядя на него, некоторым хочется петь, и они поют, что чувствуют себя счастливыми, а иные стараются настолько счастливыми, чтобы и им захотелось петь (946) увенчана цветами, чтобы мы насладились ее созерцанием; есть вино для того, чтобы его пить, прекрасная одежда украшения для того, чтобы их носить, звери для того, чтобы на них охотиться, игры и развлечения для того, чтобы ими заниматься, враги для того, чтобы их повергать, и друзья для того, чтобы с ними дружить.

Немало на земле и трудностей, но их надо побеждать: закон людей отважных – вечный бой, преодоление (776) старание и терпение бог победой увенчает (883); какое бы выпало на долю человека, он не должен падать духом, и один мудрец до смерти жизни не лишит себя», самоубийство дьявольское наущение (728, 786, 815, 854, 1169); пред недостойно преклоняться гордым станом; хоть нелаский подлунный, щедр и благостен господь (911, 1338); кто не нами испытан, победит в конце концов (1365); твердость в испытании человеческой отваги (945); жизнь похожа на сновиденье (1572), она преходяща и ненадежна (1575)

мирские – лишь сказка и миф (697); знания нужны нам для того, чтобы преодолеть призрачность и тщету жизни и достичь желанного царства, соединиться с хороводом небесных светил (1771); любовь возвышает (772); брат да будет братом брату (914); другу и ближнему надо быть верным навек, ибо соединяет с ними связь более крепкая, чем связь родства и крови; для союзника и друга жизнь свою отдать не жаль (296).

Вся поэма от начала до конца пронизана восхвалением и возвеличением дружбы, и перед глазами читателя разворачивается история о том, как трое друзей, равных небесным светилам, бескорыстно и беззаветно служат друг другу (6); даже возвышенная любовь должна уступить в сердце человека дорогу этому высочайшему долгу дружбы; даже сами обрученные, только что обвенчанные молодожены должны пожертвовать всем ради этого чувства (292, 685, 688, 1541); человек для друга должен стать мостом, тропой, дорогой (685), по которым этот друг сможет пройти смело и безбоязненно. В том, что подобное понимание дружбы разделялось и женщинами, можно убедиться на примере Тариела и Аснат. И лучшим доказательством высокой культуры народа является то, что такой союз сохранился вплоть до наших дней. Мы не можем припомнить какой-либо иной край, где была бы возможна такая чистая дружба, где бы мужчину и женщину могло связать друг с другом нечто такое, что делало бы невозможным даже самую мысль о супружеских отношениях между ними. Влиянию таких обычаев можем мы приписать с одной стороны высочайшую цивилизованность народа. Так же общепризнанна истина, что уважение к женщине безошибочный признак древнейшей культуры. Руставели певец всего народа; и поскольку изысканность нравов создается не одним каким-либо кругом, слоем народа, эти нравы и обычаи составляют не привилегию того или иного класса, а создание и клад всего народа. То место (234, 235), где Тариел на мгновение забывает о своем рыцарстве, жжет стыдом каждого грузина, и даже в наше время, время относительного вырождения нравов, невозможно представить,

чтобы грузинский мужчина недостойно вел себя перед ною. Женщина равна мужчине; львята – те же львы, нез от пола (39); женщины – героини поэмы – это цариц ченные всей полнотой власти; они сами, по своей воле вопрос о своем замужестве, независимо управляют свои дарствами. Фатман, жена старейшины торговцев, самост получает пошлину с купцов, когда муж ее отсутствует, о водительство собираем жен купеческого цеха.

Таким образом, дружба – наиглавнейший предме без нее сама жизнь теряет смысл и назначение. А выс воплощением ее является благороднейшее чувство возе любви (12), о которой говорится уже во вступительных поэмы. Любовь – это взлет, возвышение (27, 29), и исп суждено лишь душе человека благородного, мудрого, доблестного и мужественного (9). Это чувство не подчин конам, продиктованным рассудком, оно предшествует ству, превращает возлюбленного в божественную икон готовляет его к тому творческому акту, благодаря которо вечество обновляется во веки веков. Любовь – чувство (9), чистое и непорочное (10), оно должно быть ск окружающих (12) и не требует ответной любви. Влю покорно и терпеливо должен переносить немилость се любимой (10), предмет любви должен быть неизме верность должна храниться до конца; когда возлюблен чает взаимностью миджнуру, даже смерть сладостна. страшна смерть, ибо в ином мире он достигнет ис желаний (128, 1282). Вот в такой буре чувств и страс ходится плыть непоколебимому и несравненному Тар добному тигру, в шкуру которого он облачен. Шота F поддерживает ту мысль, что миджнур ни с кем не до литься «сердечными делами», чувства его не должны б чены никем, ему надлежит «играть игру», то есть ловко но взращивать в душе зародившееся чувство, не проявл внешне, сохраняя видимость равнодушия. В этом от

мысль грузинского поэта близка и сердцам английских читателей, его мысль полностью соответствует мысли англичанина, хотя в суждениях Руставели и есть два пункта, с которыми тот же английский читатель может и не согласиться, не разделить его положений. Таковыми являются: преувеличенность в описании Руставели чувства тоски, вызванной разлукой с близким человеком, и часто употребляемые сравнения человеческой красоты с небесными светилами (астральные метафоры).

Впрочем следует сказать и то, что подобная чрезмерность в описаниях душевных переживаний осуждена им же самим (855, 911); выражение преувеличенных описаний душевных переживаний встречается и в нашей литературе⁶ даже вплоть до самого конца восемнадцатого столетия; а аналогии строфам 806 и 1423 вообще встречаются в западной литературе не так уж редко; мы не должны забывать, что расставание с любимой воспринимается как последнее мгновение, после которого миджнур, возможно, или даже — скорее всего, и не сможет больше увидиться со своей возлюбленной, и поэтому подобная разлука в какой-то мере даже напоминает смерть (994), облачается в его глазах в одежды смерти. Любовь героев поэмы, как мужчин, так и женщин, описана с блистательным небесным сиянием, прекрасная непорочность прекрасного существа и духовный блеск во время столкновения с темными силами в большинстве случаев оказываются светоносными, больше чем небесные светила, которые в древности становились объектами обожествления и поклонения со стороны человека. Помимо этого, в поэме повествуется о трех малоприятных случаях: убийстве Чашнагира Автандилом, его любовной связи с Фатман и убийстве Хваразмша Тариелом. Нам не приходит в голову счесть упомянутые поступки героев поэмы высоконравственными, предпочтительнее думать, что подобные действия были для самого Руставели столь же озорными, как и для нас. Эти действия понадобились исключительно для завязывания узла интриги, и все три поступка были совершены ради женщины, под прямым влиянием самих же этих

женщин. Что же касается гнева Тариела и разгрома, учиним слугам Ростевана и хатайцам⁷, то мы придерживаемся мнения, что Тариела в данном случае оправдывает его поведение. Аналогичны действия Гамлета, которого смерть потеря трона и измена возлюбленной лишили способность рассуждать, отняли разум и даже сделали человекоубийцей: стоило пройти этому кратковременному умопомрачению, вновь возвратилось естественное спокойствие, и опять у себя юношеская душевная раскованность.

Все, что было сказано, представляется нам достаточным, чтобы показать читателю основную мысль и идею поэмы. В приложении читатель сможет найти разъяснение наиболее трудных мест, толкование как конкретных, так и абстрактных понятий⁸.

Сейчас же мы считаем необходимым сказать несколько слов о самом поэте, хотя должны сознаться, что относительно сохранилось меньше исторических свидетельств, чем о Шекспире. Жизнь Руставели, по всей вероятности, относится к отрезку времени, ограниченному 1172 и 1216 годами. Елисавета Шота — возможно, имеет связь с именем древнего армянского идола, хотя это имя весьма редко встречается в хрониках XV-XVI веков⁹. Слово Руставели обозначает жителя Рустави. Рустави было церковным кафедралом, другое же Рустави — там, где родился Шота, который сам о себе пишет: я — месхец, Рустави¹⁰; таким образом, поэт родился в Рустави, в Ахалсуфском уезде; таким образом, он принадлежит к племени месхецов (Бытие, X, 2; Псалмы, глава 106, раздел 5; Иезекиил, XXXII, 26); согласно устным преданиям, Шота осиротел в юности, его взял на воспитание дядя, который был послан в монастырь. Первоначальное образование он получил в монастырском духовном училище, а также в монастырях Тибета, Икалто; потом для усовершенствования в знаниях, согласно обычаям того времени, его посылают в Афины, Олимпию и Саламис. По возвращении оттуда он пишет восхваление племени

ной к лику святых царицы Тамар (1184 – 1212), в период царствования которой полностью расправила крылья политическая мощь Грузии и литература получила наивысшее развитие. За это Шота назначается мечурчлетухуцеси при блестящем дворе великой и добродетельной царицы. Рассказывают, что вместо жалованья ему было даровано в наследственное владение его родное село.

В архиве Тбилисской синодальной конторы хранится один документ 1190 года, подписанный Шота в качестве мечурчлетухуцеси¹¹: в это время Шота должен был быть еще совсем молодым, если он действительно рожден в 1172 году. Устное же предание повествует нам и о том, что Шота был безнадежно влюблен в царицу Тамар и поэтому постригся в монахи в Крестном монастыре (в Иерусалиме). В этом монастыре на одной из колонн над нарисованной картиной сохранилась такая надпись: «Прости, господи, Шота, расписавшему это. Аминь. Руставели»¹². Удивительно, что слово Руставели приписано после слова «Аминь»; во всяком случае, существует портрет, который может быть признан читателем соответствующим той личности поэта, какая была выражена в поэме. О Шота бытует множество легенд, согласно этим легендам, Шота любил царицу Тамар, а в жены взял некую недостойную женщину.

За древнейшую рукопись «Витязя в тигровой шкуре» должна быть признана написанная на коже, не датированная рукопись, которая, как свидетельствует Платон Иоселиани, была собственностью кн. Григола Церетели; вторая рукопись была переписана на бумаге, как рассказывают, в 1443 году; третья рукопись снабжена датой – 1678 год. Эти рукописи находились в руках царя Вахтанга VI, когда он в 1712 году впервые напечатал «Витязя в тигровой шкуре». Но, видимо, все три рукописи оказались утерянными, и, насколько мы знаем, не существует рукописи более ранней, чем XVII век, и ни одна рукопись не имеет даты до 1646 года. Весьма желательно, чтобы на очистку текста было обращено больше внимания¹³.

Поэма написана четырехстрочными строфами, каждая

строка шестнадцатисложная, согласно интонации, каждая делится надвое. В поэме упоминается о пении Давида по (1574), что, возможно, привнесено евреями во времена вавилонского пленения. Но в горных местностях Грузии человек может сегодня услышать рассказ об истории Тариела, повед вольнщиком-мествире.

Здесь мы приведем (по-грузински) одну строфу, которая, возможно, даст читателю почувствовать достоинства стиха: самым изобильным грузинский язык от упрека, высказанного другими писателями, которые не имеют никакого представления об этом языке.

მზე უშენოდ ვერ იქმნების,
 რადგან შენ ხარ მისი წილი,
 განალამცა მას იახელ
 მისი ეტლი, არ თუ წბილი,
 მუნა განხო, მანდვე გასხო,
 განმინათლო გული ჩრდილი,
 თუ სიცოცხლე მწარე მქონდა,
 სიკვდილიმცა მქონდა ტკბილი.

Европейцам, которым довелось слышать грузинский язык, представляется, будто этот язык является оглушительным лением глухих и гортанных звуков, среди которых весьма попадается гласный. Правда, сочетание согласных звуков столь неблагозвучно для слуха и непривычно для глаз странца, встречается в грузинском довольно часто, и имеет и составляет силу этого языка. Некий турецкий поэт обратился к грузинской даме следующим образом: «Ты, чья речь напо львиный рык!» Таким образом, это скопление безгласных лишь фонетический лик грузинского языка, который оказывается в любовных или колыбельных стихах столь же сладкозвучным и ласкающим слух, как и итальянский язык («сладостная и красивая речь», 692), а в философских и риторических произведениях — он прям и благозвучен, как кастильское наречие испанского языка.

языка.

Грузинский язык был в высшей степени развитым литературным языком уже в самом начале христианской эры, и исследователи клинописных надписей придерживаются того мнения, что письменность на этом языке существовала в самые древние эпохи. Этот язык обладает таким обилием слов и такой мощностью их склонения и сочетания, что оказался возможным перевод на него греческих метафизических произведений не только слово в слово, но порою даже слог в слог. В Родосе, Петрицонском монастыре, сегодня носящем наименование Бачкова (в Болгарии), который был основан или восстановлен грузинами в 1083 году и на котором сохранились следы их пребывания по настоящее время, существовала философская семинария, в которой были переведены на грузинский неоплатонические и многие иные сочинения. Один из грузинских монахов — Иоанн Петрици в конце одиннадцатого или в самом начале двенадцатого столетия писал так:

«Во время перевода теоретических или философских сочинений я считаю необходимым стараться, чтобы их мысль была передана наивозможно просто и понятно и в то же время были досконально соблюдены особенности языка (родного языка)».

Разбирая эту выписку, профессор Марр писал:
 «Иоанн Петрици перевел не только мысли, но и слова, даже те слова, которые не существовали в грузинском языке: переводчик не успокаивался до тех пор даже в отношении терминов, пока эти термины не увенчивали оригинал этимологически... Благодаря его стараниям мы сегодня обладаем в грузинском языке готовой философской терминологией, мы имеем переданные при помощи грузинских слов весьма точно все те термины, которые в европейских языках заимствованы из латинского или греческого языков»¹⁴.

Вот именно таким языком и владеет Руставели, да к тому же еще и с таким мастерством, что иностранным ученым сначала даже и режет глаза его сложность, но скоро и они проникают в

самую суть произведения.

Иногда каждая строка имеет одинаковые окончания, читателю кажется, что это одно и то же слово, но надо о глубоким знанием языка и вдумчивостью, чтобы понять, именно значении употребляется оно в каждом слове. У ч может создаться впечатление, что основная задача поэмы скорее в услаждении слуха, чем в передаче какого-либо вования; будто она написана для того, чтобы развлечь ч и привести его в доброе расположение духа, а не поведи: нибудь серьезное его рассудку; только приложив немалы вы сможете воспроизвести перед своим умственным взогическое единство рассказанной истории.

Большая полемика развернулась вокруг той драмат истории, которая составляет основу поэмы, много чер было осушено хотя бы по поводу таких мест, как «Пер повесть персов, перепета по-грузински» (16) или «Маст своим, Руствели, я свершу дела благие» (15). Мы должны что до нынешнего дня не удалось обнаружить на персидс ке даже следа чего-либо подобного, а если даже и обна что-нибудь в этом роде, от этого ничего не убавится от имени нашего автора, так же как Шекспир ничего не по того, что существовали истории, рассказанные Луиджи д: Возможно, Руставели и воспользовался каким-либо су вавшим сюжетом. Это обстоятельство, во всяком случае, признать единственным и наиболее простым путем обт того, какого происхождения рассказ о любовной связи Автандилом и Фатман, к которому Руставели обращает котором отношении неохотно, в то время, когда его заде тить самым ярким светом личность Тариела, того само ела, который как несравненный миджнур сопоставлен с побратимом, человеком величайшей отваги и рассудите И поэт не стал бы даже сочинять этот эпизод и включе свою поэму, если бы он не был необходим для развязк сюжетного узла.

Правда, почти все действующие лица названы персидскими именами – возможно, что грузинского происхождения лишь имена Тариел, Тинатин, Давар и Автандил (последнее представляется сомнительным) – верно и то, что в поэме употреблено немалое количество персидских слов, но причина этого должна заключаться, с одной стороны, в самом замысле Руставели, чтобы в его поэме речь шла не о современной ему жизни, а о чужой стране и чужом народе, с другой же стороны, в те времена писать подобным образом было модой, и сама эта мода являлась следствием той литературной традиции, которая существовала между двумя этими соседними и высококультурными народами.

В данном случае, может быть, имеет основание и теория профессора Ал. Хаханашвили. В частности, варианты истории Тариела и Автандила сохранились в народе в качестве фольклорных стихотворений, особенно в горах, и в период до царствования Тamar эти стихи составляли часть устного народного творчества; сам же исторический факт восшествия на престол великой царицы еще при жизни отца – стал вступлением к «Витязю в тигровой шкуре».

Можно считать заслуживающим внимания еще одно обстоятельство: в арабской литературе нередко встречаются исполненные эпиграмматическим стилем восхваления и славословия. Эти слова употребляются и в «Витязе в тигровой шкуре» паразитично часто. Слово «восхваление» встречается в нескольких десятках строф, так же, как и имеющее примерно то же значение персидское слово «хотба» (3, 1009, 1095), употребляемое в сходном смысле; говорится также о профессиональном эвлогисте, одописце (1527); в заключении в одном месте говорится, что поэма составлена из славословий (1574). Дело ученых исследовать и изучить этот вопрос, возможно, все эти многочисленные восхваления окажутся более древнего происхождения, чем сама поэма, и, может быть, они даже обнаружат причину того, почему именно избрал Шота для своей поэмы стихотворную форму (называемую шаири)...

Переводчик этой поэмы на английский язык попытка познакомить читателя с идеей автора и его языком, испробованным для выражения этой идеи, постарался достичь точности, с какой грузинский читатель может воспринять одну, так и второй в оригинале. Перевод был начат в Кембридже (Англия) в 1891 году, и первый вариант его был завершён переводчицей в Керчи в конце 1891 года. После этого она неоднократно обращалась к исправлениям и дополнениям оригинала, не прекращая работы вплоть до декабря 1909 года. Был проделан огромный труд, но переводчица все же не была удовлетворена. Она не считала перевод безгрешным и совершенным. По ее мнению, для того, чтобы перевод приобрел окончательный вид, надо было бы еще десяток лет. Как бы то ни было, этот перевод будет способствовать изучению грузинского языка в Европе, постольку его следует признать ступенькой той лестницы, которая облегчит другим путь в этом труднейшем деле. Как мы слышали, должно существовать несколько дословных переводов поэмы на русский язык (в том числе принадлежащий к полторацкому) и один – на французский (И. Меунаргия), но переводчица поэмы никак не смогла сравниться ни с одним, ни с другим переводом. После ее кончины кто-то попытался напечатать в Тифлисе русский перевод, но этот перевод не получил одобрения общественности. К сожалению, переводчик был вынужден приостановить печатание перевода¹⁵. Метрический перевод с парафразой на немецкий язык господина Артура Лейста, который был опубликован в Дрездене и Лейпциге, хорошо передает содержание поэмы, и для читателя было бы небесполезно ознакомиться с ним.

Как мы знаем, оригинал поэмы искажен, в нем добавлены места. Вместе с тем, не существует критических изданий и подобных им руководств – лексикографических, грамматических, филологических, исторических, которым могут воспользоваться читатели других литератур. По этой причине сделалось возможным достоверное объяснение и комментирование

мест поэмы, и поэтому подобные места были переведены слово в слово. Здесь мы считаем своей приятной обязанностью упомянуть тех лиц, кто, не жалея сил, оказал нам содействие при подготовке этой книги для напечатания. Свою долю в этой помощи имеют столь многие, что нам кажется невозможным перечислить всех по именам. Но мы не имеем права не обратиться с особой благодарностью к г-ну Михаилу Церетели, который взял на себя такой труд и перечитал всю рукопись, также к профессору Петербургского университета г-ну Нико Марру, который снабдил нас многими источниками и к тому же дал нам разрешение перевести на английский язык и опубликовать в виде приложения его написанное по-русски исследование относительно неясных строк вступления и заключения поэмы¹⁶. Мы надеемся, что наши помощники и друзья сочтут наградой за свой труд то обстоятельство, что они оказали содействие тому человеку, который так безгранично любил Руставели и Грузию¹⁷.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Речь идет о переводе «Вепхисткаосани», выполненном Марджори Уордроп, сестрой Оливера Уордропа.
2. Под западной Иберией подразумевается область на Пиренейском полуострове, которая ныне известна под именем «Страны басков».
3. Имеются в виду комментарии Вахтанга VI, где дружба в «Вепхисткаосани» понимается как божественная любовь.
4. Строфы указаны по английскому переводу 1912 года, который фактически совпал с изданием Картвелишвили.
5. Н. Я. Марр. «Иоанн Петрицкий», Петербург, 1909 г., стр. 61.

6. Подразумевается английская поэзия.
7. Подразумевается эпизод встречи Тариела с бра охотниками.
8. Автор статьи имеет в виду комментарии к и: английского перевода 1912 года.
9. Проведение связи между именем Шота и арм культом идет от сведений, взятых у Теймураза Батонишви его «Разъяснения к поэме «Вепхисткаосани» (под ред. Г. швили), 1960 г., стр. 5.
10. В данном случае подразумевается такое прочтени строфы: «Месх безвестный, стихотворец, из поселка Руста
11. Не ясно, какой именно документ имеет в виду статьи. Если здесь подразумевается известное «Написани бера, тогда неточно указана дата (1190 г.), к тому же в э документе Шота не называется «мечурчлетухуцеси».
12. Надпись в Крестном монастыре приводится н что вызвано источниками, которыми пользовался автор. Согласно новым документам, надпись читается так: «И вавшему это Шота да простит господь. Аминь. – Руставел материалы о путешествии в Иерусалим академиком И. Аб: А. Шанидзе и Г. Цертели).
13. Из упомянутых Платоном Иоселиани трех ру первые две и в настоящее время считаются утерянными, же была привезена в Грузию в 1934 году. Это весьма чательный список поэмы, который известен в научной лит под названием «Списка Зазы» (об истории этой рукописи Леонидзе, «Очерки из истории грузинской литературы», стр. 304-323).
14. См. указанный выше труд Н.Марра, стр. 35.
15. Как видно, имеется в виду перевод некоторых от «Витязя в тигровой шкуре», принадлежащих Ш. Давидс газету «Закавказье», 1910, № 282, 288.
16. Подразумевается труд Н. Марра «Вступител заключительные строфы «Витязя в барсовой коже», Ш

Рустава», тексты и разыскания, 1910 г., книга XII.

17. В статье Оливера Уордропа дальше рассказывается биография Марджори Уордроп (подробнее см. монографию Л. Тактакишвили «Марджори Уордроп»).

Перевод с английского

1966, № 9-10

Иосиф Гришашвили

Когда пишу стихи

Когда ко мне приходит вдохновенье,
Я — мост между землей и небесами.
Всему, что сердцу дорого в творенье,
Я господин, когда дышу стихами.

Пусть только сердце, милая, захочет,
Я берег подарю тебе высокий,
Где море светозарное бормочет,
Прибой кудрявый, сонный, синеокий.

Я все могу, я сам творец могучий,
Во мне любви и красоты начала,
Я свет зажгу, чтоб сумрачная туча
Твое чело вовек не омрачала.

И пусть опять вначале будет слово,
Чтобы оно природу изменило
И силой дня торжествовало снова,
Остановив закатное светило...

Преображенный силой вдохновенья.
Я — мост между землей и небесами,
Всему, что сердцу дорого в творенье,
Я господин, когда дышу стихами.

Перевод Анны Ахматовой

1967, № 5

1962-1968

Михаил Квливидзе

Памяти Саят-Нова

Темница тесною была и узкой
И называлась телом человека.
Там бедная душа изнемогала.
Несчастная! Ей было суждено
Погибнуть в одиночном заключенье.
Но, к радости ее, в тюремной мгле
Глаза светлели, словно окна...
И пленница глядела иногда
На облако, на тополя верхушку,
На ласточку, летящую стрелой...
В том было счастье пленницы печальной,
О чем она и пела по ночам.

Перевод Анны Ахматовой

1967, № 5

Тициан Табидзе

Бальмонт и Грузия

Большой поэт и истинный ценитель прекрасного Иннокентий Анненский говорил, что в Бальмонте есть все, что мы можем пожелать увидеть, — русский темперамент и Бодлер, китайское богословие и фламандский пейзаж в освещении Роденбаха, Рибейра и Ааурамазда, и все это целиком живет в нем, если только он в это влюблен в данную минуту. Сам же Бальмонт называл такую способность радостью постижения многообразия, талантом космического причастия души.

Умение преобразиться, перевоплотиться в другой народ, слиться с душой незнакомого племени и озвучить эту душу — то, в чем видели русские одно из драгоценнейших свойств пушкинского гения, — находит в Бальмонте свое завершение. Метапсихозы Бальмонта столь многообразны, что способны убедить нас в силе волшебства и колдовства. И вот Бальмонт в последние годы остановил взгляд своей солнечной любви на Грузии.

Первые песни о Грузии, как известно, спели Пушкин и Лермонтов, и с тех пор лишь одному Бальмонту удалось подойти достаточно близко к сердцу нашей родины и обрести тот интим, который заранее предопределяет безоговорочную и полную искренность сближения. И в этом отношении, как и во многом другом, русские поэты послелермонтовской поры были по сути лишь предтечами Бальмонта. В «Подражании Корану» Пушкин воистину постиг Восток, но в дальнейшем, да и по сей день, никому уже это не удавалось. В лучшем случае ориентализм поэтов исчерпывался экзотикой, и лишь яркость красок должна была искупить художественную поверхностность их творений.

Бальмонт и здесь стоит особняком. Его душа сказочным

юнтом осенила Восток, он почувствовал солнце, наслаждался им и как никто из своих собратьев сохранил его жар на своем Севере. Но дело не только в чувстве. Бальмонт обогатил свой гений глубоким изучением лучших азийских творений. Его путь к народу проходил всегда через душу поэта. Так в Индию его ввел Калидаса и в Грузию – Руставели... Этот путь безошибочен для любого поэта...

Говорят, что переводить гения равносильно богоборчеству Иова, который, как известно, остался с переломанными ребрами. Бальмонт смело вступил в такое единоборство – с Эдгаром По и Целли, Калидасой и Кальдероном и вот, наконец, с Руставели, но он всегда оставался цел и невредим – должно быть, потому, что и сам вылеплен из божественной глины.

Бальмонт прекрасно сознавал всю трудность и сложность своей «встречи» с Руставели. Руставели не уместился в нормы своей им до сих пор эстетики. Но то, что успел сделать Бальмонт, – похоже на чудо. В руставелевской поэме, разумеется, много такого, что недоступно любому переводу, более того, не все ее тайны открыты до конца и нам, грузинам. Но Бальмонт в поисках художественной компенсации обратился к своему магическому чувству слова, а магия слов всегда была для него такой «кровищицей», из которой он мог безнаказанно черпать самой полной мерой. В этом нетрудно убедиться, ознакомившись с переводом Руставели. Достаточно сказать, что в нем вдвое больше ритма, чем в подлиннике, а для Бальмонта ведь не существует нелепых рифм!

Работа над «Витязем в барсовой шкуре» почти полностью уходила на моих глазах, и для меня навсегда останутся драгоценным воспоминанием слова, которые были рождены в Бальмонте мыслями об этой поэме. Когда книга будет полностью опубликована (а перевод уже завершен), я попытаюсь выразить этот бесценный вклад Бальмонта, ибо после Бальмонта самоучение поэтики Руставели должно быть перенесено на новый уровень, в новые пределы. Работа Бальмонта, безусловно, озна-

чила и составила целую эпоху. Встреча с Руставели не оста-
бесследной и для оригинального творчества русского поэта —
об этом тогда, когда я выскажу задуманное о самом Бальмо-
Сегодня же мы можем сказать, что в старой России Бальмо-
один из тех, кто заслужил великую благодарность Грузии,
его благородный труд исправил многое в цепи историче-
несправедливостей, и Бальмонт был первым, возгласившим
тойное Грузии заклинание:

Высокому высокое вниманье!

И ныне, впервые получив возможность открыто и во-
голос высказать слово правды, вряд ли и мы найдем более вер-
слово: «Высокому высокое вниманье!»

Бальмонт их заслужил, а мы счастливы быть его дол-
ками....

1917 год (газета «Сакартвело» № 129).

Перевод Георгия Маргвелашвили

«Но пусть безумье будет обоюдно...»

Это строка из посвященного родине Руставели стихо-
рения Константина Дмитриевича Бальмонта, столетие со-
рождения которого исполняется в июне этого года. В Гр
память о нем дорога еще и потому, что именно благодаря
творческому подвигу бессмертная поэма Руставели стал
только достоянием, но и фактом русской поэзии.

Бальмонт пришел к решению переводить «Витязя в ти-
вой шкуре» не сразу и не случайно. Природе его дарования
мироощущению было глубоко созвучно творение Руставели
тянуло в Грузию, он любил эту страну и ее народ, что види-
приводимых ниже выдержек из писем поэта. Он называл Гр
«страной волшебного песнопения», признавался, что после

нии и наряду с ней она – «золотая страница его сердца». Он ощущал в себе силу для реализации грандиозного замысла перевода «Витязя» на русский язык. В свою очередь, этот труд обогатил его духовно и творчески, что также нашло отражение во многих его письмах.

Любовь эта была обоюдной. Грузинский народ отвечал Бальмонту восторженным признанием, навсегда сохранив благодарность к нему, как к человеку и поэту, с такой самоотверженностью, искренностью и волшебным мастерством отдавшему свои чувства и талант в дар Грузии.

Значительно позже, когда новизна содеянного им перестала быть столь острой и сам поэт уже не был в зените славы – жил на чужбине, одолеваемый нуждой, болезнью, старостью и одиночеством, грузины вспомнили о нем и постарались поддержать его не только морально, но и материально. Дочь поэта – Нина Константиновна Бруни-Бальмонт любезно предоставила нам фотокопию неизвестного пока письма грузин, работавших на заводах Сошо и Одинкура во Франции, которые просили редактора газеты «Последние новости» Александра Григорьевича Савченко (который, кстати, и прислал из Парижа это письмо Нине Константиновне) передать больному поэту слова благодарности и приветия. Но наиболее полную и тонкую характеристику Бальмонта как поэта и человека, точную оценку того, что он сделал для Грузии и что значит для нее, дал Тициан Табидзе в своей небольшой, но очень яркой и теплой статье «Бальмонт и Грузия».

Лия Андгуладзе

1967, № 6

Литературная

СРЧЗЖЯ



10

1973

1969 – 1977



Цицишвили Георгий Шалвович (1922-2005) – ученый, писатель и общественный деятель. Окончил Тбилисский государственный университет, Грузинский политехнический институт и Бакинское артиллерийское училище, аспирантуру Института истории грузинской литературы имени Ш. Руставели, с которым связана большая часть его жизни: с 1953 г. он

попеременно являлся ученым секретарем, заведующим отдела, заместителем директора, а затем – директором института. В 1976 году Г.Цицишвили был избран членом-корреспондентом, а в 1988 году – действительным членом АН Грузии. В 1988-2002 гг. он занимал должность академика-секретаря отдела языка и литературы АН Грузии. Ему было присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки.

С 1969 по 1977 год Г.Цицишвили – главный редактор «Литературной Грузии»; редактировал он также журнал «Мацне» («Вестник») АН Грузии.

Г.Цицишвили являлся автором около двухсот научных работ, нескольких десятков монографий, а также прозаических произведений. Его роман «Преодолей жадность свою», как и новеллы цикла «Любовь в пору кровавых дождей», основанные на фронтовом опыте война, прошедшего путь от лейтенанта до полковника, переведены на многие иностранные языки.

С 1974 года Г.Цицишвили – секретарь Правления, а с 1986 года по 1990 год – председатель Союза писателей Грузии. Он же основал и был первым председателем Государственного Департамента по делам ветеранов.

*Николай Тихонов***Сосны Пицунды**

Пицундские сосны, я видел вас
Во всей первозданной красе,
Когда вы стояли в полдневный час
На пустой песчаной косе.
И черный буйвол – древний убых,
Из моря, прям и высок,
Словно Юпитер, из пен голубых
Выходил на белый песок.
И солнце он нес на рогах, и мне
Казался мира отцом,
А белые лилии в тишине
Вокруг стояли кольцом.
И тишина звенела в ушах,
Казалось, место нашли,
Чтоб здесь человечья встречалась душа
С бессмертной душой земли.
А дни, как волны, теряют след,
За вестью уносят весть,
Не счесть вам реликтовых ваших лет,
И мне своих лет не счесть.
Что ж, сосны Пицунды, в далекий час
Шумела и наша весна,
И буйвол и лилии были у нас,
Была и своя тишина.
В стране же, что старостью мы зовем,
Живет со мной моря кусок,
Те дни, куда мы в сновиденьях идем,
То солнце, те сосны, песок...

1971, № 7

Арсений Тарковский

Дождь в Тбилиси

Мне твой город нерусский
Все еще незнаком —
Клен под мелким дождем,
Переулочек твой узкий,

Под холодным дождем
Слишком яркие фары,
Бесприютные пары
В переулочке твоём,

По крутым тротуарам
Бесконечный подъем.
Затерялся твой дом
В этом городе старом.

Бесконечный подъем,
Бесконечные спуски,
Разговор не по-русски
У меня за плечом.

Сеет дождь из тумана,
Капли падают с крыш.
Ты, наверное, спишь,
В белом спишь, Кетевана?

В переулке твоём
В этот час непогожий
Я – случайный прохожий
Под холодным дождем,

В этот час непогожий,
В час, покорный судьбе,
На тоску по тебе
Чем-то странно похожий.

1975, № 9

Нодар Думбадзе

Мать

— Благородные граждане Тбилиси! Сотворите добро, подайте пьянице, подонку, бездельнику, человеку, который на стакан водки променял собственное достоинство и теперь с протянутой рукой стоит перед вами! Человек этот — я! Я жажду увидеть родную мать, опозоренную мною мать! Жажду как смерти! И мне нужны деньги, деньги на билет, чтобы поехать к ней, моей любимой матери!.. Благородные граждане Тбилиси! Окажите мне милость... Умоляю вас!..

Дрожащий голос звучал патетически, но фальшиво.

Пропитанный запахами сапог, водки, горчицы, прокисшего вина, вонючего табака, пота и селедки подвал гудел. Жуткий монолог-исповедь, несмотря на свою фальшивую патетичность, раздался как гром среди ясного дня. На несколько секунд — повторяю, лишь на несколько секунд — воцарилось гробовое молчание, подвал будто превратился в окаменевший сказочный город — город, который кара божья настигла именно тогда, когда никто этого не ждал и каждый был занят своим делом.

...И когда вся эта масса вновь задвигалась, пьяница уже стоял у ближайшего стола и дрожащей рукой собирал брошенные на стол три скомканные рублевки и мелочь. Ни один из сидевших за столом мужчин не взглянул на пьяницу — даже тогда, когда он поблагодарил их. Лишь один — помоложе — проговорил, не поднимая головы:

— Ладно...

Пьяница подошел ко второму столу, протянул руку:

- Благородные жители Тбилиси!..
 - Брось трепаться! – прервал его один из сотрапезников
- На, выпей!

Пьяница взял стакан с водкой, поднес ко рту. Рука е дрожала.

- Ну, скажи что-нибудь! – сказал второй.
- «Что-нибудь...» – повторил пьяница, и рот его переился в жалкой улыбке.

- Гм, ты даже шутишь?! – удивился третий.

Пьяница не ответил. Он молча проглотил водку и укнулся лицом в согнутый локоть. Когда он поднял гололицо его было спокойнее, а глаза влажно блестели.

- На здоровье! – сказал первый.

Пьяница поставил стакан, но от стола не отходил.

- Не вздумай еще просить денег! – сказал, нахмур брови, второй.

- На билет... Мать хочется увидеть...

- Знаю я твою мать и твой билет!

- Три рубля...

- Какими прикажешь – бумажными или мелочью? передразнил его первый.

- Рубль! – быстро сдался пьяница.

- Отдай, мать его!.. Видишь, не отстают! – проговор третий.

Тогда первый достал из кармана двадцатикопеечную монету, положил на большой палец правой руки, щелчком подбросил в воздух, потом ловко поймал и, зажав ее в левой ладо, вопросительно взглянул на пьяницу.

- Орел! – крикнул тот, не задумываясь, и уверенно потянул руку.

Первый разжал ладонь.

- Везет же человеку! – обернулся он к сотрапезникам и отдал монету пьянице.

Тот подошел к следующему столу.

- Ребята, явилась наша судьба! – обрадовался один из пятерых, сидевших за столом.

- Мир пришедшему! Привет! – раздались нестройные голоса.

- На, выпей! – протянул кто-то стакан.

- Я выпил уже... – проговорил пьяница, но стакан все же взял.

- Гм, нашелся трезвенник! – хмыкнул первый, очень похожий на второго, как, впрочем, и на всех остальных.

- Будьте здоровы! – пьяница опрокинул в рот стакан и понюхал свой грязный рукав.

- Только без монолога! Говори прямо, сколько стоит билет до дома твоей матери! – предупредил третий, потом двумя пальцами извлек из внутреннего кармана пачку пятирублевых.

- Дай одну! – взмолился пьяница и громко проглотил слюну.

- Осел! С чего это тебе вздумалось разбогатеть именно за наш счет? Пойди-ка вон к тем комбинаторам, они, знаешь, махорку в червонцы заворачивают! – владелец пачки указал на огороженный фанерой кабинет, откуда столбом поднимался табачный дым и доносился громкий пьяный женский хохот.

- Ладно, отдай, не мучай человека! Нас всех ждет его судьба! – ска зал кто-то.

- На, бери две пятерки – поедешь в международном. В жестком тебе будет неудобно! – беззубый рот владельца пачки раскрылся в улыбке. Засмеялись и четверо остальных.

- Вот это – человек! – воскликнул пьяница, запихивая деньги в карман. – Будет и на моей улице праздник, и тогда я отплачу тебе!

- Не забудь прихватить знамя!

Теперь рассмеялись все шестеро.

Четвертый стол пьяница обошел сторонкой – в одном из двоих сидевших за ним мужчин он узнал верийского карманщика Зарзану. Карманщики, как известно, одинаково ненавидят пьяниц

и попрошаек, он же в своем лице объединял обе эти категории людей. Поэтому он направился к кабинету с занавешенной дверью.

В кабинете пьяница не задержался. Он вышел от растерянный и смущенный и, раскачиваясь, подошел к столу которым кутила компания парней из Ваке.

- Благородные граждане Тбилиси... – начал пьяник прикрыв почему-то глаза рукой.

- ...Сотворите добро, подайте пьянице, подождите бездельнику... – продолжил монолог один из парней.

Пьяница опустил руку и уставился на него помутневшим взглядом.

- Чего смотришь? – спросил тот.

- Жажду увидеть свою мать... – захныкал пьяник жажду как смерти...

- Кто же тебе мешает? Умирай на здоровье!..

- Я мать хочу... – повторил тупо пьяница.

- А молочка грудного тебе не хочется?

- Мать...

- Да врешь ты, сволочь, нет у тебя никакой матери вскочил в сердцах худощавый парень. Его насилу усадили. – так каждый раз! Появится и начнет беречь душу именно тогда когда мне хочется выпить, повеселиться! Хватит же тебе, хва гнида ты этакая!

- Ладно, поди сюда, Симон, бери деньги и уходи. Не Парень с огромным – от виска до подбородка – шрамом бро на стол несколько червонцев.

- Откуда тебе известно мое имя? – удивился пьяница.

- Известно, Симон, известно... На деньги, что ты вынул у меня, можно было трижды объездить земной шар. Вр Магеллана...

Парень со шрамом закинул деньги в карман пьяника слегка подтолкнул его:

- Ну, хватит тебе, мы тоже люди, и у нас тоже есть с

дца... – Потом он обернулся к своим: – Ребята, давайте выпьем за наших матерей... Разбередил душу этот негодяй, хоть плачь!..

А пьяница уже стоял у очередного стола, стоял молча, раскачиваясь, с протянутой рукой.

– Что он хочет? – спросил удивленно один. Это был, наверно, единственный человек в подвале, не знавший пьяницы.

– А я знаю?.. Тебе чего? – обратился к пьянице второй, хотя и знал отлично, какой последует ответ.

– Я... – пьяница безнадежно махнул рукой.

– Спроси-ка его, почему он не на фронте? – вмешался в разговор сидевший в конце стола аферист, который, окажись сам на фронте, мог бы свободно сойти за танк средней величины.

– А он был на фронте! – откликнулся сосед.

– Почему же он не ранен?

– Он ранен!

– Пусть покажет! – заинтересовался аферист.

– Знаю я его рану! – загоготал похожий на скопца безбородый и безусый толстяк. – Ты спроси его, женщин ему не хочется?

– Слушай, безмозглая твоя башка! – обратился к пьянице первый. – И почему ты выбрал самую что ни есть на свете сложную профессию – попрошайничество?! Пойди убей кого-нибудь, или взломай сейф, или, на худой конец, стань карманщиком!

– Что? Ты слышал, Андо, что сказал Барыга? Стань, говорит, на худой конец, карманщиком! У, падло, я тебе обрежу твой гнилой язык! – сказал, вставая, Зарзана.

– Да ладно, сиди, нашел место права качать, – успокоил его Андо.

Любит мать своих детей,
Мать не помнят детки,

Оттого и наша жизнь

Горьче горькой редьки,

– затанули песню парни из Ваке.

Пьяница собрал со стола мелочь и, не считая, опустил монеты в карман. Сосчитать он их не мог при всем желании от выпитой водки его мутило, в голове шумело, он с трудом держался на ногах. Ему не хватало воздуха, он задыхался. Мягкое его тело словно плавало в зловонном тумане, закрывавшем весь подвал – от потолка до пола. Он стоял и ждал, когда приостановит свой бег вертевшийся каруселью под потолком, чтобы отыскать дверь и выбраться из этого смрада на свежий воздух... Вот карусель замедлила ход, вот показалась дверь. Пьяница двинулся к ней... Э-э-эх! Не успел! Дверь проплыла мимо... Он стал ждать... Начался второй круг... Так... Все идет по порядку... Первый стол, за которым сидели молодые рабочие... Но стол теперь пустой – рабочие ушли... Второй стол, третий, четвертый, пятый... Где же дверь? Боже, куда девалась дверь?! А, вот и она! Но что это? Офицер Сеит снял дверь вместе с рамой, взвалил ее на плечи и шагнул так, словно он и есть дверь!.. Как же теперь быть? Выбраться отсюда? А выбраться нужно во что бы то ни стало, иначе он задохнется, сердце его не выдержит... Что делать? Нет, надо любыми средствами проскочить сквозь дверь! Спросить о двери у Сеита? А, была не была! Пьяница бросился на Сеита, схватил дверь и в отчаянии ухватился за ручку...

В подвале сперва раздался звон разбитой посуды и грохот покотившегося по каменному полу подноса, а затем звук соприкосновения оплеухи. Подвал на несколько секунд будто превратился в мимолетный сказочный город, а когда вся эта масса вновь загрохотала, Сеит схватил пьяницу за волосы, подтащил к двери и сильным пинком вытолкнул на улицу.

Пьяница упал. Он с наслаждением вдохнул свежий воздух, прильнул щекой к холодной мостовой и замер.

И вдруг пьяница почувствовал, как в нем зашевелились...

какое-то смутное, давным-давно позабытое чувство. Он никак не мог вспомнить, как это чувство называется. А оно все властнее овладевало им, сжимало сердце, причиняло боль... И лишь тогда, когда какой-то прохожий нагнулся и поднял его на ноги, пьяница вспомнил, что нахлынувшее на него столь неожиданно чувство называется давно вычеркнутым из памяти словом — «самолюбие»... И вспомнив, он невольно оттолкнул прохожего и выругался. Выругался тихо, беззлобно. Выругался лишь для того, чтобы люди поняли — перед ними стоит не животное, а человек. Добрый прохожий промолчал, с сожалением улыбнулся и пошел своей дорогой...

...Пьяница вытер рукой сочившуюся из носа кровь и побрел, пошатываясь, по узкой улице Меликишвили. Прохожие обходили его или вовсе переходили на другую сторону улицы. А он шел себе, не шумя, не ругаясь, никого не задевая. У винного завода свернул налево и стал взбираться по подъему Петриашвили.

Он лежал на деревянной тахте, нераздетый и спал мертвым, без сновидений сном. Разбудил его звон часов в соседской комнате. Часы пробили лишь один раз. Это не могло быть часом ночи, скорее всего — половина чего-то. Значит, придется ждать еще полчаса, чтобы узнать, какое же сейчас время. И он ждал, ждал с открытыми глазами, ибо стоило ему сомкнуть веки, как перед ним возникало видение — двухэтажный деревянный дом, широкий общий балкон с красивыми резными балясинами; во дворе, у крана, огромная белая кавказская овчарка и восседавший на собаке мальчуган в белой блузке и черных бархатных штанишках; на балконе красивая молодая черноволосяя женщина в простеньком голубом платье. Облик женщины то и дело менялся — из цветущей красавицы она превращалась в седую старушку с печальными глазами и сморщенным лицом, затем вновь становилась моло-

дой и красивой. Все это очень напоминало его детство, и: щина на балконе — его мать. Напоминало, и только. И те менее он не смел закрыть глаза, ибо видение наводило на страх.

Так прошло несколько минут. Он осторожно, сл подкрадываясь к темноте, закрыл глаза, и тотчас же перед всплыли знакомые картины. Это было похоже на стран поставленный в обратной последовательности спектакль, фигуры с опусканием занавеса появлялись, а с поднятием исчезали со сцены. И все это стало, наконец, так жутк невыносимо, что он решил не смыкать глаз до рассвета.

— Бо-о-ом, бо-о-ом, бо-о-ом, бо-о-ом!.. — пробили за стеной.

Пьяница вздохнул с облегчением: звон часов рас мглу и вместе с ней видения.

В Тбилиси наступало утро. Пьяница встал, подош крану, чтобы промочить пересохшее горло. Воды не б Тогда он вернулся и лег снова. Видения исчезли, но те нахлынули думы, и это оказалось еще мучительнее. Вид — оно хоть не имеет веса, тяжести. А думы — мрач горькие думы — они свинцовой тяжестью давили на нег давая шевельнуться, выпрямиться, стать на ноги.

...Надо выпить. Если сейчас не выпить хоть стакан, глоток, хоть каплю водки, он умрет! Очень просто — с нется кровь, и он умрет. Деньги у него найдутся — вчера лось выпросить кое-что. Но куда пойти? Может, в вокзал ресторан? Он работает круглые сутки. Да, да, сейчас же, же минуту! Выпить... Выпить... Выпить... Иначе — см Вот уже немеют руки и ноги, слабеет пульс, лоб покр холодной испариной...

Пьяница вскочил, подбежал к двери, рванул руч застыл...

Перед дверью стояла миловидная седая женщи голубом платье.

Он не слышал, как за спиной, в соседской комнате часы пробили шесть и как забулькала вода в кране. Он зажмурился, но когда спустя минуту вновь раскрыл глаза, женщина стояла там же — стояла как каменное изваяние смущенной богоматери.

— Кто вы? — спросил пьяница шепотом.

— Уже час я стою здесь и не смела постучать, — ответила она.

— Но... Кто же вы?

— Ваша дверь, наверно, сотая... Я обошла сто дверей и не решилась постучаться... Если б вы сами не открыли, я не осмелилась бы постучать и в вашу дверь...

— Что же вам нужно от меня, уважаемая?

— Не подумайте, ради бога, что я попрошайка... — голос у женщины задрожал. — Я — мать!

— Чья мать? — ужаснулся пьяница.

— Мать солдата... — женщина перевела дух и продолжала: — Я получила извещение... Сын мой лежит в госпитале, раненый. При смерти. Я должна взять его домой... Во что бы то ни стало... Хоть на собственной спине, хоть ползком, но должна... Если даже это будет мне стоить чести, совести, даже жизни!..

«Что же вы хотите от меня?» — спросили глаза пьяницы.

— Я не попрошайка, сынок! Я — мать... И мне нужны деньги... На дорогу...

«Благородные граждане Тбилиси!» — услышал пьяница собственный голос.

«И почему вы пришли ко мне?» — спросили его глаза.

— Не откажи мне, сынок, не погуби меня!.. Твоя дверь — последняя. Больше я никуда не пойду!..

Женщина опустила голову. Пьяница увидел, как на ее

черные изношенные чусы капнули слезы. Дрожащей, слов лихорадке, рукой он быстро извлек из кармана скомканные, ные бумажные деньги и подал их женщине. Она не протя руки. Тогда пьяница осторожно положил их ей за пазуху, п вывернул собственные пустые карманы и застыл. Жені продолжала плакать, и пьяница понял, что она хотела, н могла словами выразить свою благодарность. Тогда он медл опустился на колени, припал к ногам женщины и тихо произи

- Спасибо, мама!

Так прошла минута. Когда он поднялся, женщины п ним не было. Там, где только что стояла она, лежали скомкае грязные бумажные деньги.

- Боже мой, неужели и это было видение?!

Из крана с веселым журчанием лилась струйка воды ему уже не хотелось пить. Горло и губы пьяницы были вла но влажность эта не походила на воду - она была тепл соленой.

На улице рассвело.

По темному, душному, переполненному пассажи вагону с трудом пробирался ревизор. За ним с видом пн нившегося следовал проводник, подсвечивая фонарем взят пассажиров билеты. Ревизор разглядывал пассажиров и их ве такой тщательностью, словно разыскивал среди них опас государственного преступника.

- Ваш билет?! - повторял он полуприказным, п вопросительным тоном, и пассажиры молча, словно сгов шись, протягивали ему свои билеты.

- Ваш билет?! - обратился ревизор к сидевшему у худому, небритому мужчине.

- У меня нет билета! - сказал мужчина.

- Что?!

- У меня нет билета!

- Куда же вы, позвольте спросить, едете без биле

спросил ревизор с иронической улыбкой.

– К матери! – ответил мужчина.

– К кому?! – удивленный ревизор вырвал из рук еще более удивленного проводника фонарь и поднес его к лицу пассажира.

– К матери! – повторил мужчина.

«К какой матери?!» – хотел переспросить развеселившийся вдруг ревизор, но, увидев бледное как полотно лицо и мокрую от слез седую бороду пассажира, он ужаснулся. Потом молча повернулся и, не оглядываясь, пошел прочь.

Поезд ворвался в черное чрево тоннеля.

Перевод Зураба Ахвледiani

1976, № 5

*Михаил Синельников***Шарден в Тифлисе**

Закрой глаза! Полнеба – за порогом,
Вся в радугах подзорная труба.
Ты слышишь, осушают рог за рогом,
Торгуют богом и пекут хлеба.

Татары, турки, персы и армяне.
Дары волхвов. За облаком седым –
Копытный цокот, музыки зиянье,
Коленчатый, волнообразный дым.

И мысль пойдет за каждым иноверцем,
Скользнет, свиваясь в дымное кольцо.
Там за углом... Балконы с красным перцем,
Пугливое, прекрасное лицо.

Но что твоя смешная серенада!
Все это – ложь и серная вода.
Я проведу тебя кругами ада,
Подземные открою города.

Глубокий погреб той грузинской речи,
Где никнет хмель и глохнет лития,
Уходят уплывающие свечи
За цветочные пятна бытия.

1969-1977

И в этом закипающем прибое
Еще сольются в пенный океан
Персидское лилово-голубое
И серебро гиперборейских стран.

Но есть у нас кузнечный цех и рынок.
И под гербами Солнца и Луны —
Семи стихий условный поединок,
И меры веса, тяжести, длины.

Но есть еще истертая циновка,
Упорный молот, огненная печь,
Высокая, бесовская сноровка
Лаваш и меч из пламени извлечь.

Так вот они искусства атрибуты
Под сводом вулканических небес...
Теперь гляди, смотри, не перепутай
Удара тяжесть и удельный вес.

1976, № 4

Гурам Дочанашвили

Человек, который очень любил Литературу

1

Все началось с того, что меня вызвал мой руководитель и сказал:

– В твоей будущей работе должны найти отражение социальные аспекты повседневного поведения рабочих и служащих, жителей поселка городского типа и должны быть выявлены условия жизни, определяющие закономерности этого поведения. В проблеме досуга, которой в настоящее время уделяется значительно больше внимания, чем уделялось доньше, поведение и поступки человека во внепроизводственной сфере занимают немало места. Спичек у тебя нет?

Как на беду спичек не было.

– С одной стороны, научно-технический прогресс продолжал мой руководитель, – и сопутствующее ему улучшение условий быта на современном этапе...

– Выйду куплю...

– Не стоит, все равно хочу бросить курить... В свободное время вне производства повседневные занятия становятся все более значительным элементом быта. Поэтому особое внимание должно быть направлено на досуг, сфера которого определяется, во-первых, тем, что он является одним из факторов формирования человеческой личности, будучи компонентом его образа жизни и поведения, во-вторых, исследование подобного характера даст нам возможность выявить наиболее эффективные способы воздействия на сознание человека. Кроме того, эта сфера

изучена менее, чем какой-либо другой, не менее существенный фактор экономического и социального развития...

Он остановился на миг, и я ввернул:

— Да.

— Изучение под этим углом зрения проблемы использования досуга, — продолжал руководитель, — весьма актуально, и разработка ее представляет собой как теоретический, так и практический интерес. В качестве плановой темы на год эта тема слишком обширна, разумеется. Поэтому поставим вопрос следующим образом: ты должен изучить проведение повседневного внепроизводственного времени и его зависимость от условий быта. При этом надо ограничиться выбором людей определенной профессии. Выбор профессии предоставляю тебе. Понял, надеюсь?

— Понял.

— Что же касается вопросов, которые необходимо будет задавать людям выбранной тобой профессии, иначе говоря, респондентам, то вот они — на пяти страницах. Ответы должны быть выразительными, короткими и исчерпывающими.

— Одновременно?!

— Разумеется. Если столкнешься с чем-нибудь неясным, сложным, всегда можешь обратиться ко мне... в служебное время

... Был вчера на защите?

— Да.

— Как прошла?

— Ничего, как всегда.

— Много народу пришло?

— Да так, было...

— А замечаний много сделали?

— Нет, не очень... кое-какие.

— Да, чуть не забыл, — вспомнил руководитель, — обязательно следует обратить внимание, как сказывается материально-экономический фактор на выборе той или иной формы досуга, на благосостоянии респондента.

В тот же вечер я просмотрел анкету. Вопросы были я простые и при этом интересные. Люблю я свою специальн
Вернее сказать, нравится задавать вопросы незнакомым лю
Одному нравится одно, другому – другое, третьему – еще чт
а ты записываешь, записываешь, и дело продвигается вп
Однако на следующий день, уже с утра, я столкнулся с пе
трудностью – с выбором профессии респондента. На заводе
но, к тому же усталые люди не дают исчерпывающего от
продавцам некогда – от весов не могут отойти, отпуская вс
всячину, а по домам ходить не станешь, понятно; водител
захотят терять драгоценное время ради тебя, врачи и медсес
исключено, они иногда сутками дежурят, а меня интере
люди такой профессии, которые и начинают, и заканчивают
ту в одно время. Долго ломал я голову, пока, наконец, не
чили глаза – на какой-то тихой улочке взгляд мой упал на
рину фотоателье. Вот оно! Вот что мне подойдет! Фотог
как правило, народ живой, словоохотливый, а в ожи
аккуратно причесанных клиентов и время найдут для
трантных ответов на вопросы анкеты. К тому же они смотре
жизнь трезво, через точно фиксирующий объектив фотоапп
Я энергично толкнул дверь, вошел и сказал: «Здравству
Услышал желанное «здравствуйте» и спросил: «Вы свобод
Фотограф же мне в ответ: «А зачем я еще тут», но, узнав
моего прихода, немного смешался. Я же, стараясь представ
ему прямодушным, приятным молодым человеком, по
галстук и улыбнулся чистосердечной улыбкой, а он, ск
голову набок, рассматривал меня, чужого ему – интересую
его досугом. И не давая ему осложнить ситуацию вполне
ным вопросом: «А вам, собственно, какое дело?», я пост
объяснить, что я из столь компетентной организации, как на
должен опросить представителей его профессии с целью
нить, как они проводят свое свободное время, любят ли

спорт, телевидение, каково их семейное положение, коммунальные условия и так далее и тому подобное. И лишь однажды, когда я употребил выражение «различные органы» и слово «инстанция», что-то дрогнуло в его лице, но я тут же изменил лексику — это так важно в подобных ситуациях — и обычными, простыми словами объяснил, что анкеты позволят нам, исследователям, узнать стремления представителей разных профессий, познакомиться с их взглядами, и все это поможет нам по мере возможности улучшить в будущем их жизнь, повысить ее культурный уровень, тогда он сразу переменялся, с облегчением вздохнул и промолвил: «Слава богу».

Мы беседовали откровенно, задушевно, окруженные фотографиями самодовольных красавиц, респондент отвечал выразительно, лаконично. Когда я время от времени шутил, он смеялся, а я поправлял галстук — люблю почему-то теревить галстук, наверное, потому, что и он меня теревит, но в нашем деле галстук обязателен, во всяком случае, я так считаю. Респондент же считал, что легкая музыка лучше классической, а спортивная передача лучше интервью с работниками сельского хозяйства, что стоять в длинной очереди не очень-то большое удовольствие и куда приятнее, устроившись у окна в полупустом транспорте, разглядывать номера частных машин — какой из них счастливый, чем душиться, вытянувшись на носках, в битком набитом трамвае. За каких-нибудь четверть часа анкета была заполнена по всем правилам, попутно мы рассказали друг другу несколько веселых анекдотов, и мои оказались лучше. Заполнить следующую анкету в фотоателье в двух-трех кварталах от этого, возле сквера, оказалось уже легче, поскольку очарованный мною первый респондент дал мне сопроводительную записку к своему коллеге: «Миша, этот товарищ с запиской от меня — свой человек». Вполне удовлетворительной выглядела и третья анкета, которую я заполнил короткими ответами томившегося от скуки фотографа. Потом я зашел к своему руководителю. «Как идет работа?» — спросил он. «Прекрасно, — ответил я, — уже

приступил». «Быть не может!» — удивился он и дружески похлопал меня по плечу. Так чудесно, когда руководитель молодой сил, здоровья, настоящий атлет, как говорится, и при этом меру следует моде — слегка, совсем чуточку удлиненные баки барды, слегка приталенный пиджак и туфли с квадратным мыском, а в нагрудном кармане пиджака платок одного цвета галстуком. Он проглядел мои анкеты. «Хорошо провел работу, хорошо, только вот по коммунальным удобствам следовало провести деление не просто на две группы — хорошие и плохие, указано у тебя, а еще на три подгруппы. Первая — обеспеченные всеми видами коммунальных удобств, как-то: водопроводом, канализацией, центральным отоплением, газом, ванной душем, горячей водой; вторая — обеспеченные основными коммунальными удобствами: водопроводом, канализацией, центральным отоплением, и третья — «безканализационные» вообще, хорошо поработал, продолжай и дальше так. Как дела все в порядке?..». Так он душевно беседовал со мной, коснувшись того-сего, но вдруг вспомнил что-то, призадумался, потом надел темные очки, уперся подбородком в грудь и сухо заключил:

— И, как я уже говорил, проведение свободного времени характеризуется двумя рядами показателей: а) перечнем занятий и б) данными о продолжительности, интенсивности и темповыми количественными параметрами этих занятий.

3

Так или иначе началось все отлично, но утром следующего дня, в четверг, я столкнулся с тем, кто все мне испортил; да там столкнулся — сам, своими ногами ступил я в то проклятое фотоателье. Он даже не слышал, как я вошел, — глядел черт знает куда-то вдаль. Опершись о покрытый стеклом стол, подавив вперед, пристально смотрел он сквозь меня куда-то очень-очень далеко, словно я был стеклянный, глаза у него блестели, и я с ужасом же всем существом почувствовал — навлечет он на меня беду

все же кашлянул. Он очнулся и, смущенно заулыбавшись, сказал:

— Пожалуйста, пожалуйста, вам на паспорт или... —

Тогда я стал подробно объяснять цель своего прихода. Он внимательно слушал меня, и видно было, сразу все понял, но тут же прервал:

— Простите, вы по собственному побуждению или... — и добавил: Господи, как вы напоминаете мне кого-то!..

— Нет, меня руководитель направил.

— Простите, но... я должен знать, кто он — этот руководитель, что за человек... На кого вы все-таки похожи?..

— Что — привести сюда моего руководителя? — спросил я шуточно, хотя уже испытывал раздражение.

— Нет, нет, какая нужда приводить, опишите его в нескольких словах, чтобы я имел представление, с кем фактически имею дело...

— Ну как вам сказать... Он молодой, волевой, энергичный, современный. Хотя и молод, к нему уже прикрепили нескольких молодых сотрудников, и он отлично начал работу с нами.

— О-отлично начал? — прервал он меня.

— Да! — И, начиная злиться, я повторил: — О-отлично начал.

— Эх, — сказал человек и погрузился, — и маршал Эдмондо Бетанкур отлично начал, а как кончил — тоже известно...

— Что за маршал, о ком вы говорите? — растерялся я.

— О ком — да о маршале Бетанкуре, не об Аурелиано же толстом! — и хлопнул себя по лбу. — О, как я сразу не сообразил! Вы здорово похожи на Аурелиано толстого, до того как он растолстел. — И начал дивиться: — Подумать, какое сходство!

— Какого толстого, что еще за толстый... — я ничего не понимал.

— Да сын двоюродного брата маршала, того, что Диего заточил... Вспомнили?.. Мужа Эулалии! Хм!.. Как раз таким, как вы сейчас, представляю себе его молодым, когда он еще не был толстым, — удивительное сходство! А я-то думаю, где вас

встречал... и выведенные сны мои раз... в клубе... и... и...

И — представляете! — спросил:

— Вы могли бы это объяснить?

Глаза его лукаво искрились. «Сумасшедший он, что ли мелькнуло у меня, но ведь сумасшедших на работе не держат резко сказал:

— Как смеете на работе... в нетрезвом состоянии, а?

— Я? Чтоб я — да пьяный? — оторопел он, и внезапно в жение лица его стало осуждающим. — А-а, понимаю, вы не ли романа о Бетанкуре, не читали ведь?

— Не читал, — ответил я. — Можете вы в конце ко ответить на мои вопросы?

— С удовольствием, с удовольствием. И романа, где сельмо, не читали? Льоса Марио Варгаса ...

— Не-ет.

— И Кортасара?

— Э-э-э... Нет.

Я думал, он высмеет меня, но он поглядел с завистью:

— Счастливый вы человек.

— Почему?

— Потому что впереди у вас огромная радость, а у меня уже позади! Э-эх...

— Какая радость?

— Радость первого прочтения. Значит, вы южно...

— Извините, но... — я не выдержал, — если не ошибаюсь респондент вы, а не я!

— А что такое респондент? — заинтересовался он слегка

— Тот, кого спрашивают.

— А-а, к вам же добавляется «кор», да? Только в ни слова, да? — корреспондент...

— Нет, нет, я — интервьюер.

— Хорошо, дорогой, извольте, спрашивайте.

Но тут в ателье, нерешительно приоткрыв дверь и сл протискиваясь, ступил человек робкого вида. Респондент

нился и занялся клиентом – предложил раздеться, усадил, приподнял ему голову за подбородок и повертел в одну-другую сторону, взял у меня галстук и нацепил на него, включил яркий свет, велел человеку вскинуть голову и, сняв что-то с объектива, воскликнул: «Гоп!», после чего, неловко развязав узел, с глубокой благодарностью вернул мне галстук. Но я уже не сумел надеть его, так как завязывать не умею – по утрам обычно брата прошу, а респондент сказал, сокрушаясь: «Ах ты беда какая, и я ведь не умею». И обернулся к клиенту, одевавшему пальто: «Нет, завтра не будет. Послезавтра». Вручив ему квитанцию и получив деньги, восемьдесят копеек, он улыбнулся: «Будьте здоровы, дорогой!». И повернулся ко мне, с головы до ног изображая внимание.

– Извините, но время рабочее... Итак, приступим.

Тыльной стороной руки я сдвинул галстук с анкеты и приступил к делу:

– Фамилия?

– Кежерадзе.

– Имя.

– Васико.

– Василий?

– Да, конечно, – смутился он. – Извините, «кор» – это ваша привилегия – корреспондент...

– Сказал же, не корреспондент я. – И повторил отчетливо: – Интервьюер, понимаете? Год рождения?

– Двадцать девятый.

– Тысяча девятьсот... да? – сострил я.

– Разумеется.

– Пол?

– Василием меня звать, – ответил он в тон мне.

Я записал: «Мужск».

– Профессия?

– Специалист по художественной фотографии.

– Нравится вам ваша работа?

- Тут он ответил неохотно:
- Так себе.
- Почему?
- Он окинул меня внимательным, грустным взглядом и сказал:
- Я литературу очень люблю.
- Мы помолчали, потом я спросил:
- Специальную?
- Он улыбнулся.
- Нет, художественную.
- Я смешался, но виду не подал.
- Прекрасно, мы и литературу затронем, один из вопросов будет касаться.
- Не-ет, нет. – И на лице его опять появилась улыбка. Касаться, а начинаться и кончаться ею будет.
- Что?!
- Что – да ваши вопросы к респонденту вроде меня.
- Откуда вы, собственно, знаете? – Я не на шутку прилился. – Пока что я намерен выяснить, каковы коммунальные удобства в вашем доме, в каких условиях вы живете – в хороших, плохих или средних, а при чем тут литература, да еще в узком смысле – только лишь художественная!
- Ну нет. – Он усмехнулся и бесцеремонно заглянул в анкету. – Хотя у меня и нет центрального отопления, удобства все равно прекрасные – называйте их коммунальными или вам там заблагорассудится.
- Что вы хотите сказать?
- А то, что у меня два огромных книжных шкафа, полные книгами, удобное кресло и торшер – свет над головой.
- Но это же не коммунальные удобства?
- Смотря для кого. – И неожиданно с издевкой: – Знаете, художественная литература – это литература в узком смысле!
- Разумеется, потому что существует литература документальная, научная, популярная, учебная...

– Брошюру упустил, дружок.

– Да, да, – не дал я себя сбить. Главное – настойчивость, упорство. И продолжал: – Любите ли кино?

– Нет.

– Почему? – поразился я.

– Кино – финансируемый конкурент.

– Чей?

– Сказал же, не люблю. Не столько ум питает, сколько тешит глаз – вот почему.

Я записал «нет», а следующий вопрос после ответа на предыдущий казался нелепым: «Какие вам нравятся фильмы?».

Но он ответил:

– С титрами. Понятно?

Ого, не хуже меня умеет раздражаться.

Я вскипел, но тут снова появился посетитель, и человек, сказавший, что он очень любит литературу, не сдержавшись, на него излил свое раздражение: «Садись, говорю, садись!» – и включил такой сильный свет, что лампы протяжно загудели, потом он сердито задрал клиенту голову, ухватив за подбородок, но вдруг остыл и пригладил его волосы: «Извините, вы-то при чем... Растрепались немного...». И тот, опешивший, широко улыбнулся. Улыбнулся ответно и респондент. Один сидел, застыв, другой вертелся возле аппарата, потом сказал свое «гоп!», помог клиенту надеть пальто, хотя тот продолжал улыбаться, говоря: «Не надо, не надо, я сам...», и, когда посетитель прикрыл за собой двери, я оторопел – на меня вызывающе и пренебрежительно смотрел совсем другой человек.

– Если угодно, продолжим завтра. И завтрашний день – день этой недели, – призвал я на помощь юмор.

– Нет, нет, спрашивайте, слушаю вас.

И я подобрал вопрос, который никакого отношения не мог иметь к его увлечению.

Я спросил:

– Что вы думаете о моде? Какая вам нравится одежда?..

Он же ответил:

— С широкими карманами, все остальное — безразлично

— Как это — с широкими карманами? Для чего?..

— Чтобы влезала любая книга.

Нет, он явно был тронутый. Я поднялся...

— Извините, но... меня руководитель ждет.

— Волевой, энергичный, да? Что поделаешь, всего хорошего.

Он с недовольным видом следил, как я засовываю ру нагрудный карман, анкету — в портфель, и, когда я устреми двери, бросил вдогонку:

— Вот это забыли!

«Это» был галстук.

— Спасибо, всего доброго. — И осторожно, стараясь смять, я положил галстук в карман.

— А знаете, вы еще раз придете.

— Никогда! — взорвался я. Битый час потерял из-за негс

— Что ж, увидим...

— С чего вы взяли?

— Не можем ведь мы разойтись, не познакомившись то наша беседа пока что смахивала на материал для юмористкого журнала.

— Лучшей беседы и не получится, — бросил я ему в лиц

— Почему ж, почему? Все впереди... Вот увидите, ещс говорюсь.

— Лично я ногой сюда не ступлю...

— Посмотрим. — Он улыбнулся.

Я вышел злой, со лба струйками стекал пот. Я полез ман за платком, достал его, вытер лоб, но в руке было что-то

В руке был галстук.

На руководителе свитер, прекрасно связанный, об

ющий крепкое, мускулистое тело. Женщины с ума по нему сходят, некоторые, во всяком случае. Настоящий атлет! Ученый – и такая могучая статья! И речь у него убедительная, насыщенная терминами, сложная, отточенная, каких он только выражений не знает! Просто ходячий словарь иностранных слов! Одно меня удивляет – и глаза, и брови у него красивые, а все равно любит носить темные очки. И сейчас вот в них, сидит в кресле, читает поданную мной анкету и время от времени замечает: «Интересно, интересно...». Я ликую, ерзя на месте. Он дочитывает последнюю анкету, сейчас похвалит... Между прочим, у меня одно поразительное свойство – стоит разволноваться посильней, и находит сонливость... Первые раза два я думал – случайность, но потом, когда это стало повторяться, обратился к знаменитости. Тот внимательно прочел рекомендательное письмо, осмотрел меня и заявил, что ничего опасного не находит. Истории медицины подобные случаи известны, и примечательно, что сонливость нападает только в предчувствии неприятности, но во время приятного волнения, в предвкушении похвалы, как, например, сейчас, сонливости не бывает. Сотрудникам я, конечно, не рассказывал о своей странной особенности – разве поймут, поверят, – недолго думая объявят кретином, и все, пиши пропало...

Руководитель смотрит на меня с улыбкой, говорит: «Хорошо поработал, молодец...». Три слова сказал мне и все три приятные – «молодец», «хорошо», «поработал». «Когда ты столько успел, а?» Я улыбаюсь, смущенно опускаю взор, а руководитель кладет мне на плечо руку и продолжает: «Отлично начал...». Какие знакомые слова, как будто я уже слышал их... Кто-то сказал их совсем недавно, только что... Да, вспоминаю, этот чудак – про какого-то там Эдмондо, который тоже «о-отлично начал, а как кончил...» «Общее число анкет могло быть на одну больше, – говорю я руководителю, – но с тем типом невозможно было работать...» – «И бросил?» «Да, – отвечаю нерешительно, но руководитель говорит: «Правильно поступил. Если респондент не настроен отвечать, надо оставить его в покое и обра-

предпочтительнее массовых, шаблонных ответов? Ты полагаешь, что можно относиться пренебрежительно к художественной литературе как таковой, отмахнуться от нее? Разве не приятно почитать иногда в тенечке, скажем, Диккенса? И разве не является чтение одним из наилучших видов культурного отдыха? — Тут руководитель делает паузу, и чувствуется, что мысли его переключаются на собственный будущий труд — именно в этом случае вскидывает он голову, склоняя ее чуть вбок, и в этот миг становится неподражаемым, непреклонным... Даже сквозь его темные очки ощущаю, как пронзителен и суров его взгляд, и вдруг он резко заявляет — представляете?!

— Изволь сегодня же отправиться к упомянутому респонденту и заполнить анкету в соответствии с его ответами, учитывая его желания. Помни, в некоторых случаях показания иного индивида могут представлять куда больший интерес, чем избыточные ответы десятка людей, однако прежде я должен убедиться, что этот человек действительно чрезвычайно любит литературу, чтение — как один из видов культурного времяпрепровождения, а затем, если уж художественная литература действительно ярко-красной нитью проходит через всю его жизнь, следует выяснить — почему? — И немного смягчив тон: — Ну иди займись им.

5

Ноги не слушались меня, но что оставалось делать, я вынужден был идти к Человеку, Который Очень Любил Литературу. Улица шла под уклон, было скользко. Хорошо еще, тротуары посыпали опилками, а то ходить было бы нельзя. Я злился: «К кому, спрашивается, иду, какого черта мне там надо!». Настроение было премерзкое. Очувившись у знакомого фотоателя, я опять разнервничался, и на меня напала зевота. В ателье горел свет. Я собрался с духом, энергично толкнул дверь и застыл в замешательстве: внутри — никого! Я стоял недоумевая, пока не услышал приглушенный голос: «Сейчас выйду, печатаю сним-

ки!» Присмотревшись, я обнаружил узенькую дверцу как раз тут откуда донесся голос. Я опустилсЯ в кресло и стал ждать. Неприятно ждать того, кого и видеть не хочешь. ОбведЯ взглядом стены – чуть ли не все фотографии прямо взирали на меня, лишь некоторых снимках головы были повернуты в сторону или тогда склонены вбок, особенно неприятен был назойливый взгляд очкастого ребенка, – я уставился на особу с глубоким деколто но она с притворным равнодушием смотрела мимо... Вот-вот вдет респондент, я нервничаю, волнуюсь, волнуюсь все силы чувствую, что тяжелею, тяжелею... Обольстительная особа смрит теперь в мою сторону, – но мне уж не до нее – я все тяжелею... тяжелею... «Оставьте меня в покое», то ли говорю, то думаю – сам уж не знаю, весь обмякаю, а она не отстает, гонько опускает руку на плечо и нежно, вкрадчиво: «Илиано...». «Нет нет», – то ли говорю, то ли думаю и расслабляю проваливаюсь... а рука все на плече, и тот же вкрадчивый голос. «Лиано, лиано...». – «Отстаньте же, ничего мне больше не надо, только отстаньте, не мешайте, погодите...». Троллейбус несет по мокрой от дождя мостовой, липко шуршат шины, а она продолжает – вкрадчиво и лукаво: «Релиано, релиано», и хлопает в ладоши. Я поднимаю веки – обожаю аплодисменты – и фотографирую ее, но она раздваивается, расплывается в фотографическом фокусе, и теперь уже я отчетливо слышу: «Урелиано, Урелиано...» и вижу ясно, наяву – никакой особы. Передо мной респондент! Уснул я, оказывается, нечаянно, конечно, а он тормошил меня за плечо и будил: «Аурелиано... Говорил же тебе, придешь, еще раз придешь, Аурелиано!»).

Что за неодолимое свойство организма – хочешь не хочешь засыпаю с предчувствием неприятной встречи, засыпаю, того не желая, и никаких сил одолеть сонливость... Но я все же смущаюсь, поднимаюсь с места и говорю, оправдываясь: «З

делясь вчера за работой, до рассвета просматривал литературу». «Садитесь, садитесь, пожалуйста, какую – художественную?» – спрашивает респондент. Опять он за свое, хотя это хорошо – льет воду на мою мельницу, вспоминаю указания руководителя и, окончательно просыпаясь, предлагаю: «Продолжим? Вопросы...», и он сразу соглашается: «Конечно, конечно...». Оборачиваясь к узкой дверце, он говорит кому-то: «Приготовь пока раствор, Клим». «Что еще за Клим?» – думаю я, и он тут же поясняет: «Ассистент мой...». Открываю портфель, кладу анкету на стол, осторожно зажимаю ручку в пальцах – подтекает она немного – и спрашиваю:

– Много ли теряете свободного времени?

Отвечает:

– Нисколечко!

Я поражен:

– Как же так?

Поражен и он:

– А почему я должен терять?

– А-а, вы меня не поняли, – вежливо разъясняю я, – разумеется, вы не хотите терять свое время, но ведь пользуетесь же общественным транспортом, заходите иногда в гастроном, в магазин, приходится готовить себе ужин или в столовой позав...

– Наоборот, наоборот, – перебивает он. – Это вы меня не поняли. Я действительно не теряю времени, когда стою в очереди, жарю себе яичницу или еду в трамвае...

– Каким это образом? – раздражаюсь я.

– А таким, – парирует он. – Вы думаете, любить литературу – значит только читать? А разве не надо осмыслить прочитанное?

Какая разница – сидишь в трамвае или стоишь, думать можно в любом положении, даже во время стойки на руках.

– Да, но о чем?

– О том, что прочитал. Или о том, что вспомнится...

Ух, чтоб моему руководителю... И все же продолжаю:

– А если изволите быть не в духе?

— Хе-е, как раз тогда и надо думать, когда ты не в духе!

— Почему?

— Чтобы прийти в хорошее настроение.

Нет, ненормальный он, идиот какой-то... Да еще пята удивляется: «Господи, до чего вы похожи на Аурелиано того... Ничего, если буду называть вас Аурелиано?».

Что он себе позволяет!

— Будьте добры, соблюдайте этикет, — высокомерно б я, меня зовут Тамаз.

Он слегка разводит ладони и всем видом вы покорность:

— Хорошо, Тамаз, хорошо, дорогой.

Я отвожу взгляд.

— У человека одно удивительное свойство, — заду начинает он безо всякого предисловия, и вижу, весь меня глаза не искрятся больше лукаво, передо мной другой че глубоко опечаленный, ушедший в свои мысли.

Задумавшись, он смотрит мимо меня и рассказывает невероятное — о чем бы вы думали? — о жабе! Оказывается видит насекомое только в тот момент, когда оно движется; несется оно перед ней, жаба кинется на него, а если не ме поблизости насекомое, глаза ей застилает серая пелена, потому, оказывается, что мозг ее устроен крайне примит если бы она замечала вокруг себя все, воспринимала все це не вынесла бы напряжения и умерла, не выдержал бы ее мо

— Человек же... — продолжает он. — Мозг же человека сем иной у него мозг. Человек именно тогда тупеет, кс мыслит, когда ничего не видит, не воспринимает, не ме Так что, стоять в очереди вовсе не значит терять время себе и размышляя; кто мешает думать... Хочешь не хочеш да что-нибудь слышишь и видишь... Не верите? Закройте Вот так... Ну как? Видите?

— Нет.

— И не слышите?

– Нет.

– Напрягите слух.

Где-то капало, доносился далекий шум проехавшей машины.

– Ну, слышите?

– Да.

– И даже если закроете уши, все равно что-нибудь представится, так уж устроен человек. Попробуйте...

Заинтересовался я, знаете, зажмурил глаза, зажал уши. Сначала ничего не было, только мельтешили в черноте пестрые точки, и назло респонденту я старался ничего не представлять себе, но вдруг передо мной отчетливо возник фотоаппарат на раскоряченной треноге, а когда я открыл глаза, то вздрогнул от неожиданности: невообразимо маленький, тщедушный юнец лет восемнадцати-двадцати – волосы зачесаны набок, невзрачный, проворный – яростно тер щеткой свой испачканный рукав. Я недоумевал – откуда он вдруг появился? – и респондент сказал: «Помощник мой, Клим». Как же я не сообразил – узенькая дверца была распахнута, я сидел, зажмурил глаза и зажав уши, и не мог, понятно, ничего заметить.

– Очень приятно, – бодро представился Клим, протягивая свою маленькую руку. Я подал свою, он пожал ее, глянув на мои пальцы: «Подтекает авторучка? Покажите». Я показал. Он сосредоточенно повертел ее, сдвинув брови, проворно достал из ящика пузырек, откупорил его, смазал ручку желтоватой жидкостью, подул, покрутил и вернул мне:

– Извольте, все в порядке.

А респондент заметил, довольный:

– Горит, так и горит у него все в руках. – И снова обратился ко мне: – Увидели что-нибудь?

– Когда?

– Закрыв глаза.

– Да, фотоаппарат.

– Вот видите, даже фотоаппарат запомнился... – И взгляд

его снова стал задумчивым. – А сколько романов, куда бог интересных, чем любой аппарат на свете. Ну, например, мож читали... О, их столько... О каком его спросить, Клим?

– «Мадам Бовари», – благоговейно произносит Клим.

– Да, хотя бы... читали «Мадам Бовари»?

– Э-э-э... Нет, – выдавливаю я из себя. Он же, глядя в уп спрашивает: – Поверите в мою искренность, если выражу в свое восхищение?

– Нет.

– Ну, тогда – мы лучше промолчим.

И даже Клим, этот молокосос, глядит на меня осуждаю и, хотя я редко краснею, чувствую, заливаюсь краской.

– Обязательно прочту.

– О-о, – произносит человек, кладя мне руку на плечо сразу меняется, смотрит ласково, с улыбкой – угодил я е одним словом.

7

И поскольку ему нужно было срочно отпечатать сним каких-то энергетиков, выпускников десятилетней давности, прошли за узенькую дверь и там, в красном полумраке, прод жали беседу, а он проявлял при этом снимки. Отвечал он кор ко, ясно, спокойно, я воспользовался моментом и задал ему мый сложный вопрос, на который обычно никто не мог ответ сразу: «Довольны ли вы своей жизнью?» – но он тут же сказ «Смотря с каким автором встречусь в этот день...». И разговоривали, а на белой бумаге, опущенной в раствор, прорисовывались чьи-то брови, губы, глаза, волосы. «Рождают – пошутил респондент. – Иногда такой интересный попадае тип, простите, ну... вроде вас. Ах, как вы похожи на Аурелиа до того как он растолстел, ну до чего похожи... Этот вот, – тронул пинцетом одного из «новорожденных», – выгля безобидным человеком, но представьте себе, попадаютс и зл

и негодяи, а самодовольных – не счастье. Есть, понятно, и добрые, сердечные... Выступаю ли на собраниях? Нет, во-первых, нас, фотографов, редко собирают на собрания, а если б даже каждый день проводили собрания, все равно не выступал бы – не могу одни и те же слова говорить людям разных знаний, разного нрава. Как можно одинаково говорить с двумя людьми, из которых один не читал, скажем... Клим, назови кого-нибудь из больших писателей... Да, не читал, скажем, Стендаля, а второй чуть не назубок его знает. Разве можно к этим двум обратиться одинаково? Клим, давай отпечатаем теперь вот этот негатив... Что же до следующего вашего вопроса – какая наука меня влечет? – то затрудняюсь ответить, в науках слабо разбираюсь. Можно сказать сперва, какую не люблю? Ну, хотя бы математику. Бог ты мой, чье это лицо, Клим, просто невероятно – что за самодовольство?! – И вглядываясь в мокрый снимок: – Ну чего он может стоять! Хотел бы знать, кто он, каков на работе, в семье... Клим, отпечатай его еще разок – повесим в ателье, на самом видном месте. Глядя на него, каждый поймет, как отвратительно самодовольство... Да, я говорил о математике... Известно, что математика считается точной наукой, но далеко не всегда она такова. Приведу грубый пример: есть у меня знакомый – с детства его знаю. С малых лет он жил в довольстве, баловали его, нежили. Вырос бедняга, но и тогда родители не лишили его привычных благ, а он, несчастный, все равно вечно был недоволен, чем-то неудовлетворен, и по сей день у него лицо голодного человека, именно потому, что он всегда сыт, а если ты всегда сыт, разве познаешь чувство насыщения, и знаете, что он надумал, что подсказал ему его праздный ум? Решил представляться довольным, придал лицу самодовольное выражение, совсем как вот у этого на снимке...

Клим внимательно слушает его и вдруг огорченно восклицает:

– Черт, передержал!

Оказывается, он вовремя не вынул из раствора снимок, и лицо на нем выглядит обугленным, а Человек, который очень

любил литературу, замечает: «Не беда, Клим, бумаги у нас сколько хочешь!». «Бумага-то есть, а чернить все-таки не следовало...» – сетует Клим. Респондент же, распознав в почерке снимке самодовольного типа, пренебрежительно бросает: «Подумаешь, беда, будто в академики его выбирали, а ты очернил!»¹ – и продолжает: – Так вот, о математике. Стоит, предположим, на улице этот набалованный субъект, самодовольный, рядом с ним... Клим, назови большого писателя, одного из великих... О-о, лучшего и не назвал бы! Так вот, стоят рядом великий испанец, гордый, оборванный, голодный калека и наш прескверный самодовольный болван, знакомый мой, это ничтожество которое я вам только что описал. Ничего, что они жили в разное время, и в ту эпоху встречались подобные... Стоят они, допустим рядом – мысленно вполне можно прогуляться в глубь веков, – мимо них проходит математик тех дней, посредственный или гениальный, неважно, и если спросят его – сколько человек стоит на улице, а он ответит «два...», то будет ли это верно, спрашивая вас?! Тот и этот составят «два»?! Один плюс один, да?! Нет, иногда даже математика не бывает точной наукой, а вот литературе, мой друг, подобная неточность исключена, хоть она и самая «беззаконная» наука. И слово «беззаконная» в данном случае означает совсем не то, что обычно. Никто не может сказать, что некогда по Испании разъезжали два всадника. Нет, один высокий, тощий носился, не ведая покоя, а второй – низкий толстый плелся за ним... Вынимай, Клим, вынимай, опять очернил? Что это с тобой?...» – и усмехнулся.

Стоим мы в полумраке, беседуем, я заполняю анкету.

– Есть ли у меня семья? Нет, семьи нет. Была невеста после нее не могу жениться. С женщинами иногда встречаюсь понятное дело, скрывать тут нечего, но жениться – нет, никогда не женюсь. Рассказать почему? Попробую... Мы так любили друг друга... Пусть бы променяла на кого угодно, на любого – или

¹ Игра слов: по-грузински «зачернили» значит «забаллотировали».

кого, неказистого интеллигентика или мужика с заскорузлыми руками, на музыканта или рабочего, пусть даже на физика-лирика – нынче и такая разновидность появилась, кстати, никак не пойму, что общего между физикой и лирикой, кроме окончания, – рифмуются хорошо, но нет, променяла меня на такого, какой мне больше всего претит – на самодовольного... Прошла с ним однажды мимо меня моя бывшая невеста – красивая таинственной непостижимой красотой, подобная слову «лазорева», а рядом с ней – мужчина с отвратительным выражением лица, как слово... «объелся». Я же стоял в стороне, лишний, как слово «значит»... О, вынимай, Клим, вынимай, наконец-то получился... Вот так мы стояли и беседовали...

8

Руководитель смотрит на меня пристально, даже очки снял. Смотрит в упор. Я характеризую анкету: ответ на каждый пункт обязательно связан с художественной литературой как таковой. Руководитель то слушает меня, то явно думает о своей будущей научной работе – время от времени он вскидывает голову, наклоня ее чуть вбок и выгнув одну бровь, и устремляет взгляд в неведомую даль. Лишь временами он живо восклицает: «А-га... а-га, хорошо, хорошо!». Я подробно знакомлю его с записанными ответами – названный респондент не любит математику, потому что писатель Сервантес плюс какое-нибудь ничтожество не составят вдвоем числа «два», то есть один плюс один, что невесту у него отнял человек, такой же отвратительный, как слово «объелся», что он не теряет даром ни секунды, так как и в битком набитом трамвае можно размышлять о литературе, – и добавляю: правда, лишь в узком смысле этого слова – только о художественной. Я излагаю руководителю все по порядку, и мы констатируем факты. «Не теряет, значит?» – тихим, таинственным голосом спрашивает меня руководитель. «Да, уверяет, что не теряет», «Это же замечательно, великолепно, вот это я понимаю –

индивид... А ты-то, понимаешь ли, на что мы натолкнулись? периметрически отчетливо выраженного индивидуума, способного ответить на вопросы, которые касаются куда более значительной сферы! И разве можно так просто отмахиваться от художественной литературы как таковой? Разве не служили художественной литературе с пером в руке Толстой, Герцен, э-э-э и целый ряд других всемирно известных писателей? Хорсхватит, — заключает руководитель. — Идем. Названный резидент поистине находка. — Он слегка возбужден. — Пошли, пока даем его, только бы застать...». «Застать — застанем, где ему быть, как не на...» «Хорошо идем...» — обрывает он меня резко

Мы шагаем по улице, двое, руководитель и я. И хотя волнуется, все равно ступает твердо, уверенно. Пальто лежит на его атлетической фигуре, волосы взбиты, взгляд проницателен, и весь он чем-то схож с орлом — сильный, смелый. Приятно, радостно идти с ним, вот так, бок о бок, плечом к плечу как равный с равным. Я мечтаю — повстречался бы кто из знакомых! Руководитель берет меня под локоть и делится планами действий — сначала он задаст респонденту несколько простых вопросов, связанных, разумеется, с литературой... Не вообще с литературой, а с литературой в узком смысле слова... Я вмешиваться в их беседу не должен, разве что обратятся ко мне — одно опрометчивое слово может все испортить... «Ясно?» — «Конечно, конечно...». Вот так. И смотреть на респондента в упор надо, чтоб он не смутился, не смешался. «Смутится, как же! горько усмехаюсь. — Мир перевернись, не смешается». — «Помогу?» — «Не знаю». «Это тоже интересно, — замечает руководитель. — И все же не смотри на него». «И не взгляну!» — «Нет, нарочитость тоже ни к чему... Не будем впадать в крайности, поглядывая на него время от времени». «Хорошо, буду поглядывать время от времени, — обещаю я. — Вот, пришли...» «... — руководитель стискивает мне руку повыше локтя. — Знаешь Тамаз, я обожду снаружи, а ты предупреди его, что с ним же побеседовать твой коллега, старше тебя по возрасту и выше

должностному положению. Если предупредить, он проникнется к нам симпатией, а я займу такую позицию, чтобы меня видно было из ателье. Все понятно? – И неожиданно меняет решение: – Хотя нет, зайдем вместе...».

9

Человек, который очень любил литературу, фотографирует основательно декольтированную, дрожащую от холода особу: «Нет, не так, смотрите вверх, вверх, говорю, еще выше, поверните голову чуть влево, не напрягайтесь, не волнуйтесь, пожалуйста. Вспомните что-нибудь приятное, ну что-нибудь в самом деле приятное, детство, например, беззаботное, вольное. Отбросьте себя назад, нет, не на спинку, мысленно отбросьте себя назад лет на тридцать... Э-э, на двадцать! Вспомните счастливое детство. Клим, скорей кассету! Плечи не мерзнут? Кассету, Клим, и давай сам вставляй – приучайся... О-о, Аурелиано наш пришел! Аурелиано до того как растолстел! Здравствуйте! Я не вам, уважаемая. Зачем кивнули? Испортили позу... Приподнимите голову, раскройте глаза пошире, напрягите веки, не так, не надо тарачиться, о-о! Вот так... Не волнуйтесь... А теперь вы слишком успокоились. Перестали вспоминать лучезарное детство? Вспоминайте... Вам не холодно? Превосходно...».

Долго еще возился он с клиенткой, я думал, конца этому не будет. А потом все, кроме меня, занялись чем-то, засуетились: фотограф шарит по карманам, шлепает себя по одежде, роется в ящике, Клим спешит выключить слепящий свет – пусть лампы отдохнут, возится с аппаратом. «Не знаешь, где мой карандаш?» – спрашивает его наш респондент: «Нет, – отвечает Клим, – в ящике был...». А руководитель тем временем, галантно улыбаясь, приближается к озябшей женщине, подавая ей пальто с пушистым меховым воротником. Он поднимает его вровень с ее оголенными плечами и говорит: «Наденьте, пожалуйста, простудитесь...». Прежде чем повернуться, чтобы продеть руки в

пальто, женщина охватывает его мгновенным взглядом, и теп даже по ее макушке – представляете! – по ее взбитым волосам заметно, что он ей понравился... «Нашли?» «Нет, Клим Человек расстроен. – Не знаю, чем выписать квитанцию «Очень замерзли?» – обворожительно произносит руководитель «Не-е, не очень», – говорит женщина. Хорошенькая она, пухлякая. «В ящике смотрели?» – «Да нет там». «Куда же он за пастился?» – огорчен и Клим. А руководитель: «Но теперь тепло?». Женщина стоит потупившись. Руководитель средним пальцем изящно отворачивает манжет своей красивой рубашки с важным видом смотрит на часы, а женщина, пользуясь моментом, еще раз окидывает его быстрым взглядом. Опустив голову, она уже точно знает, какие у него брови, губы, нос, и она ему нравится, ах, как нравится! Человеку же, который очень любит литературу; совсем не нравится, что карандаш исчез, он не знает как быть. «Ну вот, вы и согрелись, – продолжает руководитель. Вы никогда не должны мерзнуть, вам всегда должно быть тепло – И не сводит с нее глаз, ласкает глазами. Женщина прижимает щекой к меху воротника и будто избегает его взгляда, но он ищет ей, нравится, ах, как нравится, и не будь нас, они так бы кинулись друг к другу. «Может, у Аурелиано есть ручка?» вырывает Человека Клим. «А, в самом деле, – радуется тот, вдруг вспоминает: – Нет, его ручка подтекает. Может, у него найдется? – кивает он на руководителя, который, склонившись к женщине, улыбается, заглядывая ей в глаза. – Извините, нет у вас ру...» – но руководитель не слышит, увлечен... И тут же торопный Клим находит заложенный в книгу карандаш. Человек выписывает квитанцию и вежливо протягивает ее клиентке. Она собирается уходить – повязывается пушистым платком, – руководитель галантно распахивает перед ней дверь и помогает одолжить две невысокие ступеньки, подхватив под локоть: «Пока...». И остаемся вчетвером, двое против двух, но Человек еще не знает что мы пришли вместе, он принимает моего руководителя за посетителя и спрашивает: «Вам на паспорт или...», а руководитель

расплываясь в улыбке: «Нет, нет, я пришел со своим сотрудником...» «С Тамазом? – удивляется Человек и вдруг вспоминает: – А-а, вы его руководитель – молодой, волевой, энергичный, тот, что, по словам Тамаза, о-отлично начал?».

– Да, да...

И вдруг Человек изумленно восклицает:

– Клим, мне кажется или в самом деле?..

– Нет, не кажется.

– Поразительно! Какое сходство! Копия да и только!

– Чудеса! – дивится и Клим, хлопая себя рукой по бедру. – Удивительно, как похож!

– Я?.. На кого? – Руководитель смущен, но не подает виду и любопытствует, словно бы без особого интереса. – На кого-нибудь из актеров?

– Ах, нет, нет... – машет рукой Человек.

– На кого же?

– На героя книги! Бывает сходство, но такое?! Невероятно! Клим, да он вылитый Джанджакомо Семинарио! Неужели тебе это не бросилось в глаза, Клим?

– Еще бы, не бросилось – двойник его! – убежденно заявляет тот.

– Извините, кто это такой? – спрашивает руководитель, все еще не теряя самообладания.

– Старший брат маршала.

– Какого еще маршала?

– Как какого? Бетанкура, не его же! – И он указывает на меня, представляете?! И восторженно: – А знаете, кем вы доводите Тамазу, если верить сходству? Дедом!

– Как вас понимать?

– Джанджакомо был от Ариадны Карраско, так ведь? – призывает Клим на помощь память.

– Какой Джанджакомо, что за маршал?! – теряется руководитель. Растерянность, смущение – не описать!.. Всем неловко.

– А-а-а, понимаю, – произносит наконец Человек, который

очень любил литературу. – Вы не читали о Бетанкуре! Не чита-
да?

– Не-ет... – говорит руководитель, успокаиваясь. – К
нужда лгать... Это произведение такое?

– Ха! Произведение – и какое!.. И Льосу не читали? М
Варгаса... – Э-э... Нет...

– А Кортасара?

– М-мда... Нет.

И внезапно Человек энергично пожимает ему руку:

– Поздравляю вас, поздравляю, счастливый вы чел
счастливый...

– Почему? – недоумевает руководитель.

– Потому что у вас впереди огромная радость!

– Радость?!

– Радость первого прочтения! – поясняет Человек.

Но тут мой руководитель вспоминает про свой буду
труд, вскидывает голову, склоняя ее чуть вбок, придает
строгое деловое выражение, опускается на стул и, барабаня
цами по стеклу на столе, говорит:

– Позвольте задать вам несколько вопросов?

– Разумеется, пожалуйста. – Человек пытливо смотри
него и, обращаясь к Климу: – Повесть-ка это, чтобы не меш
«Это» – квадратный кусок картона с надписью по-грузинск
по-русски: «Перерыв».

10

История только начиналась, до этого были всего
цветочки.

Мы с Климом – как секунданты, руководитель и стра
респондент сидят друг против друга. Все готово: ручка – в р
анкета – развернута, респондент – само внимание, руководи
прищурился, разглядывает Человека и не спешит, нет. На
с сомнением смотрит Клим, я же с недоверием – на респонд

Двое против двух.

И руководитель начинает.

– Важнейшее, существеннейшее назначение данной анкеты не сможет быть реализовано на основе постановки традиционных вопросов, предполагающих учет условий быта... Следовательно, их следует заменить показателями комплексной урбанизации окружающего...

Но респондент прерывает его:

– Спрашивайте, пожалуйста...

– О чем спрашивать?.. – не понимает руководитель, слегка раздражаясь. Он не выносит, когда его перебивают. – Во-первых, вы не знаете, о чем я собираюсь спрашивать...

– Я и не говорил, что знаю... Впрочем, как же, знаю! Вы намерены, если не ошибаюсь, изучить мой досуг и мой же быт с целью улучшить его в будущем, не так ли?

– И задавать вам вопросы без всякого вступления, без подготовки?..

– Конечно, подготовку ведь Тамаз провел. Я даже знаю, что я – респондент, а вы – интервьюер.

– Хорошо, – холодно улыбается руководитель. – Итак, вы любите художественную литературу?

– Не скрою. И очень.

– Прекрасно... А журналы и газеты?

– Между прочим, это бессмысленное сочетание слов – «журналы и газеты», – недовольно замечает респондент. – Журнал – одно, газета – другое... Уму непостижимо, почему их увязали друг с другом, прямо-таки слили воедино.

– Н-да... А кто вам нравится из писателей?

– Который час, Клим? – спрашивает вдруг респондент.

– Без четверти четыре, – сообщает тот.

– О... Не успею их перечислить – до пяти работаем.

И вот именно тут руководитель в первый раз хмуро покосился на меня.

Потом спросил его:

– Как вы поведете себя, заметив в библиотеке, что кто-то берет книгу?

Думали, скажет: «Своими руками растерзаю, задую»
 респондент бесстрастно так: «Смотря какую книгу...».

Подобного ответа мы не ждали, не знаем, что сказать,
 Клим – восторженно: «Прекрасно, маэстро, замечательно!...».

– И тот, что с вами живет, тоже любит литературу подо
 вам?

– Кто, Гриша? Нет... Любить-то любит, понятно, но так,
 я, нет! Э-эх, и у него была своя проблема, свое увлечение, но
 впал в крайность, со всеми без разбору заводил разговор о се
 проблеме, а потом решил молчать... Молчит, эх, и настрои
 роля, настройщик он...

Тут руководитель второй раз хмуро покосился на меня.
 Но все же повел речь дальше, заговорил как всегда убе
 тельно, выразительно.

– Вы любите литературу – и это замечательно. Чтени
 одна из наицелесообразнейших форм культурного времяпре
 вождения, одна из форм, повторяю. Но чем не угодило вам,
 жем, изобразительное искусство, чем плоха прогулка на све
 воздухе или прекрасная музыка, каковой являются творе
 выдающихся композиторов... Да почему бы вам не ходит
 бальные танцы, не уделять время радио и телевидению с
 содержательными передачами на разнообразнейшие темы, по
 му бы не заняться каким-нибудь видом спорта, например, п
 матами, или чтением художественной литературы... – и тут
 спохватывается, – впрочем, чтением вы занимаетесь... Да, п
 маты исключительно хорошее занятие, и вообще...

Он умолк.

– Продолжайте, продолжайте, – неожиданно всту
 Клим. Учит руководителя! Указывает, что делать! Наглост
 какая! Хотя бы на человека походил, а то плюгавый короты
 головастик, сосунок кривоногий!

И возмущенный руководитель задает самый сложн

самый динамичный вопрос. Он снова решителен, непреклонен и целеустремлен.

— Скажите, как бы вы устроили жизнь, будь это в вашей власти?

— Мою? Лично мою?

— Нет, любезный, — победно уточняет руководитель. — Всего общества!

— Бог ты мой!.. — взволнованно вырывается у респондента. — Я не ослышался?.. Всю жизнь дожидался этого вопроса!..

— В самом деле? — поражается руководитель. — Вы размышляли над этим?

— Только этим и занимался, — задумчиво произносит респондент и вдруг оживляется: — Рассказать?.. Спрашиваете, как бы я устроил жизнь?.. — Он прохаживается взад-вперед, разглядывает фотографии на стене. У сильно декольтированных женщин, почти у всех, лица серьезные. Видимо, чтобы смягчить впечатление от их наготы, женщины в платьях с глухим воротом расплылись в улыбке. Есть и исключения — с декольте, но улыбаются, на лицах нескольких женщин наигранный трагизм, а вон на видном месте и мужчина, которого вчера трижды чернили. Там же фото молодого человека с недоброй ухмылкой, он тоже удачно выставлен — сразу бросается в глаза, а немного ниже — какой-то тип, пройдоха как пить дать. С соседней фотографии подозрительно смотрит мужчина с тонкими губами. Есть и добрые лица. Смеющийся ребенок... — Как бы я устроил? — повторяет респондент оживляясь. — Как? А вот так — весь город застроил бы изоляторами.

— Что?! — руководитель поражен. — То есть как это?.. Вы за тиранию?

— Нет, что вы, упаси бог! — Респондент улыбается, успокаивая его. — Это не будут изоляторы в обычном смысле, это будут изоляторы-люксы...

— Изоляторы-люксы?!

— Ваше удивление естественно, — соглашается респондент.

– Есть слова, которые с трудом сочетаются, в их ряду и эти «изолятор» и «люкс». И все же нет таких двух слов, как когда-нибудь да не увязались бы друг с другом.

Это были бы изоляторы-люксы с множеством книг, мягким удобным креслом, настольной лампой «грибок» красивом столике – одним словом, изолятор-мечта для каж. книголюба. Что поделаешь, не все способны читать в библиот. Для того, кто сам, своими ногами, ступит в созданное м. помещение, для того оно окажется просто люксом, но для мн. будет – изолятором-люксом... С этого, собственно, и следо. начать. Я и мне подобные, а мне подобные – это бесчислен. Клим – обходили бы улицы и... Вот стоят двое молодых ре. подпирают стенку. Стоят, болтают, поплевывают, никуда спешат, время их не интересует. Делом они не заняты, и без. лично им, сколько прошло времени, который час, день ли. ночь ли уже, стоят, задевают девушек, пристают с груб. шуточками, насвистывают, развлекаются на свой лад, угощ. друг друга пинками, скалятся. И тут-то мы, я и мне подобн. бац! – хватаем их и ведем в описанный изолятор.

– Насильно? – заинтересовывается руководитель и впе. что-то записывает.

– Да, да, насильно, – твердо говорит респондент. неумолим. – Возможно, и руки придется скручивать. Знаете, (верят во влияние семьи, другие полагаются на школу, тр. надеются на организации, кто-то – на силу коллектива, для в. то верное средство – побои и бог весть что еще, я же счита. мой изолятор-люкс самое надежное средство. Берем нашего 1 го бездельника и помещаем в изолятор-люкс. Он начинает (лело озираться – окна зарешечены, двери заперты... Снаружи стережет какой-нибудь Клим, устроившись на стуле с книго. коленях, а наш молодой герой оглядывает стол, стул, книж. полки, пока без всякого интереса, подходит к чистой пост. растягивается и глазееет на все вокруг. Потом взгляд его цепе. и он засыпает. Родителям его уже сообщено, конечно: «Не

покойтесь, пожалуйста, ваш сын посажен в изолятор-люкс». «Хорошо, дорогой, хорошо, только б перестал околачиваться на улице, отучился б, а там хоть...» Молодой человек просыпается, тупо смотрит на потолок, потом чувствует – проголодался... «Что вам принести поесть? – спрашивает из-за двери какой-нибудь Клим. – Чай, молоко, какао?...» «Давайте какао. А почему меня посадили?...». Но тот Клим на вопрос не отвечает, а говорит совсем другое: «Сколько положить сахара?» – «Четыре ложки. За что меня посадили?» А Клим: «Какой вы любите сыр – имеретинский, сулгуни?» – «Сулгуни. За что меня посадили?». Но Клим молча протягивает ему завтрак. Юнец принимается за еду, намазывает хлеб маслом, чистит яйцо и какое-то время занимается едой. «Не нужны ли сигареты?» – «Да, хорошо бы!» – «Мзиури», «Колхиду», «Люкс», что угодно, а развлечений – никаких! Ни радио, ни телевизора, ни телефона – это комната не только «люкс», но и «изолятор», между прочим... И наш юнец дымит, уставившись в потолок... А потолок расписан алфавитом: а, б, в, г, д... Хорошая идея, правда, Клим?

Что скажет Клим? – Разумеется: «Замечательная!».

– Потом подходит время обеда... Первое блюдо, второе, третье. «Вам салат с подсолнечным маслом, с уксусом или без?..» «Почему меня посадили, почему?». А тот: «Не твое дело!». И если юнец начнет тут шуметь, стучать ногами и руками, надо цыкнуть на него, и он примется за обед. Поев, он снова начнет глазеть на потолок, а на потолке – одни буквы. И вот тогда-то тот Клим скажет ему небрежно: «Можешь полистать какую-нибудь книгу, с той вон полки...». И молодой человек возьмет книжку. Сначала это будет детская, с крупными буквами, яркими картинками, скажем, «Про козла и Гигу», «Лиса и перепелка». Прочтет он по своей охоте, хорошо, а нет – приставленный к нему Клим категорически заявит: «Будешь сидеть, пока не перечитаешь все книги в шкафу и на полках».

– Но это же насилие! – говорит руководитель. – Конкретная личность по своей инициативе должна выбирать то или иное из

общественных меро...

– Я пока говорю о юнцах-бездельниках, дорогой, – поясняет респондент.

– Ну, какое я имею право хватать, скажем, безобидного мика и помещать... – но вдруг, глубоко задумавшись, заключает – А вообще говоря, и необразованному химику не помешало бы черт побери...

11

– Хм! – руководитель нервничает, он явно сбит с толку. Проводит ладонью по щеке, подбородку – проверяет, выбрит ли. Взгляд его падает на Клима. – Хорошо, но чем провинился некий Клим?.. Он-то за что осужден целый день стеречь бездельника и прислуживать ему?

– Во-первых, я упомянул о раскрытой книге на коленях того Клима, а во-вторых, всегда можно занять себя каким-нибудь невинным развлечением.

– Каким, например?..

– Ну, хотя бы игрой в слова.

– В слова?

– Объясню вам. Возьмем, допустим, нашего Тамаза. Кем у вас числится?

– Младшим научным сотрудником.

– Превосходно. А кем был прежде?

– Лаборантом.

– А-а... И вы повысили его?

– Да...

– Ага! Следовательно, в данном случае перевод в «младшего» означал повышение?

– Совершенно верно.

– Так вот, мы получили примечательное выражение – «младшен научсотрудникнули».

И тут мой руководитель третий раз хмуро покосился

меня.

– Теперь возьмем обратный пример. Предположим, Тамаза понизят – снова переведут в лаборанты. Как он выразит это сам?

– Я опять стал лаборантом, – отвечает за меня руководитель.

– Нет, не годится, не выражено понижения.

– Понизили, перевели в лаборанты.

– Покороче.

– Перевели в лаборанты.

– Еще короче.

– Понизили.

– А где «лаборант»? Одно-единственное слово должно содержать и факт понижения, и должность.

– Одним словом невозможно.

– Почему же?...

– Попробуйте сами, если возможно.

И Человек говорит:

– Великолепное получим слово – «повлаборантили!» Видите, возможно, оказывается. Вот так и коротал бы время, играя в слова, некий Клим.

А Клим: «Браво, маэстро, замечательно!».

Ах, руководитель...

В четвертый раз метнул он на меня хмурый взгляд.

Молчим. Клим восторженно взирает на респондента. Респондент задумался, задумался о своем и руководитель. Один я не знаю, чем заняться, тереблю галстук и повторяю ужасное, страшное слово «повлаборантили»... Надо же было нарваться нам на такого... Что мне стоило пройти мимо... Но откуда было знать... А теперь поздно, руководитель заинтересовался им, хотя, по-моему, и сам раскаивается, что явился сюда, и все же – волевой, энергичный – продолжает разговор:

– А как бы вы подбирали литературу?..

– Вначале каждый сам бы мог выбирать, с чего начать, хоть с Сименона, хоть с подшивки нашего «Крокодила», но вообще

лучше всего с Жюль Верна. Главное – научиться сперва сидеть книгой за столом, удобно вытягивая ноги или скрещивая их у стулом, научиться листать книгу, проглядывать содержание, а после – предложим ему... Ну-ка, Клим... Да, «Трех мушкетеров» Марка Твена, которого лично я, что делать, – хоть убей, люблю, О' Генри... Потом познакомим с более серьезными писателями. Клим, подскажи двух. Отлично – с Джеком Лондоном и, разумеется, с прозой Гюго, называемой романтической и очень-то легкой для чтения. Затем мы дадим небольшую передышку – подкинем «Всадника без головы», «Айвенго», например... А после этого, Клим, давай одарим его радостью встречи теми великими писателями, которые так удивительно легко читаются!.. Да, да, Мериме, Чехов... Еще одного! Правильно, правильно, дадим читать Мериме, Чехова и Мопассана, а там пусть будет и рискнуть, дать что-нибудь посложнее, только не роман, романа он еще не осилит. Сначала рассказ, Клим... Нет, нет, вези ему до «Смерти в Венеции», что ты, друг мой! В общем, что-нибудь в этом роде, но более доступное, а потом опять сравнительно легкое, сравнительно, говорю, чуть старомодное, ну как бы Диккенса...

– О-о, Диккенс – хорошо, прекрасно, – обрадован руководитель. – Давида Копперфильда!

– Вы полагаете? – респондент явно иронизирует, руководитель доволен собой, не замечает этого.

– Разумеется! Чудесно почитать иногда в теничке Диккенса...

– Иногда в теничке Диккенса и кое-когда Толстого? – иронизирует над руководителем Клим, эта пигалица, этот недоросль, слюнтявый, а респондент говорит:

– Нет смысла перечислять дальше, хватит пока и этого. Теперь надо присмотреться к юнцу, понаблюдать, с каким восторгом лица он читает... И если достаточно увлечен чтением, выпустим его.

– А как вы определите – увлечен он книгой или нет?

- По выражению лица.
 – Ну и что у вас выйдет?
 – Из кого?...

– Из вашего молодого человека?

И тут респондент торжественно объявляет:

– Выйдет еще один Клим.

Некоторое время мы все молчим, потом руководитель настойчиво продолжает:

– Ну и что дальше, что из этого выйдет?

– А что еще должно выйти, милый мой, выйдет человек, который очень любит литературу.

– Литература, литература! – раздражается руководитель. – Подумаешь, какая важность!

– Что, что?! – респондент потрясен. – Неужто и это надо объяснять?

– Попытайтесь, я весь внимание!

– Попытаться? – респондент задумывается, смотрит ему в глаза. – Попытаться? В таком случае объясню вам сперва примитивно, в доступной форме: после чтения любого настоящего рассказа становишься чуть лучше, чем есть, чуть разумней, чем был, и между прочим, – тут лицо его проясняется, – я все более убеждаюсь, что это человеку необходимо. – И лицо его омрачается. – Это, как я сказал, примитивное объяснение, но вполне достаточное, – становишься лучше... Теперь попробую пояснить вам более сложно...

Он расхаживает по комнате...

Шагает взад-вперед...

Тишина.

– Из всех звуков на земле я выделил бы один, – тихо, сдержанно начинает респондент, – самый страшный, самый горестный, невыносимый, потрясающий и не знаю еще какой – стук

первого кома земли о крышку опущенного в землю г
Вспомнили, да? Глухой, нестерпимо распадающийся... Но да
без него, не вспоминая о нем, просыпаешься вдруг посреди
и во тьме, очнувшись внезапно от сна, с поразительной ясно
представляешь себе смерть, которая, будьте покойны, явит
это одно-единственное, что ты знаешь доподлинно, в че
сомневаешься, и тем не менее днем, на солнышке, охо-х
людях как вы оживлены и веселы, моетесь, шумно фырк
завтракаете, мощно жуете свою ветчину, словно она железн
выходите из дому, встречаетесь друг с другом – одни из
быть старшими, другие считаются младшими, только равног
не находится – это среди вас, среди большинства, кого мы
сим к числу «поздравляемых», а вы уже знаете, кого мы им
виду – тех, кому еще предстоит огромная радость первого
тения, ну а что разделяет меня и Клим? Считайте меня
главным директором фотоателье, а его лишь младшим по
ником, мы – равны, мы одно и то же, потому что очень ли
литературу и в отличие от вас, от «поздравляемых», нисколь
стремимся к продвижению-выдвижению и смерти боимся
меньше, потому что умирали множество раз и все – ах в
пережили, бывали королями, рыцарями, сражались деревя
мечом во имя добра, и лавровым венком венчали нас, и терн
венцом, устилали нам путь пушистым ковром, усыпали цве
но и босиком заставляли ступать по горящим углям. Случ
нам чесать языком на досуге, болтать о чепухе, а случал
долго молчать, стиснув зубы, оберегая чужую тайну, но тот
тот звук, эх, все равно доносился до нас. И хотелось про
много жизней, прожить разной жизнью, и мы, склонивш
наших комнатах над книгами, какой только смертью ни ум
– тонули в море, падали, сраженные, всходили на эшафот и
койно умирали в постели, избежав опасности, гибли, окр
ные, рядом с отважным кошачьеглазым Эль Сордо и сами у
ли других, а потом раскаивались, о-о! как раскаивались!.. Це
ли землю, и к нашим губам прилипали ее священные кру

поднимались отомстить, бродили, кружили по извилистым тропкам, мокли под дождем. О, под разными дождями, но, по-моему, Клим, лучше всего дождь шел у Бунина, легкой грустью ложился снег, а лед был гладкий, сверкающий, скользкий!.. Но тут глухой стук все равно доносился, все равно стоял в ушах. Чуть свет выходим мы из дому – люди на улицах ранним утром странные, заспанные, но и в измятых, тоскливых лицах ощущается какое-то смутное желание, затаенная неясная сила, и надеждой западает в душу чье-то «здравствуй», и бродишь по улицам без цели, без повода, потому что влюблен во все, и хоть безмерно ценишь человека, все равно стремишься порой остаться один, побыть наедине с собой и вспоминаешь, что еще можно прогуляться за город, что есть еще дремучие леса и глубокие пещеры, где можно долго просидеть на корточках во мраке, в сырости, а потом, выбравшись на солнце, заморгать от слепящего света и, заново родившись, сказать себе – мир велик и прекрасен... Эх, человек, океан ты, океан, полный гибких рыб, то неистово бушующий, то безмятежный, умиротворенный, но в глубине твоей лениво кольшутся пестрые мысли-растения. Океан, ты нежишься на солнце, а ночью, внезапно очнувшись, снова и снова думаешь о смерти и чувствуешь – испаряешься постепенно, испаряешься, и в конце концов испаришься весь, иссякнешь и твои рыбки тоже испустят дух... Но как бы ты ни отчаивался и ни падал духом – твоим упрямым рыбкам все равно нужна пища, и мы опять носимся по свету, по просторам благословенной земли, и бог ты мой – что мы только не пережили! Не говоря уж о чем другом, сколько раз влюблялись! Куда до нас Марания и Тенорио – главные Дон Жуаны это мы – я и какой-нибудь Клим. Дон Жуаны – читатели. Ах, кого мы только не любили – живую неугомонную Наташу, самозабвенно, в первых трех книгах, а в четвертой, что делать, – охладевали к ней, любили Сонечку, святую, чистую, оболганную, Тонку, тихую, безответную, далекую и все же до того близкую, до того... и с такой болью Эме Танатогенос, и даже негодницу Эмму Бовари... Антонию, мою бедняжку, особенной любовью,

остро, мучительно, и плясавшую в дыму Селину... Клавдию, дую госпожу Шошу и Пилар, Пилар Тернеру – в непроглядной тьме, пахнущую дымом, и Мзию, Мзию Чинчараули, хевсу эх, ее не то что я, стены, лестницы, вещи обожали. И кто сколько еще... Где я не бывал, какие края не обошел... Кривым ножом мачете рубил колючий кустарник – каатингу, преследовал в океане белого врага и, кажется, любил его, мечтал о его вершине и как пытаем был за это!.. У кошки, говорят, девять жизней, но сколько жизней, сколько разных жизней прожил я, любивший все это! А вас, «поздравляемых» интервьюеров, зает вопрос – сколько минут теряю я в очереди за вермишею когда, возможно, именно в те самые минуты бог весть где таюсь в воображении... Великолепный дар – зрение, но со иной – фантазия – стоухая, стоглазая, и трудно сказать, кто действительно побывал в Перу и Нигерии – я или моряк, объездивший весь мир.

— А Нигерия откуда вам известна? – не отступает руководитель, лоя, как мне кажется, респондента на слове, но тосмущается:

— В Нигерии, любезный, три отличных писателя: Шийонка, Чинуа Ачебе и Габриэль О' Хара.

Нет, невозможно с ним беседовать, и хотя руководитель больше не косится хмуро в мою сторону и даже избегает моего взгляда, я все равно чувствую – все в нем клокочет, и вспоминается ужасное, страшное слово «повлаборантили». Человек преспокойно продолжает:

— Быть читателем – это само по себе чудо, читатель тот, кто может, например, уместиться между влюбленными без того тесном спальном мешке и не оказаться лишним. Это чудо, и скажу больше – не только не оказаться лишним, но и необходимым, потому что так пожелает автор.

— Что пожелал автор? – недоумевает руководитель.

— Чтобы оказался с ними в мешке...

— Почему пожелал?..

– Потому что – надо было.

И говорит:

13

– Есть что-то общее, думается мне, между вином и книгой и то и другое дает ощущение так называемой свободы личности. Но в одном случае свобода – разнузданная, неприглядная, унижительная, порождаемая безответственностью, другая же – возвышенная и возвышающая, всемогущая, понимаете? О, с каким удовольствием заточил бы я в свои изоляторы-люксы пьяниц, а уж вслед за ними отправил бы туда крупных дельцов, не мелких хапуг, а крупных махинаторов, и знаете почему? Не представляете, как я сочувствую им! Не считайте их счастливыми, а главное, дорогие, не завидуйте им – как бы они ни задавались, как бы ни заносились, все равно каждый день их омрачен, отравлен, потому что есть миг перед сном, мимолетный миг, когда все мы видим себя в истинном свете, без прикрас... Не завидуйте и тому, что в преизбытке у них любые яства, – потому что, основательно набив утробу, они смутно жаждут чего-то еще, и невдомек им, что это что-то – лук да хлеб! Мы, читатели, не завидуем их богатству, потому что Дон Кихот более реален, чем все перстни и все шкафы на свете. Между прочим, к слову сказать, физикам никогда не создать «перпетуум-мобиле», а литература уже создала вечное – это «Дон Кихот»!.. Так вот, поместил бы я всех этих дельцов в изоляторы-люксы и заставил бы начать с алфавита, они, конечно, грамотны, но вся суть в методе последовательности, и держал бы их в заточении, пока при чтении «Рассказа косуленка»¹ им не шашлык бы вспоминался, а кое-что куда более нужное и значительное...

– Во-первых, – обрывает его руководитель, он раздражен, –

¹ Рассказ Важа Пшавела.

откуда вам знать, какой писатель великий, а какой – нет? И века проходят, пока это выясняется...

– О-о! Воистину хороший вопрос, интерес ваш в естественный, сейчас поясню... С чего бы начать?.. Что и рить, есть слабые, мелкие писатели со своими безжизненными безликими персонажами, нужными нам, как... Клим, под сравнение, посочнее. О-о, Клим, придумаешь же! Разумеется среди писателей, как и везде, попадаются охотники за выгодичью, которая легко дается в руки и шкурку имеет ценную: если ты настоящий читатель, то прекрасно разберешься во ибо есть писатель отважный, удивительно спокойно, самченко идущий на риск, – дрессировщик, сующий голову в льву, не в пример дрессировщику, заставляющему прыгать обруч маленьких кудлатых собачонок с бантиком на шее, но и истинные укротители, способные подчинить своей воле во ведь его не то что приручить нельзя – за хвост на миг ухватить куда трудней, чем сунуть голову в пасть льву! И что с того схватившийся с волком порой оборван, как нищий, и даже с жен, а дрессирующий собачек выряжен в блестящий гусамундир? И если угодно знать, каков мой идеал писателя, с мой идеал – гордый оборванец верхом на волке, с орлом на и хотя, говорят, и орла нельзя приручить... И скажу вам, на просто и понятно – великий писатель тот, кто создает великое произведение...

– А во-вторых, – опять обрывает его руководитель разозлен, – откуда вы знаете, какое произведение великое, а – нет?

– У меня, милейший, – респондент странно улыбается свой необычный фиксатор-определитель, с ним не сражается точнейшим приборам и измерителям: если я читаю что-то действительно значительное – все ли произведение или мет из него, повторяю, если истинно значительное, – гусиной покрываюсь! Не верите? – респондент засучивает руку произнося «Дон Кихот», показывает руку – что правда, то и

Мой руководитель не сдаётся, находит новый вопрос:

– Мне непонятно, между прочим, каким принципом вы руководствуетесь, называя писателей и перечисляя этих якобы любимых вами женщин. Какому следуете принципу – хронологическому как таковому или алфавитному... а?

– Боже правый! Что он говорит, Клим! – респондент звонко хлопает себя ладонью по лбу. – Что общего, откуда и куда – любовь и алфавит! Мать честная! Вот кого поздравлять и поздравлять, Клим! Редчайший тип «поздравляемого»!

– Да его не поздравлять – качать надо, как олимпийского чемпиона! – восклицает Клим.

– Попрошу быть немного вежливей, – руководитель разъярен. – Что вы пристали с этой вашей литературой! Так и я могу вас удивить, ну-ка скажите, что вы знаете о моей науке и ее блестящих представителях, кто такие Эмиль Дургхаим и Макс Вебер или Парсонс и Мертон, что вы слышали о Парето и фон Визе, – руководитель разошелся, я ликую. – Кем были Шепанский, Бекер и Питирим Сорокин?

– Что ж, оставим литературу, – говорит респондент. – Вы совсем позабыли, что я не литератор, а фотограф, и с такой амбицией перечисленные вами фамилии перечеркну именами корифеев фотографии: что вы слышали, к примеру, о великом Луи Дагерре, что скажете о достижениях Карла Цейса и Иоффе, какая связь между фотографией и полиграфией и что изобрел Эрнст Лейтц? Какая должна быть выдержка при такой погоде, как сейчас, например, и какого вы мнения о Максе Алпурте? Какие работы Родченко, Микулина и Тиканадзе вам нравятся, – и вкрадчиво: – А?

И тут руководитель пятый раз хмуро покосился на меня.

О, какое уродливое, страшное слово – «повлаборантили»...

– И все же, и все же я вынужден признаться, – респондент грустно смотрит на руководителя. – Не верю я в возможность создания моих изоляторов-люксов, не потому, что не стоит их создавать, нет... И не правда, будто перестанешь бояться смерти,

если многое повидаешь и многое переживешь – наоборот, «тяжелее станет расставаться с жизнью, но будешь знать, по крайней мере, что жил полной жизнью, повидал весь мир. И человек вроде меня, возможно, молвит, лежа немощный на смертном одре: «Эх, хороша была, черт возьми...», а человек вроде здоровый, возможно, спросит злорадно: «Что – жизнь или литурга?». А я... угодно знать, что скажу я в ответ?

– Что вы скажете?.. – спрашивает мой руководитель. Смятении.

– А я отвечу: «Разве это не одно и то же?».

– Замечательно, маэстро! – восхищен Клим, респондент продолжает:

– Я все-таки старался не показать вам, «поздравляем» свое полное превосходство и ни звука не проронил о поэзии – дил вас... потому что наша маленькая Грузия – одна из великих могучих держав на поэтической карте мира.

– Поэзия, поэзия, подумает, какая важность! – говорит руководитель, лицо его покрывается пятнами.

– «Ребенок упал на улице, в пыль...» – шепчет респондент – Что может быть горестней этого? Поразительна сила поэзии

– Упал, упал, – злорадно говорит руководитель, – великая беда, если упал! Он упал, а добрые прохожие окажут помощь. Кто из нас не падал в детстве, но при содействии положительных прохожих мы снова становились на ноги. Подумает, какое дело

– Боже правый, что он несет! – руки респондента взлетят. Ты слышал, Клим? Какая дикость! – и взволнованно спрашивает – Вы могли бы повторить?

– А почему бы и нет! – не отступает руководитель непреклонен.

– Клим! Умоляю, Клим, сбегай в двадцать третий номер Вано. Не застанешь его – вот мой паспорт, возьмешь под залог кого-нибудь магнитофон, на десять минут. Запишем эту фразу тотчас вернем! Беги, Клим, держи паспорт, – он крайне возмущен, но при этом вроде бы шутит. – Магнитофон! Полцарств

магнитофон, Клим! Так выразиться – о господи! – «при содействии положительных прохожих!..» Живо, Клим, лети!

тесн – Не беспокойтесь понапрасну, – говорит руководитель, голос его дрожит. – Мы уходим.

эдез Он встает, встаю и я, идем к выходу, поправляем галстуки, надеваем пальто, а респондент – без пиджака, в одной рубашке – спрашивает остаться, умоляет, но руководитель все так же непреклонен, решительно тянется к ручке двери и шестой раз хмуро косится на меня, а респондент же – о дерзость! – предлагает теперь сфотографироваться: «Пожалуйста, прошу вас, для моей коллекции – это и будет снимок века – вместе, на одном фото, полковник Джанджакомо Семинарио и Аурелиано толстый до того как растолстел!».

– Но руководитель в ярости грубо отстраняет умоляющего нас Человека, и тогда тот направляет на нас объектив своего большого треного аппарата, подбегает к столу за кассетой, однако руководитель кричит: «Не желаем сниматься, слышите, не желаем!» – и железными пальцами, как клещами, стискивает ему запястье. У Человека, который очень любил литературу, лицо искажается от боли, кассета падает на стол, а мы с руководителем – нет, сначала руководитель, а за ним уж я – выходим на улицу. Человек следует за нами с аппаратом в руке, не с большим, на штативе, а с маленьким – то ли ФЭДом, то ли «Зорким» или как они там еще называются – и нацеливает на нас. Руководитель высоко поднимает воротник пальто и прячет лицо, я стою растерянный, уронив руки, и волнуясь, волнуясь – вот-вот на меня нападет зевота, руководитель придвигается к кирпичной стене и чуть не прижимается к ней лицом. И стоит так у стены – одной рукой прикрывая воротником лицо, другой надевая свои темные очки, а Человек, который любил и так далее, зовет Клима. Клим, разумеется, тут как тут. Человек протягивает ему аппарат и хватает руководителя за плечо – такого сильного, энергичного! – намереваясь повернуть к себе, – представляете?! Я удивляюсь – почему руководитель, настоящий атлет, да еще разгневанный,

разъяренный, не двинет его как следует, но тут же соображает: нельзя ведь среди бела дня, на улице заехать респонденту физиономии, как бы он тебя ни разозлил, потому что это будет уличным инцидентом, а кого устраивает инцидент?! Респондент же все тянет моего руководителя, пытается повернуть к нему лицом. А вокруг нас, хотя улочка тесная, тихая, уже собираются редкие прохожие, выглядывают из окон – любопытное, все являем собой зрелище; 1) атлет в темных очках, уткнувшийся спиной в кирпичную стену с поднятыми руками, 2) ухватившийся за рукав пальто человек – зимой! – в одной рубашке, 3) я, молчаливый человек, беспрестанно зевающий от волнения и 4) маленький Клим с аппаратом в руке, припавший на колено посреди улицы! Конечно, нас принимают за хулиганов, бандитов, кулянтов или как минимум за нарушителей уличного движения: кого еще насильно фотографируют на улице! Клим упорно ждет, полуприсев, и руководитель находит выход – боком отходя от стены, не отворачивая от нее лица, продвигается в направлении к нашему компетентному учреждению, и из угла здания к нему я тоже бочком пробирюсь следом, но вдруг слышится ужасный горестный вопль респондента: «Горе мне! Клим: шина задавила!».

Мы резко оборачиваемся, потрясенные, и не успеваем понять, в чем дело, как Клим вскакивает на ноги – какая машина никакой машины! – и осторожно закрывает аппарат, из которого секунду назад раздавался нестерпимый для нас, обернувшись к Климу, и желанный для них: «чхак!...». А Человек, который любил литературу, и его помощник Клим, немного смущенные тем, что добились-таки своего, бегом скрываются из виду.

А началось все это с того, что руководитель вызвал меня и сказал: «И поэтому особое внимание должно быть направлено на досуг жителей поселка городского типа, сфера которого охватывается, во-первых, тем, что он является одним из факторов формирования человека, являясь компонентом его жизни и

1969-1977

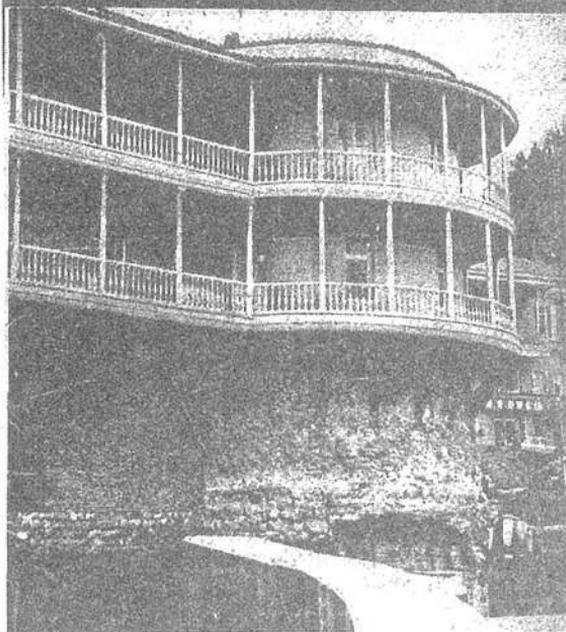
дения, во-вторых – исследование подобного рода дает нам возможность...».

Повлаборантили...

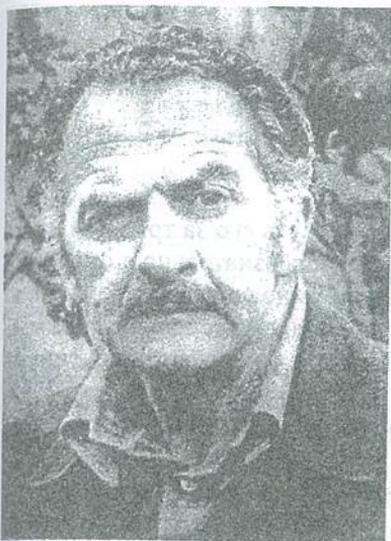
Перевод Элисо Джалиашвили

1976, № 1

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГРУЗИЯ 1
1982



1977 – 1982



Гурам Леванович Асатиани (1928-1982) родился в Тбилиси. Критик, литературовед, доктор филологических наук.

Окончил факультет западно-европейских языков и литературы МГУ им. Ломоносова. В 1952-55 гг. – аспирантуру Московского педагогического института. С 1955 года в грузинской и русской прессе публикуются критические статьи об актуальных проблемах современной литературы. Его перу принадлежат монография о творчестве Николоза Бараташвили и литературные портреты Галактиона Табидзе, Тициана Табидзе, Паоло Яшвили, Георгия Леонидзе, Симона Чиковани, Ираклия Абашидзе, Гурама Рчеулишвили. Автор книг: «Поэзия и поэты», «Грузинские лирики», «Критические диалоги, портреты, эскизы», «Крылья и корни», «От «Витязя в тигровой шкуре» до «Бахтриони», «У истоков» и т.д.

С 1965 года руководил отделом новой грузинской литературы Института грузинской литературы им. Шота Руставели, в 1977-1982 годы – главный редактор журнала «Литературная Грузия»

*Тамаз Натрошвили***Гурам Асатиани**

Был 1982 год.

Гурам Асатиани умирал...

В последний раз мне довелось увидеть его за три месяца смерти: чего уж скрывать, каждый раз подсознательно я отвал встречу. Тяжело было смотреть на умирающего Гурама Асатиани. Хотелось, чтобы в памяти он остался здоровым, горю влюбленным в жизнь, а не прикованным к постели обреченным больным.

Но одним мартовским воскресеньем я пересилил себя и отправился в больницу...

У постели больного дежурила мать, калбатони Тина не сразу узнала меня (я отпустил тогда бороду). Потом вошла ко мне банку ананасового компота, сняла с нее газету, в которой она была неловко завернута, и поставила на тумбочку у изголовья кровати. Гурам взглянул на «подношение», и я вздрогнул, как от шестым чувством поняв, что он сейчас произнесет. Он ошибся. «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй», – с усмешкой продекламировал он Мандельштама, и я почему-то подумал, что других ему, возможно, уже не обмануть, но только не самого себя. Его голос доносился с неба, из могилы. Он понимал, что это его последние дни. Ему оставалось каких-то три месяца (которые для умирающего человека – как три века), и он должен был прожить это скупое отмеренное время в муках и страданиях.

«Грузинский характер никак не может смириться со смертью», – писал Гурам Асатиани в своей книге «У истоков».

Сам он был плоть от плоти грузином, и, естественно, мысль о «неотвратимой дани» (как в древней Грузии называли смерть), которую ему до времени предстояло заплатить, была для него нетерпима. Он страстно хотел жить и согласен был быть прикованным к постели, но только бы жить. Пусть это тело наполовину безжизненно, но мысль ведь по-прежнему ясна и остра, и жажда творчества не угасла.

Двумя днями раньше младший друг Гурама, окрыленный едва заметным улучшением его здоровья, говорил мне, как утешающийся, хватаясь за соломинку: если случится чудо, и Гурам поправится, клянусь, я уверую в Бога — значит, он действительно есть где-то там, на небесах, и временами вмешивается в наши дела.

В мой последний визит Гурам мало походил на умирающего — он полусидел в постели, не утратив присущей ему элегантности, и лишь лицо выдавало муки, что ему приходилось переносить. И все-таки это был не умирающий, а просто тяжело больной. И не знаю я, какой беспощадный приговор вынесен ему, ни за что не поверил бы в приближение конца.

Калбатони Тина хлопотала возле него, готовила завтрак, время от времени вмешивалась в нашу беседу. Потом и меня угостила, словно я к ней в гости пришел. Протянула бокал вина, я выпил за здоровье Гурама и добавил: «Чтобы в скором времени мы вот так посидели у тебя дома». Я едва выдавил из себя эти слова, потому что знал, не сегодня-завтра Гурам действительно вернется домой, но вернется всего лишь на несколько дней, чтобы затем отправиться в «вечную страну».

Я смотрел на калбатони Тину, хлопотавшую над сыном с безмятежным лицом, и мне вспомнились строки хевсурского стиха, которые Гурам Асатиани приводил в своих «...Истоках», рассуждая о свойствах грузинского характера: «Испустил дух перед матерью с улыбкой на устах, разметал пред нею кудри, смешанные с мозгами».

Этот народный стих был неизвестен мне, позднее уже я

наткнулся на него в сборнике «Пшав-хевсурская поэзия», составленном Алексии Очиаури.

Гурам как будто накликал беду на свою голову, когда при «...Истоки» – трагизм хевсурского стиха выпал на его долю: маска, – говорил он об этих строках. Нам кажется необычно, что можно терпеть боль «с улыбкой на устах», как терпел ее хевсур, нам не верится в это, как не верил Иван Карамзис бескорыстную любовь к ближнему. Стало быть, мы сомневаемся в существовании души?

Не знаю, имел ли Гурам Асатиани какой-либо другой вариант упомянутого стиха, или он сознательно смягчил парадоксальную картину, написав вместо «со смехом на устах» (как в оригинале) – «с улыбкой на устах». Ведь и предложенный им вариант не менее страшен. Неужели его ужаснуло, что хевсур урал на глазах у матери со «смехом на устах»?

А сейчас он сам исполнял эту роль, и мне не кажется, это была маска. Если и была, то «вылеплена» она из мощной духовной твердости.

Два часа я провел у постели больного. Мы знали друг друга вот уже двадцать лет, но я не принадлежал – увы! – к числу близких друзей. Если сложить время наших кратких бесед, встреч в редакциях или на улице, в общей сложности набегает два часа. А сейчас судьба подарила мне еще два часа с человеком, своей физической и духовной жизнью олицетворяя на мой взгляд, многообразную природу Грузии.

О чем только мы с ним не говорили, казалось, не осталось вопроса, который мы не затронули, но ввиду внутреннего напряжения, владевшего мной, я почти ничего не запомнил. Говорил увлеченно, а меня сверлила одна-единственная мысль: не беспокою ли я его своим разговором.

У изголовья лежал сигнальный экземпляр только изданных «...Истоков». Преодолев стеснение, я сказал: – Ты знаешь, как трудно достать хорошую книгу, так что не забери меня, когда тираж будет готов. Он ответил: – Как я могу за

тебя, братишка?! – Так по-домашнему он обратился ко мне в первый и – увьи! – в последний раз. (Через полгода после смерти Гурама калбатони Тина подарила мне эту книгу со своим автографом и в конце дрожащей рукой приписала: «От Гурама»).

Я боялся утомить его. Не давал ему говорить. Пытался развлечь, вспоминая почти все смешные истории, какие случались со мной в жизни.

Но Гурам снова завладел разговором, и тогда я осмелился сказать ему: ты утомишься, лучше молчи, а говорить буду я. Он от души рассмеялся и спросил со своей неповторимой теплой иронией: – А как ты скажешь то, что я хочу сказать?!

Я вышел из больницы, одолеваемый горькими мыслями о том, как мелкие неприятности порой казались мне почти трагедией, а тут я два часа беседовал с человеком, прекрасно, как мне кажется, знавшим о приговоре, вынесенном ему, и несмотря на это не утратившим бодрости и силы духа. Он сражался со смертью поистине рыцарски, ни на мгновение не выдавая своей физической беспомощности – как видно, дух пока властвовал над плотью. Приговоренный к смерти прежде времени, он жаждал жизни как никогда. Всем своим поведением, своим мужеством он восхитил меня и в то же время устыдил. Будучи практически здоровым человеком я позавидовал силе его духа. Одним словом, Гурам Асатиани преподал мне наглядный урок мужества.

Радость, которую я испытал от общения с ним, смешивалась с огромной болью.

«А как ты скажешь то, что я хочу сказать?». Сколько невысказанных мыслей унес он с собой в могилу, сколько осталось недосказанного.

«Я лишь заглавие книги, мое время – страница, которую предстоит написать» – надеюсь, я не буду превратно понят, цитируя эти строки Симона Чиковани. Значение и ценность созданного Гурамом Асатиани бесспорны, но с творческой точки зрения лучшее десятилетие (а возможно, и двадцатилетие) было ведь еще впереди...

Делая попытку разобраться в грузинском характере, Г. Асатиани писал в «...Истоках»: «Для решения этой проблемы необходим был бы согласованный труд нескольких ученых штаба не менее чем Иванэ Джавахишвили (историка, филолога, социолога, антрополога, этнографа, психолога, лингвиста, историка, истововеда, исследователя и теоретика литературы). Я коснулся лишь нескольких аспектов этой фундаментальной проблемы, то в пределах моих весьма ограниченных знаний и компетенции...»

Читаешь «...Истоки» и четко ощущаешь, как рыцарская душа Гурама Асатиани проецируется на его мысль. Он словно создает автопортрет, который питают образы предков, шт древних портретов, сохранившихся в нашей литературе и истории, дошедших до наших дней.

Да, ты все должен воплотить в себе, все – твои, все есть обо всех ты должен позаботиться и заставить говорить. Зураб Эристави Арагвский, ты и его убийца, ты и стихотворец оплакавший безжалостно убитого Зураба. Ты и Миндиа, и Никекиа.

Книга Гурама Асатиани «У истоков» непременно должна стать еще одним истоком нашего познания, насколько это возможно, самих себя. Еще раз задумаемся, кто мы, что мы, куда идем, куда направляемся. Беспристрастно взглянем в себя, пожалеем суровости, если хотите жесткости для собственной оценки. Обличать только других – не принесет нам пользы, самообличение обогатит нас и выведет на тропу, ведущую к совершенствованию. Прислушаемся и к тем, кто осуждает и перестанем твердить: лекарь, излечи самого себя!

Дым отечества для Гурама Асатиани, как и для нас, наших предков, отнюдь не был сладок, не застилал глаза, пьянил дурманом самодовольства. Он отлично видел достоинство своей страны, но замечал и ее недостатки. Гурам Асатиани в «Двойственности грузинского характера» содержит некое предупреждение об опасности для его интерпретатора. Опираясь лишь на одну

рону этой целостности, будешь либо полностью идеализировать его, либо же наоборот – начисто отвергать. С таким односторонним пониманием грузинского характера я неоднократно сталкивался и в наши дни. Это рождает множество недоразумений и, к сожалению, сбивает с толку немало наивных слушателей. Одни представляют Грузию посюсторонним раем, другие видят в нас нечто ужасное, адское. Одни упрекают нас в эгоизме, другие провозглашают наиболее благороднейшими рыцарями. Только единицы способны взглянуть на нас другими глазами: «Мы были в Грузии, помножим нужду на нежность, ад на рай».

Дело, начатое Гурамом Асатиани на исходе жизни, требует продолжения, восполнения. Следует глубже постичь авторский анализ и выводы, что потребует напряженного исследовательского труда ученого, погруженного в море фактов и предположений, труд этот подобен поиску сверкающего алмаза в куче пепла и золы.

...Кто бы мог подумать, что источник жизни иссякнет на полпути творческой зрелости? Он оставил свою книгу «У истоков» как завещание и ушел от нас.

И скольких уроков лишились мы с этим неожиданным уходом?!

Перевод с грузинского

1997, № 7-12

*Морис Поцхишвили***Музыка**

Мелодия тоски,
 Поющие туманы,
 Здесь музыка реки
 Озвучивает раны.

Дорога! Ты смычок
 Иль сердца сожаленье,
 Цветенье чутких строк,
 Созвучий сочлененье!

Нет, не погасли дни,
 Мелодии ношу в них,
 Потом стихи мои
 Найдут в сиренях шумных.

Пусть кто-то позовет,
 Безмерное - измерьте!
 Озвученный уход,
 Звучащее бессмертье!

Немилосердная муза

Вам, должно быт, казалось,
 что стихи уже больше не снятся,
 И у пристани скорби
 брошен якорь, как сломанный щит,
 Ну, а я-то уверен,
 что пред ждущей толпой, может стать
 Милосердная муза - жалеет людей - и молчит!

Владимир Леонович

О чем ты думал? Образ мысли
Есть образ жизни: погляди,
Как жил, и хоть один исчисли
Поступок впереди.

Во что ты верил? Оглянись
И огляди пространство веры —
Той котловины, полусферы
Глубоко мреющую близь...

А незаконченную мысль
Порой венчает образ смерти.
Не стоит им пренебрегать:
Распорядись собой, поверьте,
Мы можем нечто полагать,

Вторым собранием сочинений
Нас одарил Галактион:
В счастливый миг — счастливый гений —
Жизнь оборвал — и мыслит он.

1977-1982

Монахине Офелии

Из Галактиона Табидзе

Господь с тобой – беги, Офелия,
мирской кровавой суеты.
Твоя хранительница – келья,
Моя спасительница – ты.

Твой траур – твой убор венчальный.
Разлукой сочетаюсь я
с тобою, гений мой печальный,
душеприказчица моя.

Лишь там, на небесах, мы вместе.
Тебе к лицу святой венец,
а мне личина – ради чести –
колпак дурацкий, бубенец.

1977, № 8

Ян Гольцман

Неслышно подошел Покров.
Печальной стало и родней.
Березовая паль – на дне.
Осиновая паль – на дне.
Видней рябиновая кровь...

Не выросло рябины. Дрозд
Не знает, чем себя кормить.
Зато листва – густой кармин.
Все дерево – большая гроздь!

Вода озерная чиста.
Слетел в глубины лист резной.
Куда он денется весной?
На дне – ни одного листа...

Последние летят с ветвей,
Подрагивая на ветру.
А как же будет поутру?
Еще пустынной. И светлей...

1977, № 8

1977-1982

Илья Дадашидзе

Август

Плачут дети и лают собаки,
Петухи голосят вдалеке.
Млечный путь нависает во мраке
Над Дигоми, Навтлуги, Ваке.

Как пронзительны звуки ночные
За окном, где летит наугад
Душный ветер, и кроны резные
Тополей безъязыко шумят.

Этот город не знает покоя,
Передышки, забвения, сна!..
Электричка пройдет за рекою –
И гудком изойдет тишина.

Стук шагов. Голоса. Перебранка.
Взвизг машины на спуске с горы.
Заполночная чья-то гулянка.
Бормотанье и всклипы Куры

Все сливается в хор неумный,
Гомонит сквозь полуночный дым,
В темноте, словно табор бездомный,
Колесит по проспектам сквозным.

И бессонницы жернов скрипучий
Раскрутила без удержу ночь...
Как ты душу в потемках не мучай –
Ни уснуть, ни забьпся невмочь.

До утра не уснуть, не забыться
 Под шуршанье и шум за окном...
 Грузный август жарою томится,
 Пахнет пылью и веет огнем.

И тбилисские хриплые звезды,
 Расточая напрасный свой пыл,
 Прожигают беспмятный воздух
 И плывут без руля и ветрил.

Прогулка по ночному Тбилиси

Памяти А. Цыбуле

Реклам негаснущие знаки
 Среди обступившей тишины,
 В сыром рассветном полумраке
 Вдвойне безумны и страшны.
 Как на пиру у Валтасара,
 Плыает надпись на стене:
 Кафе, гостиницы, базара –
 Названья, как в чаду угара,
 Настоенные на огне...
 Идет мистерия ночная,
 И сердце мается в тоске.
 Ни пешехода, ни трамвая
 От Воронцовской до Ваке.
 И что спешить? В рассветном дыме,
 Среди улиц, не согнавших сон,
 Уже и мой удел отныне
 Исчислен, взвешен, разделен.

1977, № 8

*Иза Орджоникидзе***Май. Картли**

Пока тропка не вывела в лето,
А весна расстелилась ковром,
Глинобитную хижину эту
Окружи, как надеждой, двором.
Деревенщиной стань,
и открыто
Ты слезу подолом промокай,
Нить сучи, ставь на лавку корыто
И квашне подходить помогай.
Трогай бусины на колыбели,
Грудь ребенку дай, чтоб не ревел, —
И придет из небесной купели
Лунный луч, словно божий привет...
Ты к порогу приделай подкову,
Чтобы все было как у людей,
Дай цесарке воды родниковой
И остатки на землю пролей
Против сглаза от демона злого.
И не мысли себе, и не зарься:
Мол, иная бывает судьба,
И на выжженных пыльных базарцах
Сохраняют фиалки себя...
Сердце,
ведь ты
о судилище грезило?
Чтоб обласкать,
не найдется простак...
Будто бы палец,
случайно порезанный,
саднит у губ моих
алый мак.

Утро

Как вымя,
Туча набухала.
Роса блестела.
Передо мной краюха улеглась.
Передо мной вода благоухала.
А лошадь на лугу паслась
и за свою меня считала.
Несбыточного не существовало,
хотя природа опустела.
Однако щель в дверях оставил крот,
И вел в его хоромы этот ход.

Сквозняк

Я сама про это знаю:
я уже воспоминанье,
пусть главы и не склоняю
для моления, упования.
Пустотою дом отметив,
настежь дверь тепло оставит.
Босиком гуляет ветер,
ветер численник листает...
Дверь сниму, как раму, с петель.
Образ твой сбежал отсюда,
как с иконы оскверненной.

Каменное изголовье

В обжитом жилище
помню стену,
давно не беленную,

и единоличную мою кровать,
не разделенную.
Как любовника сон
женщина истомленная,
ночь я спешила прервать.
За окном
почтальоншей стояла вселенная...
Все, что за день подметила,
я под подушку совала.
Словно пленная,
ногти я о стену ломала.
А за что воевала?
Бабьи цепи не поддались:
Знать, на совесть работал кузнец.
Вы, отважные воины,
в дальней дали,
в недрах
вам не понятных земель и сердец
вдруг наткнетесь на стену,
как на мираж,
как на белое небо,
наткнетесь,
где — не важно.
Вы, отважные воины,
не отрецивайтесь,
позабудьте кураж:
это муки моей
упавшая башня.

Перевод Марины Кудимовой

1977, № 9

Бесик Харанаули

Путевые зарисовки бродячего пса

1

Об эту пору куры взнимаются.

2

Трюхаю...
семеню...

А между тем страх и бескормица –
несущие плоскости –
крылообразны.

3

Вечер томный,
вечер чудный.
Об эту пору сильные мира сего
выгуливаются...
Руки назад заведут –
и обмениваются мнениями
по вопросам эсхатологии...

4

Трюхаю по стеночкам,
предупредительно внюхиваюсь
во внутренности дворов...
Будто путь мой целенаправлен,
так избирательно озираюсь:
не то,
опять не то!

Габаритный, накормленный пес
со знанием дела расписывается на фасаде.

5

В гетто некоторые толстеют.

6

Под деревом котят,
пестрые, как анютины глазки.
Хозяйка швырнула,
да тьма не пожрала.
Трюхаю...
Постелите, постелите мне ложе сострадания!

7

Страсти тем горячее,
Чем острее булат!

Из двора вылезла заинтересованная сука.
Ну, я наддал.
А за ней, оказывается,
следовал скорый кобелиный состав –
снизкой, связкой.
В продолжение ночи зализывался.

8

Ты теперь богвестькогдашняя,
любимая моя,
и грезишься в любой хорошенькой...

9

Полнолуние, понимаешь ли...

10

И лакнул-то два разика,
а он – хрясь!
Так мало, еще обложил вдогонку...
Наше бытие –
автоматизированный пинок,
душенька моя!
Жизнь наша –
глоток,
которого не хватило!

11

Лапа саднит.
Надо осмотреться.
Я, ей-богу, как та птаха:
десять раз слетит,
раз клонет.

12

Каждый дудит в трубу страха, вот что.
Трюхаю...

13

Светотень...
Эх, жизнь полосатая!
Дядька на перекрестке явно дрейфит,

и я не меньше.
Расшаркались, чисто маркизы,
разбежались.
Ночь.
Смеясь, ощерился,
И в щербатой пасти
засияли звезды, как фиксы.

14

Бесцеремонно кидаем в чрева пищу,
как, скажи, музыку –
в спящую улицу.
Вот, пожалуйста,
обварил пищевод какой-то гадостью.

15

И к этой-то жизни надо подлизываться!

16

Я, круглая луна и острые заезды
сообща глядимся в лужу...
Там же встречаем
улицу, зеленые насаждения и фонарики.
Мы невозмутимы и неразделимы...
Ни фига-то нам не страшно.

17

Нынче ночью каждый кабысдох
забылся головой на луне.

После стыда

I

Ты от меня отвернулась,
Мария...
Насовсем, насовсем?!
В твой подол слетается листопад,
и мне некуда положить голову,
кроме как в лужу.
Пьяный спит на мостовой,
и ветер заботливо подтыкает себя
под его бока...

Как родился я,
луна распустила пасмы траурно,
а жеманные звезды прикусили губки.
Повитуха же всех уверяла,
что я родился!
Но ты здесь ни при чем,
Мария,
ты здесь не повинна...
А меня распластает машина.

Это – не что иное, как город,
где тоска
душит пуще воротника,
который застегнут
потому, потому что
надо сползти с теплого лежбища одиночества
выйти на только что политую улицу
и, голову запрокинув, произнести:
– С добрым утречком, утро!

Опять с меня взятки гладки!
 Не скорми меня кому попадя
 и не вынуди христарадничать!

Не похоже ли серый зверина на взгорбке
 отпугивая зарю от луны,
 остаться взывает,
 как любимую,
 и тепло на груди, там, где льнула,
 Отольнет...
 День и ночь отольнет,
 и луна отольнет, вызывая отлив
 и любимая...
 Жизнь отхлынет
 в Аллею Прожитых Чувств,
 разминется, минует.

И ты — насовсем, Мария!
 Я тобою запомнюван,
 я посеян, как брошь,
 и концов не найдешь,
 и рукою махнешь,
 с губ слизнешь,
 будто привкус прогорклый,
 имя мое,
 отольнешь и минуешь,
 как город, пройденный насквозь.

II

Вид на жительство выправлен,
 место жительства легально

для земли, чтоб высасывать соки,
для боязни долгов
и для долгов наших.
Лишь любовь обминулась на этой дороге,
и я сам не наставил на путь ее,
раз уж написано на роду,
что по запаху крови
все меня обнаруживает в свой срок.
Окна вынесены мои,
петли дверные выворочены,
и протягивает меня сквознячище,
и сохну я, словно глиняная поделка.

III

Яблоко, ветвь покидая,
о чем размышляет?

Ветер вырулит с одной из четырех сторон:
я об этом осведомлен
собственным шиворотом, нет – так кроной...
Ветер по ветру пустит меня,
как бы я пустил осточертевший черновик,
и приклепнет к стене в незнакомом парадном,
чтобы снизу слепила меня Ниагара лестницы,
чтобы снизу увидел я женские ноги – доверху...
Ветер вырулит с одной из четырех,
но ни северо-запад, ни юго-восток,
ни – какие еще в географии есть полумеры? –
не выдадут тебя,
не представят,
не выдавят,
кровинка моя,
не приставят ко мне,

половинка моя!..
 Тьфу на вас! — завещаю я тем,
 кто мной притворяется в зеркалах.
 И с тем до свиданья.

IV

Послушай,
 в каком из обличий
 ты меня видела?
 Отраженным в кладбищенской мураве,
 когда ты, на могилу слетев,
 невзначай взор от нее отвела?
 На нересте автомобильном,
 где под тик светофора
 я бензин сигареткой дразнил?
 Нет, послушай, когда на чужбине,
 в малярии, ах, нет, в ностальгии,
 послушай, я смерти моргнул: мол, давай,
 и веки не мог разлепить,
 ты сказала мне: иди вон!
 А когда мне пьяному дали под дых,
 ты грязищу с меня отирала, да?
 Отстыжусь, отбеснуюсь, улягусь,
 а подушка, как терние.
 Но до света ты со мной нянчишься
 или не ты с приговором:
 спи, мой мальчик... О, как ты устал?!

В подоле у тебя листопад моих слез,
 я их стряхиваю,
 а ты подбираешь,
 чтоб меня по ним не выследили!

1977-1982

Тебя ради я, возможно, и солнце влюблю:
буду думать, что день – гость ночи!
Когда в самую бездну сна моего
ставит женщина колдовскую ступню,
это ты ей внушаешь: не заробей!?
Отвернулась,
Мария,
насовсем...

Перевод Марины Кудимовой

1978, № 5

Белла Ахмадулина

Павлу Антокольскому

I

Официант в поношенном крахмале
опасливо глядит издалека,
а за столом — цветут цветы в кармане
и молодость снедает старика.

Он — не старик. Он — семь чертей пригожих.
Он, палкою по воздуху стуча,
летит мимо испуганных прохожих,
едва им доставая до плеча.

Он — десять дровосеков с топорами,
дай помахать и хлебом не корми!
Гасконский, что ли, это темперамент
и эти загорания в крови?

Да что считать! Не поддается счету
тот, кто — один. На белом свете он —
один всего лишь. Но заглянем в щелку.
Он — девять дэвов, правда, мой Симон?

Я пью вино, и пьет старик бедовый,
потрескивая на манер огня.
Он — не старик. Он — перезвон бидонный.
Он — мускулы под кожей коня.

Все — чепуха. Сидит старик усталый.
Движение есть расточенье сил.

Он скорбный взгляд в далекое уставил.
Он старости, он отдыха просил.

А жизнь – тревога за себя, за младших,
неисполнение давешних надежд.
А где же – сын? Где этот строгий мальчик,
который вырос и шинель надел?

Вот молодые говорят степенно:
как вы бодры... вам сорока не дашь...
Молчали бы, летая по ступеням!
Легко ль... на пятый... возойти... этаж...

Но что-то – есть: настойчивей! крылатей!
То ль всплеск воды, то ль проблеск карасей!
Оно гудит под пологом кровати,
закруживает, словно карусель.

Ах, этот стол запляшет косоного,
ах, все, что есть, оставит позади.
Не иссякай, бессмертный Казанова!
Девчонку на колени посади!

Бесчинствуй и пофыркивай моторно.
В чужом дому плачь домовым в трубе.
Пусть женщина, капризница, мотовка,
тебя целует и грозит тебе.

Запри ее! Пускай она стучится!
Нет, отпусти! На тройке прокати!
Все впереди, чему должно случиться!
Оно еще случится. Погоди.

II

Двадцать два, значит, года тому
дно и мне восемнадцатилетней,
или сколько мне – в этой, уму
ныне чуждой поре, предпоследней
перед жизнью, последним, что есть...
Кахетинского яства нарядность,
о, глядеть бы! Но сказано: ешь.
Я беспечна и ем ненаглядность.
Это все происходит в Москве.
Виноград – подношение Симона.
Я настолько моложе, чем все
остальные, настолько свободна,
что впервые сидим мы троим,
и никто не отторгнут могилой,
и еще я зову стариком
Вас, ровесник мой младший и милый.

1978

1978, № 9

Георгий Маргвелашвили

Когда на нас глядит поэт

«Сны о Грузии» Беллы Ахмадулиной вот-вот выйдут в свет – дополненным и расширенным – изданием. И мы могли бы вновь подчеркнуть, что название этой книги не случайно связано с Грузией. В ней собраны произведения Беллы Ахмадулиной разных жанров – стихи и поэмы, переводы и проза, в числе очерковая и критическая, а также живое, удержанное нотной записью или магнитной записью, слово поэта. Грузия же и грузинская поэзия представлены здесь в естественном соседстве с Россией, с ликами и судьбами русских поэтов, от которых и берет, собственно, свою поэтическую родословную Белла Ахмадулина. У них же – у великих русских поэтов двух слившихся в одну душу столетий – наследует она свою сердечную привязанность к Грузии. Нити этого родства проходят через всю книгу, объединяя стихи о Грузии со стихами, задуманными, написанными или впервые опубликованными в Грузии. Произведения эти неотделимы, вместе с тем, от других сфер ее творчества, олицетворяющие целостности, говоря ее же словами, «непреклонное дитя Труда, Свободы, Любви и Таланта», возвещающая нам дивной музыкой и гармонией своей благородную повесть о том, как пришло к Человеку «сильная, горячая, вечно прекрасная жизнь и ода его своим справедливым, несравненным благом». Целомудренная и мудрая в своей гордой и взыскательной, звонкой и величавой душевной человечности, Музыка ее поэзии, в какие бы русла она выливалась, отыскала Белле Ахмадулиной особое, единственное ей предназначенное и сбывшееся место – и в общем могучем течении русской поэзии, в неразрывной последовательности ее высочайших ее гребней и, конечно же, в созвездии ярчайших поэтических светил нашего времени, нашего века. Связь же со временем, родство с веком у нее в крови и не требует заверений в

ем благонадежном существовании. И человеческий идеал, бросающий свет на ее поэзию, вернее, светящийся из самой ее сердцевины, излучаемый ею, — это всегда неповторимое инобытие того бессмертного света, который человечество пронесло, выстраданно и победоносно, через Природу и Историю, через Античность и библейско-евангельские страсти, через Возрождение и штурмы всесветных бастилий, через «век девятнадцатый, железный», но и одухотворенный небывалыми творениями, раздумьями и манифестами, через «конец столетья», когда назрело то, о чем она сама скажет так в своей родословной поэме:

Конец столетья. Резкий крен основ.
 Волнение. Что там? Выстрел. Мещанина.
 Пронзительный русалочий озноб
 вдруг потрясает тело мещанина.
 Предчувствие серьезной новизны
 томит и возбуждает человека.
 В тревоге пред-войны и пред-весны,
 в тумане вечеряющего века
 мерцает лбом симбирский гимназист,
 и, ширясь там, меж Волгою и Леной,
 тот свежий свет так остросеребрист
 и так существенен в судьбе вселенной.

Да, человечество пронесет этот «свежий свет» и передаст с доверием и упованием Новому небу и Новой жизни в этом поднебесье :

Грянь и ты, месяц первый, Октябрь,
 на твоём повороте мгновенном
 электричеством бьет по локтям
 острый угол меж веком и веком.
 Узнаю изначальный твой гул,
 оглашающий древние своды,

по огромной округлости губ,
называющих имя Свободы.

И, как прекрасно и точно сказал об этом Павел Григорьевич Антокольский, «Ахмадулина прежде всего внутри истории внутри необратимого исторического потока, связывающего каждого из нас с прошлым и будущим... Революционный смысл этих и последующих строф не нуждается в подчеркивании. Важно установить только одно: Ахмадулина гораздо прямее в своем гражданском пафосе, нежели обычно представляют себе. Еще и еще раз: она внутри истории. На то она и поэт». И она, конечно, могла бы повторить, по праву, мысль, высказанную Борисом Пастернаком Тициану Табидзе, продолженную им затем в переписке вдовой поэта: «Все усилия человека должны быть сосредоточены в его деятельности, успешной, смелой и производительной, а остальное доделывает жизнь. В каких-то высших областях существования, каковы любовь (не только женская, но любовь к родным или любовь современников), творчество и пр., это счастье либо дано, либо не дано вовсе, и тут не о чем заботиться, потому что никакими стараниями и хлопотами тут ничего не сделаешь, и это будет подделка». Под этими словами могла бы подписаться Белла Ахмадулина. Она и подписалась под ними всей своей «успешной, смелой и производительной» деятельностью и своим доверием к жизни (которая и впрямь «доделывает остальное своей верностью поэтическому же выражению этого закона согласно которому надо — «... ни единой долькой не отступать от лица, но быть живым, живым и только, живым и только конца»). Ведь она же сама при случае выразила по-своему этот поэтический императив:

Мне нравится, что жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —
топырить корни, ставить деревья
и меж ветвей готовить плод подарка.

Что же касается «высших областей существования», в том числе и любви к родине, современникам, то разве в такой, скажем, скупой, сдержанной и сосредоточенной концовке стихотворения о дальнем и длительном зарубежном путешествии поэта не больше этого счастливого и обязующего дара, чем в иных хладнокровных рифмованных декларациях:

Ободрав голый локоть о цепкий шиповник весны,
он берет эту ранку на память. Прощай мимолетность.
Вот он дома достиг и, при сальной усмешке звезды,
с недоверьем косится на оцарапанный локоть.
Что еще? В магазине он слушает говор старух.
Озирает прохожих и втайне печется о каждом.
Словно в этом его путешествия смысл и триумф,
он стоит где-нибудь и подолгу глядит на сограждан.

Это одна, «лицевая» что ли, сторона жизнеотношения поэта; и она не исключает, а предполагает неприятие бесчеловечного начала на земле. И к тому «русалочьему ознобу», пронзившему «тело мещанина» и мещанства, Поэзия и Музыка добавляют поистине уничтожающие удары. Или, скажем, так: мещанства, но не в литературно-бытовом только, а в самом безразмерном смысле этого околочеловеческого, возлелюдского, межеумочного порождения, в самой разнообразной его многоликости, в самых многообразных мимикрических его облициях, с самым широким диапазоном его бездарной и безнравственной самодеятельности — от равнодушия до бешенства, от изобретательнейшего конформизма до скорпионовой жестокости, от домовитой маниловщины до вурдалачьего фашизма, какую бы прописку и какие бы псевдонимы он себе ни избирал...

Но весь этот натиск гневного ямба, дробящего камня, совершается, как мы знаем, лишь во имя «непреклонного добра Труда, Свободы, Любви и Таланта». И под сенью такого и чистого, и грозного неба воистину впору встретиться Пушкину с

Руставели, Бараташвили с Лермонтовым, Шекспиру с Пшавела, Галактиону с Блоком, Тициану Табидзе с Пастернаком, Шостаковичу с Ладом Гудиашвили, Антокольскому с Симоном Чиковани и Марине Цветаевой с Анной Каландадзе. И р свои корни, и ветвится родословная, опровергая замкнутость кровного и приветствуя безбрежность духовного родства:

Вас ли, о, вас ли, Шота и Важа,
в предки не взять и родство опровергнуть?
Ваше – во мне, если в почву вошла
косточка – выйдет она на поверхность.

...Прошло двадцать два года с тех пор, как «в почву в косточка», с тех пор, как Белла Ахмадулина впервые ступила грузинскую землю, а Грузия, в свою очередь, причастилась гостяти ее души и ее таланта. За это время она много-много гостила в Грузии и еще больше думала о ней, чувствовала вблизи и на расстоянии, ведя молчаливый о ней разговор Пушкиным и Лермонтовым, с Галактионом и Пастернаком, Тицианом Табидзе и Симоном Чиковани, а то и громко, в переговариваясь в дни и ночи дружеских бдений с подвластными ей доброй воле сверстниками и товарищами. Она так глубоко познала душу этой земли, возлюбив ее плоть, такие заворающие страницы ее дум, восторгов и вожделений смогла вычитать, законченный образ грузина и Грузии поселила в своем сердце, что мало кто дерзнул бы соревноваться с нею в этом постижении. Ибо таков закон своего рода «гносеологической оптики» – быт часто заслоняет бытие и надобно проникнуть в землю и ее людей застать врасплох, с пронизательной выразительностью «любви с первого взгляда», или же с небес познания обратиться к ним, чтобы убедиться в их истинной сущности или родить в себе полноту их познания. И поистине нужно в вещие сны, дабы удержать в себе благословенную явь.

А потом ведь есть еще у поэта дар осиливать пути

торые, как и у его инспиратора, неисповедимы. Это и имел в виду Симон Чиковани, когда восклицал, отсылая Белле Ахмадулиной едва ли не самые любимые свои стихи «Армазского цикла»: «Я просто не могу себе представить, что именно эти стихи переведешь не ты. И вот почему. Этот мой микроцикл родился после мцхетских раскопок, открывших могилу двадцатидвухлетней прекрасной девушки. Эти странные и причудливые строфы были для меня попыткой перекинуть мост в прошлое, проникнуть в него. Я почувствовал это прошлое своим воспоминанием. А воспоминание для меня – особый способ постижения современности. Воспоминание рождается чем-то сегодня увиденным, что будит и тянет за собою память. А кто, кроме тебя, может пройти через эти дебри с живым и трепетным ощущением и истории, и современности...».

Что еще сказать об этом? Разве что сослаться на незабываемый день января 1959 года, когда замечательный грузинский ученый Павле Ингороква, как редко кто из своих современников обнявший знаниями и сознанием, душою и «шестым чувством» грузинскую, русскую, да и иные культуры, увидел опубликованные в «Литературной Грузии» ахмадулинские переводы из Анны Каландадзе? Он читал их при Симоне Чиковани и при мне в редакции журнала «Мнатоби», и если б можно было передать словами впечатление, этими переводами на него произведенное, наверное, это и было бы высшей благодарностью поэту.

...А сны о Грузии не были бы снами о Грузии, если бы в них не отразились волшебные видения добрососедствующих муз – без этого добрососедства Грузия и грузинское слово не мыслили себя с того, по крайней мере, дня, с которого запечатлен тысячелетний путь грузинской словесности. Отсюда скупые, но столь любезные грузинскому слуху и духу абхазские, армянские, балкарские страницы этой книги.

И тут пора сказать об одном из главных чудес, совершившихся в разделе переводов этой книги. Силе, вдохновляющей, инспирирующей поэтов, конечно же, ведомо, что часто сам дар

больше одаренного, что, как правило, явление поэта глубже и чище персонального носителя поэтического дара, хотя и личная, человеческая основа избранника удостаивается поэтического дара – было бы что возвышать и очищать в ней чудодейственной силой. О да, «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», многое в его быту протекает иначе. Но сослаться на этот закон имеет лишь тот, кто не таится под законом, в том числе и этого. И вот, в этой книге объединены одну дружную семью не просто разные люди, а разные и следовательно, осталось за бортом поэзии все мелкое, суто что в жизни могло разделять их.

Конечно, это относится лишь к тем, к кому это относится и пусть любой из живых наших современников, стихи которого попали в круг поэтических видений создателя этой книги радуется и возгордится всякий раз, отмечая свое совпадение образом своего двойника – поэта, попавшего в этот круг, и он испытает горечь самоуничтожения, если поймает себя нападении с этим образом. И пусть он и в том, и в другом случае благодарностью или за поддержкой обратит свои мысли к этой же книге присутствующим братьям, которых нет с ним лишь физически, но чьи образы могут служить ему вечным меркнувшим образцом и в те промежутки жизни, когда призван еще Аполлоном, – Пушкин ли это или Бараташ Лермонтов или Галактион Табидзе, Ованес Туманян или Табидзе, Аветик Исаакян или Георгий Леонидзе, Борис Пинак или Марина Цветаева, Симон Чиковани или Дмитрий Шкварц. Эта книга в своих ясных и чистых пределах снимает мнимые противоречия и благословляет допущенные в эти пределы души на их истинном пути – пути разума и человечности – есть все того же «непреклонного добра Труда, Свободы, Лицевого Таланта».

Так вот и сбылись они – сны о Грузии. Каким же почтительным словом помянуть еще эту страну, что еще сказать о ней, пожелав доброго пути? Что она – эта

— отразила свечение и сияние, богатство и щедрость природы своего творца? Что нашей же благодарностью поэту должна обернуться ее безоглядная благодарность миру — общая ли это наша — планетарного значения — Победа над фашизмом, или грузинская речь, двадцать два года дразнящая уста поэта, каждый раз откликавшегося на ее соблазн — своей, родной, сказочной красоты, речью? Или, быть может, повторить уже как-то сказанное нами, — что ее непоколебимое доверие к Грузии и вечный ей привет мы-то должны воспринимать как адресованные, так сказать, «субстанционной» Грузии, ее бессмертной «форме», как говорил Пастернак об этой, по его же словам, «стране неотсроченной краски и ежесуточной действительности», а если и нам, смертным, то лишь как заклинание, внушение, приказ — быть такими, какими обязывает нас быть эта субстанция, эта форма, и какими продолжает видеть нас любящая сестра наша — Русская Поэзия... Сказано же Беллой Ахмадулиной, хоть и по иному поводу:

Мы все прекрасны несказанно,
пока на нас глядит поэт.

Да глядят на нас вечно Прекрасные Очи Поэта.

1978, № 9

Мака Джохадзе

Гурам-Гурам

– Хозяин, откроешь нам?

– Входите, пожалуйста.

– Почему не спрашиваешь, кто мы, хозяин?

– К чему спрашивать, узнаю, когда войдете.

Незнакомые парни отворили скрипучую калитку.

Навстречу им вышел высокий старик. Оглядел ребят при свелуны. «Хорошие ребята», – подумал он, провожая гостей в дом.

– Поздно уже, дядя, нам бы в деревне остаться...

– Ну и что тут особенного, чего тут, парень...

Некоторое время стояла неловкая тишина. Стакан звякну тарелку. Хозяйке не нужно напоминать – она и сама все знала. «Наверно, устали и голодные. Хорошие-то какие. А этот кудрявенький прямо настоящий сван...».

– Давай, дорогой Тенгиз, выпьем за эту прекрасную семью. Думаешь, большое дело открыть ночью дверь и впустить незваных людей? Правильно, нет в этом ничего особенного. Так люди делают, но... Посмотри на его улыбку, и выпьем за него и его здоровье, теть Мелик, и да хранит вас бог и ваш святой Квирикэ. Здоровье этих маленьких девочек, что как ягнята в угол смотрят на нас большими глазами... Ну а все-таки сколько их, Тенгиз?.. Дорогой дядя Гриша, а теперь за здоровье вашего сына того, который в Тбилиси уехал. Выпьем за то, что он там, а мы сидим здесь и пьем за его здоровье... И выпьем за наше знакомство, и пусть благословит его бог...

– Спасибо, Гурам-Гурам. Пусть будет больше таких парней в нашем краю. Мне приятно, что вот ты, городской парень, а любишь горы и люди здешние по душе тебе. А больше всего в тебе нравится то, что ты в бога веруешь, хотя сам и отсюда...

Гурам добро улыбнулся. Взглянул на Тенгиза.

- Тенгиз уже пьян... да и я...

- Ну, а теперь можно и отдохнуть? – понял старик.

Гурам любовно и почтительно склонил голову. Никак он не соглашался подняться наверх – не беспокойтесь, нам и здесь хорошо, – но как он ни упрямился, Гурама и Тенгиза устроили на верхнем этаже.

Утомленные подъемом ребята сразу уснули. «Гурам-Гурам, хороший парень... Гурам-Гурам...»

На нижнем этаже погасили свет.

* * *

- Что так рано встал, Гурам?

- Привык, дядя Гриша.

- О-о... Хорошо это. Здесь ручей течет, Гурам, умойся, если хочешь.

Гурам спустился вниз. Умываясь, услышал звон колокольчиков. Сванские девушки гнали пестрых коров. Лали вынесла ему чистое полотенце, а Гурам все глядел в сторону.

- Расти большая, Лали.

- Куда смотришь, Гурам-Гурам, на тех девушек?

Гурам взглянул на Лали, улыбнулся и сказал:

- Я их сейчас сфотографирую.

- А зачем?

- Как зачем?.. Посмотри, как они красиво поднимаются.

Девочка взглянула на девушек, а потом на Гурама.

- Да ну...

Гурам вынес фотоаппарат и побежал догонять женщин.

«Как хорошо он бежит», – подумал дядя Гриша. Гурам догнал девушек и совсем неожиданно для них щелкнул камерой.

Заволновались юные сванки, огорчились. Если бы мы знали, оделись бы получше, а сейчас на кого мы похожи, не мог предупредить заранее, – говорили они, отряхивая платья и поправляя платки.

«Не мог предупредить заранее...» – умирал со смеху Г
 – Напрасно прихорашиваетесь, не будет он больш
 мать, – низким голосом сказала одна девушка.

Гурам взглянул на нее: «Какая красивая, какие г
 волосы и стройные ноги...». Девушки отвернулись и со с
 погнали скотину.

Гурам не удержался и крикнул:

– Как зовут тебя, девушка?

Все обернулись сразу. Глаза девушки с гладкими вол
 встретили взгляд Гурама. Лукаво посмотрела девушка на
 Проговорила, словно с укором:

– Малула.

– Малула... А меня – Гурам.

– Вот и хорошо, буду знать, Гурам-Гурам, – ласково, с
 насмешливо проговорила девушка. Подружки залились сме
 «Малула, Малула...»

Во дворе Хардзиани роилась детвора. И Гурам все сн
 снимал этих чумазных, красивых ребят.

К вечеру у дяди Гриши закололи телку. Горячие, с
 испеченные хлебы благоухали рядом с белоснежным сулг
 молодым влажным тархуном. Пригласили соседей. Мол
 затеяла танцы.

– Что, Гурам, идешь завтра?

– Пойду, дядя Гриша.

– Не надо, Гурам, один ведь ты у матери...

– Нет, дядя Гриша, не поднимусь – умру... Мать не з
 обманул я ее. Сказал, в местийском музее фотографии буд
 реснимать. Часто я обманываю мать, но что делать...

– Гурам-Гурам, иди потанцуй!

Гурам танцует. Танцует он хорошо, и пожилым свана
 нравится. Они радуются и приговаривают: «Да будут бла
 венны его родители, совсем наш парень, настоящий сван».

Парни и девушки хлопают в ладоши и громко поют...
 Гурам танцует, Малула танцует. Гурам и Малула танцуют
 вместе.

- Малула!

- Что?

- Почему тебя зовут Малула?

- Не нравится?

- Как ты можешь не нравиться, Малула?!

Девушка зарделась.

- Я люблю тебя, Малула...

Громко играют и поют парни и девушки.

- Малула!

- Что?

- Знаешь, у меня сын есть...

Молчит Малула.

- И жена, Малула...

Девушка все молчит. Смотрит в глаза Гураму.

- Я очень люблю своего сына, Малула.

Еще громче играют парни и девушки.

- Ты пьян, Гурам-Гурам.

- Да, пьян твой Гурам...

- Ты не мой...

- Люблю тебя, Малула. Вчера только понравилась, а сегодня
 уже очень люблю.

- Ну и дурень ты, Гурам-Гурам...

Парни и девушки не унимаются. А один, тот, что стройнее и
 красивее всех, вдруг разнимает в танце Гурама и Малулу...

Гурам совсем не обиделся, уступил парню и вышел из круга.
 Потом и совсем покинул танцующих. Окутанные табачным дымом
 пожилые сваны играют на вольтке. А в небе плывет и сама чем-то
 похожая на вольтку луна.

- Не ходи, Гурам, опасно...

- Должен я, дядя Гриша, не поднимусь на Шхару – умру!

Раскраснелись щеки у Малулы – прямо в глаза смотрит она

высокому свану.

- Хозяин, откроешь нам?

- Входите, пожалуйста.

Высокий старик оглядел парней при свете луны.

«...Наверное, устали и голодные ...» – хозяйка накрыла на
«Увидимся в будущем году».

Не сдержал своего слова Гурам-Гурам.

Перевод Виктора Хел

1979, № 4

*Александр Кушнер***Зимой в Тбилиси**

Иностранная речь всего лучше, если
Не понятно ни слова; тогда нисколько
Не мешает она; утопая в кресле,
На нее обращаю вниманье только

Как на шум посторонний, допустим, птичий;
Впрочем, птицы, оставив свои корзины
На ветвях, улетели; зато обычно
В большинстве своем – дома зимой грузины.

Я за несколько дней, что живу здесь, понял,
До чего мы угрюмы в сравненьи с ними.
В моем номере тесном диван – в попоне
С кисточками нитяными, смешными.

Город, я бы сказал, кое-где уклончив,
Кое в чем уступчив; на третьи сутки
Я заметил: иду – напеваю, точно
В моем горле очнулись рожки и дудки.

Я приехал к шапочному разбору.
Все поэтами вытоптано другими.
Мне писать о Грузии – словно к хору
Прислонять свой голос, сливаясь с ними.

Я не думаю, чтобы мой случай редким
Был; живешь и живешь, а потом метаться

Начинаешь; грудной не хватает клетке
Воздуха – и не знаешь, куда податься?

Умереть под пальмой грузинской чахлой
Приблизительно так же, как под забором,
Соблазнительно; в виде грузинки дряхлой
Под накидкой – смерть предстает пред взором.

Ничего старушка, да мы на разных
Говорим языках: не поймет, отпустит.
Эх, Тбилиси, лестниц веерообразных,
Красных крыш столичное захоlustье!

Прислониться к чужому гнезду, втереться,
Присоединиться к жизни; на бланках, пачках
По-грузински читать; успокоить сердце
И посвистывать, как этот малый в бачках.

1980, № 2

*Галина Корнилова***Вот фиалка
(Этюд о городе)**

Вначале была любовь. Ночная мгла лежала на холмах Грузии, и где-то в этой мгле пылкий Мцыри душил на своей груди барса. Неземной красоты дева сбрасывала в ущелье влюбленных в нее юношей, а Георгий Саакадзе скакал на горячем скакуне по самому краю пропасти.

Страна, в которую играли в детстве и о которой в юности мечтали. Должно быть, еще и оттого, что всего этого – холмов, барсов, пылкости и неземной красоты так не хватало среди наших равнин, снегов, залитых асфальтом дворов и чахлах городских скверов.

Но и собирались долго, не ехали – все оттого же. Куда ехать, если все это давно уже было с тобой, неувиденное казалось знакомым до подробностей. И тем не менее наконец едем. Вот уже идем, шагаем по улицам этого города, смотрим во все глаза, минуем квартал за кварталом, перекресток за перекрестком. Уподобляясь при этом иголке, которая методично нанизывает одну яркую бусину за другой. А позади длинными нитями тянутся песстрые гирлянды впечатлений, которые потом уже, когда придет время, можно будет перебирать, рассматривать, вспоминать и грустить от разлуки.

Простите, конечно, за сентиментальность. Мы ведь и сами прекрасно знаем, что сентиментальность – чувство поверхностное и мелкое, в серьезном разговоре вовсе неуместное. Только здесь и в самом деле трудно удержаться от того, чтобы не ахнуть пораженно, не вздохнуть, не пробормотать что-то из набора вполне бессмысленных слов вроде: «поразительно», «великолепно», «прекрасно».

Но послушай, Джаба, ты-то живешь в этом городе с самого

своего рождения, окна твоего дома смотрят прямо на набережную, так что и река со всеми чудесами на ее берегах давно уже перестала тебя удивлять. Надо думать, что тебе порядком надли и восторги приезжих, которые каждый раз принимают разглядывать твой город так, словно создан он господом богом только для того, чтобы исторгнуть умильные восклицания из этих сентиментальных мучнистолицых северян.

Ты спрашиваешь — а в голосе твоём усталость от зарагаданного ответа — что же нам понравилось больше всего. И тебе скажу: больше всего — люди и деревья. Не только оттого, красивы — глаз не отвести (забывая о правилах приличия, то и д оглядываешься на идущих навстречу красавиц и красавцев потом как дикарь тычешь пальцем в ствол гиганта-платана, чтобы убедиться: дерево сбрасывает шкуру, точно змея). Еще и потому что между ними замечаешь странное притягивающее сходство. Так, например, совершенно одинаковым оказывается у тех и других редкое достоинство осанки. И еще одно: явная, загаданная первого же взгляда способность к полету. Это последнее качество становится очевидным, едва лишь открывается перед тобой перспектива улицы с шеренгами огромных деревьев, в тени которых стоят и неспешно беседуют группы мужчин, женщин, подтягов. Широкие, тяжелые ветви-крылья, распростертые над проезжей частью, чуть шевелятся под ветром, и отчетливо видишь, это — деревья-орлы, что здесь, на проспекте, они не навсегда, их ждут не дождутся где-то там, на кручах, за горами.

И представьте себе, о людях, населяющих этот город, можно сказать то же самое. Стоит им только шевельнуться, заговорить — не для собеседника же эта рвущаяся на простор пыльная энергия. Да и сам собеседник уже рванул точно так же навстречу, привстав на носки, плечи развернуты, руки пришло движение, вскинуты над головой, вот-вот совсем оторвется от земли. И речь обоих — страстная, напряженная, глухо рокочущая... напоминает шум заведенного, готового к работе авиационного мотора.

Что же касается жестов, которыми непрерывно обмениваются беседующие, то об этом вообще разговор особый.

Ты живешь здесь, и тебе, конечно, в голову не придет любоваться взлетающими в воздух руками твоих соплеменников, как не замечаешь ты и того, что выделывают во время разговора другом твои собственные руки. А вот я, представь, нигде и никогда не встречала еще столь выразительного, красноречивого и совершенного в своей пластике языка жестов.

Предположим, ты что-то не понял, не допонял или просто показался говорившему не слишком убежденным в его правоте — на помощь приходят руки. Кисть с вытянутыми пальцами скользит параллельно земле, потом внезапно на твоих глазах превращается в нечто крылоподобное, возносится, прочертив в воздухе плавную лебединую линию.

Позже несколько раз я пыталась воспроизвести этот грациозный летящий жест, без толку размахивала руками, но ничего путного у меня так и не получалось. Ведь жест — это всегда внешнее продолжение некоего скрытого внутреннего движения, и повторить его просто так, механически, невозможно. Кроме того, сама значительность и завершенность таких движений — не для женских суетливых рук, здесь требуются сильные и уверенные руки мужчины.

Так вот, в следующий раз, когда вам придется побывать в этом городе, вы непременно должны обратить внимание на жесты, которыми тбилисцы сопровождают свою речь. Уверена, это произведет на вас не меньшее впечатление, чем бронзовый Вахтанг Горгасал на коне, или баня, в которой мылся Пушкин.

В конце концов приходишь постепенно к выводу, что крылатость, окрыленность, летучесть — вообще для этих мест явление не случайное. Начать с того, что птица украшает самый герб города. На нем красуется фазан, подстреленный здесь когда-то удачливым Вахтангом Горгасалом. А под песенку другого Вахтанга — Кикабидзе про задорную птичку-невеличку пляшет сейчас весь город от мала до велика.

Над Мтацминдой же, над площадью Ленина, над Нарика Метехи день и ночь кружат спокойные, крупные птицы, оглядующие сверху совершенно по-хозяйски окрестности. Так что не догадаться: пернатые находятся тут на совершенно особом, легированном по сравнению с другими тварями положении. И еще один пример этому.

В большой квартире, которая кажется тесной от книг, с графий, толпящихся постоянно друзей, вас встречает крохотный зеленый попугайчик, восседающий на плече своей хозяйки. Сидя дывая гостей, он время от времени поворачивает головку к золотоволосой женщине и со снисходительной нежностью шепчет: «Птичка ты моя!». Или еще похлеще: «Собачка ты моя!» это произносится на отчетливом русском языке с легким грузинским акцентом.

Такая свобода и непринужденность – не иначе как следствие особых привилегий, которые выхлопотал для своих братьев у основателя города легендарный синий фазан.

Итак, из птиц мы выбираем фазана, а из цветов – кохлевицу, фиалку. Цветущей фиалки в парках и садах города я, правда, так и не увидела. Но скромный этот весенний цветок я выбрала другое. Лишь потому, что первые буквы алфавита, которыми грузины принимают учиться за партами, звучат так: «Вот фиалка».

И так уж тут получается, что, научившись выводить буквы, сложив свое первое немудреное предложение, дети празднуют сразу и к чудесному миру родного языка, и к большому миру, в котором светит солнце и цветут цветы.

В конце концов ведь и сама фиалка может считаться символом весны и жизни, красоты и мужества. Потому что каждый, несмотря ни на что, распускается она в затоптанных наших ногами лесах и полях, с мужественным постоянством цветет искалеченной, израненной нашими машинами земле. словно награду всем тем, кто помнит об этом сияющем цветке и произносит на родном языке его имя...

Ну да, но ведь это все – только о внешней стороне городской жизни: деревья, улицы, прохожие, птицы и цветы. А что же там, внутри, за стройными балюстрадами балкончиков, перепоясывающих фасады старых домов, за массивными дверьми подъездов, за белыми, выпорхнувшими легкомысленно из комнаты в переулок занавесками?

Ничего особенного. Там темноокая Анико на общей кухне месит тесто для хачапури. Дали, похожая на девочку-школьницу, обложившись словарями, переводит Томаса Манна, пользуясь тем, что собственные ее дети еще в школе, а муж не вернулся с работы в компании шумных и голодных друзей. В прохладной просторной комнате тоненькая Додо потчует гостей кофе по-турецки, а потом, взяв перевернутые чашечки, гадает каждому из них на кофейной гуще. В застекленной лоджии с завешанными от солнца шторами резвая Ламара скачет на одной ножке вокруг круглого стола, который тоже держится на одной ножке, хотя и не скачет. А из кухни вместе с бульканьем воды в кране доносится до нее, ничуть не мешая ей заниматься своим делом, ворчанье бабушки Нино.

А вот и еще одна живая картинка, окаймленная словно багетом темно-зелеными распахнутыми дверьми гаража. Вокруг новенькой, блистающей свежей эмалью машины в благоговейном молчании застыла целая семья, включая и маленьких детей. Они собрались здесь точно так же, как когда-то собиралась вокруг единственной коровы-кормилицы крестьянская семья.

А вот шагает по самой середине улицы толстый веселый человек, несущий на вытянутых руках бережно, словно новорожденного младенца, новоиспеченный лаваш. А вот молодая женщина в яркой косынке над ярким темнобровым лицом щедро выплескивает на мостовую круто бегущей в гору улочки полный таз мутной воды. Прохожие – молодые парни, настигнутые мыльным потоком, заразительно смеются и перепрыгивают через лужи...

И начинает понемногу казаться, что на холмах этой страны

даже печаль, если она и существует, обязательно должна легкой и светлой. Такой, какую ощутил здесь однажды великий поэт. Но между тем друга, к которому я так долго собирался приехать, нет уже в живых. Между тем ничего светлого и радостного. Печали двух других моих друзей, живущих в этом городе, тоже обоих сумрачны и сосредоточенны, а утешить их мне ничем.

– Все обойдется! – заверяю я их. – Вот увидите, все кончится хорошо. Ваши стихи еще будут заучивать наизусть школьники, вас еще полюбят прекрасные женщины...

Они усмеваются, соглашаясь со мной, кивают, но грустить не перестают. И наоборот, мне самой делается грустно оттого, что помочь им я ничем не могу.

И в самолете на обратном пути передо мной, затуманенная слегка от обилия промелькнувших картин, звуков, запахов, воспоминаний, встают вдруг не горы с розовыми пятнами цветущих по склонам деревьев, не темный силуэт прославленного монастыря подвальчик с обшитыми дубовыми панелями стенами, а лица – светлоглазое и темноглазое – печальных лиц. И не выскочить мне уже из глубокого кресла, где я сижу, пристегнувшись ремнем, не броситься назад, не поговорить, не утешить еще раз. Да и что еще могла бы я сказать им напоследок?

Я вытягиваю из сумки блокнот с исписанными вдоль страниц перекрестками, отыскиваю одну, где нетвердой рукой написано несколько похожих на вспененные волны букв без знаков еще языка.

– Аи ия! – говорю я вслух и обращаюсь при этом мысленно к нему, оставшимся внизу. В надежде, что, расслышав эту неуловимую фразу, Володя улыбнется замечательной улыбкой, а Джаба издаст легкое, похожее на выдох восклицание – что-то вроде протяжного «а-а!» – и летящим жестом вскинет над головой руку с раскрытой в мою сторону ладонью.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
ГРУЗИЯ 6

1984



1982 – 1986



Буачидзе Тенгиз Пав (1926-1994). Литературовед, писатель, доктор филологических наук (1972), профессор (1972). В 1960-1965 гг. — министр культуры Грузии, в 1976 г. — первый секретарь Союза писателей Грузии. В 1976-1982 гг. — ректор Государственного педагогического института иностранных языков им. Ильи Чавчавадзе. В период с 1982 по 1986 гг. — главный редактор журнала «Литературная Грузия». Публиковался с 1946 года. Научные и литературоведческие исследования

Т.П.Буачидзе охватывали как теорию перевода в целом, так и конкретные проблемы, связанные с русско-, украинско- и белорусско-грузинскими литературными взаимоотношениями между народами, так и историю грузинского романтизма. В 1966 г. издает первый сборник сказов «Ожидание». В 1970 переводит на грузинский язык роман «Воюющий полк Игорев», «Летопись былых времен» (1973) и другие произведения — памятники русской культуры. С 1987 г. до конца жизни руководил основанным им Грузинским фондом культуры.

*Роман Миминошвили***Тенгиз Буачидзе**

Казалось, так легко написать о друге, воскресить в памяти его образ, вспомнить некоторые черты его характера, не замеченные другими. Но, как видно, это не так-то просто. Действительно, когда пишешь о человеке, рядом с которым прошли десятки лет твоей жизни, начиная с юношеского возраста, априори надо признать взаимовлияние характеров людей одного поколения, поэтому мне трудно выделить «специфические», принадлежащие лишь Тенгизу Буачидзе черты, объективно воссоздать его неповторимый образ.

Я не хочу идти самым легким путем — говорить о его художественных произведениях, о его весьма значительных научных трудах, ибо и творчество является отражением духовного мира человека, или проследить его биографию, богатую, интересную (ведь в разное время он был министром культуры Грузии, секретарем Союза писателей, заведующим кафедрой русской литературы ТГУ, главным редактором «Литературной Грузии», председателем Фонда культуры Грузии, депутатом Верховного Совета ГССР многих созывов, народным депутатом СССР, председателем Комиссии парламента независимой Грузии) — такой подход вряд ли отразил бы внутреннюю драму, пережитую нашим поколением.

Трудным было детство Тенгиза Буачидзе, его семья на себе испытала жестокость большевистских репрессий, не менее трудной оказалась и вся последующая жизнь, а на склоне лет он потерял своего любимого зятя — мужа дочери, прекрасного молодого офицера Дато Нацвлишвили, погибшего в борьбе за территориальную целостность Грузии. Вскоре после этого он получил второй инсульт, мужественно боролся со смертью в одной из «лучших» больниц столицы, лишенных света и тепла.

В парламенте о наших потерях узнавали раньше других старались как-то подготовить близких. Героическая смерть сына Чабуа Амирэджиби Ираклия совпала с днем рождения писателя. Но мы решили, следуя традиции, все же поздравить его с юбилеем, а потом уже сообщить ужасную весть. Каково нам было в зале, когда мы аплодировали! Так же мы «утешали» Тенгиза Буридзе, говоря, что, во-первых, его зять мог и не быть в том самолете (сбитом, естественно, не «абхазскими зенитчиками»), а, во-вторых, что погибли не все, он может оказаться среди живых. Мы сами не верили в это, и Тенгиз Павлович тоже не очень верил, но нам казалось, что несколько дней сомнений помогут ему подготовиться к горю. Нам показалось, что он стойко встретил беду, но нет, она окончательно его одолела.

Тенгиз Павлович был «на два курса» старше меня, для молодых людей это ощутимая разница, тем более, что мы учились на разных отделениях филологического факультета (он — на русском, я — на грузинском), но мы очень быстро подружились. Большим теплом вспоминаю я наши студенческие трапезы в ермаленькой квартирке на улице Чонкадзе, доставшейся ему после известных репрессий, наши беседы. Он деликатно обходил тему невзгодах своей семьи, мы говорили больше о литературе, людях, нас окружавших. Он мечтал создать образ современного человека, «положительного» во всех отношениях героя в духе социализма, но с тем, чтобы читателю стало ясно, что именно он и является самым настоящим злом нашей жизни, гораздо большим, чем т. н. «отрицательные» герои. Таких людей, «настоящих коммунистов», идейных, честных, порою добрых, он называл «белой тенью», которая тем и страшна, тем и опасна, что по сравнению с настоящей тенью невидима. На таких людях держится система, именно они ее опора, а не те, кто явно обнажает ее лицо. Нам не надо было выдумывать таких героев, мы встречали их в повседневной жизни. Вот, скажем, один из таких людей: он ко всем доброжелателен, внимателен, может помочь в преодолении трудностей, думая о своей карьере, не пытается «утопить

конкурента, а просто избегает встречи с ним, находит иные пути доказать свое «преимущество» и доказывает. Он не замечает слабости ни старших, ни младших по положению. В меру, не назойливо, не особенно выделяясь чтобы не раздражать окружающих, следует писаным и неписаным правилам режима, «моральному кодексу коммуниста». Это особый тип советского человека, «настоящего человека». Однако на самопожертвование во имя хотя бы той же коммунистической идеи, которой, якобы, служит, он не способен. Это – ненадежный человек, он только носит маску надежного, может быть, даже не подозревая об этом.

Таких людей немало, в них особенно нуждается именно тоталитарная система.

К сожалению, Тенгизу Буачидзе не удалось воплотить в жизнь задуманное. Как видно, советской, в том числе и грузинской литературе тогда это было не по плечу. Тут требовался талант не менее мощный, чем у Сервантеса или Шекспира. Но, с другой стороны, ставить такую задачу перед литературой очень важно, и в этом отношении нельзя не отнести к идее Тенгиза Павловича с большим уважением.

Мне кажется, эта мысль его никогда не покидала, он критически относился к себе и к другим. Может быть, этим и объясняется, что он нередко надевал на себя маску циника, высмеивал чье-то достижение, чей-то «добрый» поступок. При этом он умудрялся не вредить ни делу, ни личности, его совершившей. Скорее всего, это было своего рода предупреждением с его стороны – не всегда добро то, что кажется таковым, нельзя быть «белой тенью».

Тенгиз Буачидзе находился в своей стихии в кругу друзей за столом. Обладая даром красноречия, чувством юмора и остроумием, столь необходимыми качествами для руководителя грузинского застолья, он никогда не соглашался быть тамадой, но принимал активное участие в его выборе и тут же становился его оппонентом. Его остроумные реплики в адрес тамады, «полеми-

ка» с ним превращали обыкновенное дружеское застолье в истинный праздник.

Я не знаю другого такого человека, который мог бы обратиться к ближнему с обидными словами, не вызывая при этом чувства обиды. Если он обращался к вам со словами «штеро!» («ты, болван!»), это значило, что он любит вас, недружелюбно и действительно болванам он такое не говорил.

Тенгиз Павлович был полностью предан служению литературе. Перед смертью он организовал маленький кружок-семинар для молодых писателей и пригласил меня и Джумбера Титмелия принять участие в его работе. Он хотел передать молодым писателям свои знания и опыт. Мы успели провести всего несколько встреч с молодыми поэтами и прозаиками. Он умудрился преподнести им свои мысли и замечания таким образом, будто сам был заинтересован в общении с молодыми коллегами и с их помощью хотел обогатить свой опыт и писательское мастерство. Это было проявлением настоящего искусства педагога, воспитателя. Увы, эти встречи в холодные, безотрадные зимние вечера продолжались недолго. Потом пришла смерть и навсегда разлучила нас.

Неважно, какое место занимал Тенгиз Буачидзе в грузинском литературном процессе, важно, что он нашел свое место и никто не может заполнить его, разве только его творчеством и воспоминаниями о нем.

1997, № 7-12

Реваз Асаев

Годы

Прекрасен сад в светающей красе
Деревья еле-еле держат ветки.
Чуть розовеют в алых пятнах света
колени яблонь круглые в росе.

Брожу по саду... Яблоневый дух
хмелит, и каждый плод огнем сверкает –
с румяных щек роса, горя, свисает,
дрожит, покуда свет в ней не потух...

Подул вдруг ветер!.. Яблоки летят.
Как будто время жизнь мою качает,
трясет, и я с печалью замечаю –
как годы гулко по земле стучат...

Перевод с осетинского Николая Горохова

1983, №10

Чабуа Амирэджоби

Сказки

Он никогда не пишет их специально. Просто рассказывает, когда его окружают и просят рассказать их маленькие слушатели. Рассказывает увлекательно и вдохновенно, экспромтом, без всякой подготовки, как произносит свои блестящие тосты, насыщенные грузинским народным юмором и мудростью, в дружеской компании взрослых. Для него дети тот самый единственный привилегированный класс, для которого он не жалеет ни времени, ни чувств. И дети очень тонко понимают это. И при каждом удобном случае беспощадно эксплуатируют писателя. Сам отец шестерых детей, которые постоянно дарят ему внучат, он внимателен и ласков со всеми детьми мира — на Кунгсгатан в Стокгольме и на Прадо в Испании, на улице Горького в Москве и на проспекте Руставели в Тбилиси. В нашей московской квартире каждое его появление — праздник, и прежде всего — для детей. Здесь я слышал его сказки, рассказанные по их требованию. За каждую сказку дети угощали его — и себя — лучшим в мире московским пломбиром. Эти сказки, которые я записал по памяти, помог мне пересказать на русский язык наш общий друг, известный детский писатель Геннадий Снегирев. Представляю их на суд читателей — большого и, в основном, маленького.

Юрий Анохин

Вежливый пес

Однажды возвращался с базара крестьянин домой в деревню. По дороге пристал к нему лохматый бездомный пес.

Крестьянин пришел домой, а пес за калиткой остался, молча смотрит на него и не скулит, ничего не просит.

– Вежливый пес, – подумал крестьянин, – пускай остается мой двор караулить.

Накормил крестьянин пса, назвал его Лохматым. И стал пес караулить хозяйское добро.

Всю ночь Лохматый не спал, прислушивался – не лезут ли воры, не крадется ли волк, чтобы поросенка или индюшку украсть.

А утром в последний раз обошел Лохматый вокруг дома и хотел поспать на овечьей шкуре, которую хозяин ему постелил.

Видит, на шкуре свинья с поросятами разлеглась, на него внимания не обращает, только злобно хрюкает: «Смотрите, мол, поросятки, какой-то лохматый пес на нашем дворе появился!».

Отошел вежливый пес и в стороне прилег на травку, поглядывает на свинью и размышляет: «Зачем это свинье овечья шкура нужна?.. Наверное, поросятам на овчине спать мягче, ведь они еще маленькие!..»

Задремал Лохматый на травке, да увидела индюшка с индюшатами, как свинья на его овчине разлеглась, и подумала: «Если эта грязная свинья такого большого пса напугала, так я ему сейчас покажу!».

Индюшка надулась, перья распушила, закулдыкала: «Смотрите, мол, индюшата, какая я храбрая!». И лезет на Лохматого, кулдычит:

– Кулды-булды! Кулды-булды! Кулды-булды!

Лохматый проснулся и думает: «Что это индюшке надо? Наверное, это – ее место?».

Лохматый встал, потянулся, отошел в сторону и на травку

лег, голову на лапы положил и задремал.

— Увидела курица, как индюшка такого большого понапугала, закудаhtала на весь двор:

— Куд-кудах! Куд-кудах! Куд-кудах!

«Смотрите, мол, цыплята, как я этого пса прогоню!»

Захлопала крыльями и еще пуще раскудаhtалась — так налетает на Лохматого, того и гляди клюнет его в нос.

Лохматый открыл глаза, потянулся и подумал: «Нет, не могу я этакое нахальство терпеть!».

Вскочил, набросился на свинью и откусил ей хвостик, а с индюшки и курицы только пух по двору полетел — еле успел убежать!

Услышал хозяин поросячий визг, индюшачье кулдыканье да куриное кудаhtанье. Вышел он на крыльцо, посмотрел на свинью без хвоста, на растрепанных индюшку и курицу и похвалил Лохматого:

— Ты настоящий храбрый и умный пес!

С тех пор, как увидят индюшка и курица свинью без хвостика, так сразу вспоминают, что храбрые не хрюкают злобно «Хрю-хрю-хрю!», не кулдычат: «Кулды-булды! Кулды--булды Кулды-булды!», не кудахчат на весь двор: «Куд-кудах! Куд-кудах!», а скромно молчат. Да только до поры до времени!..

Кошка и мышка

Голодная кошка дремала на кухне. А в кладовой сытая мышка плясала и припевала:

— Сытый голодного не разумеет! Сытый голодного не разумеет!..

Кошка слушала-слушала мышку и решила: «Нет, не могу больше терпеть, съем я эту нахальную мышку! Каждый день от меня злит!..»

Кошка тихонько прокралась в кладовку, притаилась, и только хотела прыгнуть и вцепиться в нахальную мышку — мышка юркнула в свою нору.

Голодная кошка оглядела пустую кладовую и сказала:

— Я за тобой, негодяйка, в нору не полезу, но ты от меня все равно никуда не уйдешь!

А нахальная мышка в норе смеялась, хохотала и кричала кошке:

— Эдаких умных да голодных кошек дай бог и мне, и моим детям!

Кошка ушла голодная и печальная.

Шла она, шла и подошла к оврагу.

В овраге со скалы капля падает:

— Кап-кап! Кап-кап! Кап-кап!

Кошка поглядела вниз. Там лежал большой камень. В камне была дыра. Кошка удивилась, как это маленькая капля пробил дыру в каменной глыбе.

— Кошка спросила каплю: Как тебе, такой маленькой и слабой, удалось пробить дыру в твердом камне?

— Упорством! Упорством! Упорством! — ответила капля. — Взялась я и начала капать в одно и то же место до тех пор, пока дыру не пробил!

Кошка вышла на дорогу. Посреди дороги на асфальте колыхалась зеленая трава.

Кошка оглядела асфальт, удивилась и спросила траву:

— Как ты такой толстый асфальт пробил?

Трава ответила:

— Упорством! Упорством! Упорством! Взялась за дело и все вверх, вверх пробивала асфальт, пока не выпустила к солнцу зеленые ростки...

Пришла кошка в лес. Слышит, на высокой сосне кто-то дерево долбит, как долотом. Посмотрела кошка — на верхушке сосны дятел уперся хвостом в кору и долбит, долбит клювом

дерево.

– Зачем долбишь дерево? – спросила кошка дятла.

– Не мешай! – сказал дятел и опять принялся долбить.

Кончил долбить, вытащил из дырки в коре червяка и съел.

Поняла кошка: «Упорства у меня не хватает да терпения, чтобы эту нахальную мышку поймать, – вот и сижу голодная!

Вернулась кошка домой и притаилась у мышьи норы.

Час ждала, два ждала, устала ждать, да вспомнила каплю меда, камень, траву и асфальт, дятла и червяка и опять затаилась до поры, пока из норы не выбежала нахальная мышка.

Голодная кошка бросилась на нее и вмиг проглотила!

Белка и сверчок

Осенью, когда в лесу поспели орехи, белка вставала рано и уходила в лес запасать орехи на всю долгую зиму.

И в это утро, чуть показался краешек солнца над горой, белка собралась в лес. Да не тут-то было: пришел к ней в гости сверчок.

Белка вздохнула, да виду не показала: поставила свежее угощение. Раз гость в доме – все дела надо забыть!

Сверчок к еде не притронулся. Лег на бочок и начал речать:

– Ты, соседка, трудилась, орешки из дальних лесов носила. Как же я могу быть таким нахалом – прийти к тебе в гости и съесть твои орешки, с таким трудом добытые?

– Угощайся, сосед, угощайся! – упрашивала сверчка белка. – Мне для гостя ничего не жалко!

А сверчок лежит и верещит. Об одной горе кокетничать, о другой горе начнет. Об одном лесе кончит верещать, о другом песню заведет...

А белка сидит и вежливо слушает, а у самой столько дел. Да разве гостя прогонишь?!

Солнце уже давно за полдень перевалило, а сверчок никуда не торопится, знай себе сверчит да сверчит...

Солнце зашло, на небе первая звездочка загорелась...

Постучала к белке мышка.

– Заходи, соседка! – говорит белка. – Садись, угощайся!

– Ох, – сказала мышка, – не до угощения мне! Камешек упал, лапку мне ушиб. Не смогла я в лес за орешками пойти. Голодная я! Дай, соседка, один орешек! Лапка заживет – в лес пойду, верну тебе долг!

– Беда-то какая! – сказала белка. – Бери орешков сколько хочешь! Да не обижай меня – какие у нас долги?! Если мы не поможем друг другу, как проживем?!

– Ах ты, попрошайка! – заверещал сверчок. – Белка старалась, орешки из этойкой дали носила, а ты их у нее выпрашиваешь!

Мышка сказала:

– Я не попрошайка, сверчок! А вот ты настоящий вор!

Сверчок вскочил и закричал:

– Неслыханная клевета! Что я украл?!

Мышка сказала сверчку:

– Я попросила у белочки орешек потому, что камешек зашиб мне лапку и сама я не могу пойти в лес. А ты, сверчок, украл у белочки целый день. Орешек-то вернуть легко, а попробуй-ка верни целый день!..

Да разве сверчка от болтовни отучишь? Он и сейчас по дворам ходит и сверчит и сверчит!

То к мышке в гости придет и весь день сверчит, то к белке, а то в избе притаится за печью и всю ночь то об одной горе сверчит-рассказывает, кончит – о другой горе песню заведет. Об одном лесе начнет сверчать-рассказывать, устанет – о другом лесе засверчит...

И так всю ночь спать мешает уставшим за день хозяевам.

Злой человек

Жил на свете злой человек.

Однажды вышел он из своего дома и пошел по дороге.

Идет, идет злой человек, под ноги не глядит.

Вдруг слышит он чью-то мольбу:

— Человек! Человек! Помогите мне!

Злой человек остановился, видит — зеленый росток тянется к солнцу.

— Дай бог тебе радости! Толкни, пожалуйста, ногой этот камень — он мне расти не дает!

— А что ты за дрянь такая? — спросил у зеленого ростка злой человек.

— Фрукт я!

— Фрукт? Не горийский ли ты персик?¹ — засмеялся злой человек.

— Я не горийский персик, я — простая груша! — ответил зеленый росток. — Убери этот камень: я вырасту, стану большим деревом. Ты или другой человек пройдете по этой дороге, и я угощу сладкими, сочными грушами!

— Камни для тебя перекатывать? Еще чего! Ты меня батком хочешь сделать? — закричал злой человек, пнул ногой зеленый росток и затоптал его. Пошел дальше злой человек, видит лесной поляне муравейник.

— Зачем вы здесь такую кучу мусора навалили? — закричал он на муравьев.

— Добрый человек, это наш дом, — вежливо сказали ему муравьи. — Мы его по веточке, по хвоинке собирали! Будьте осторожны, не повредите наше жилье!

Злой человек громко засмеялся, наступил ногой на муравейник, растоптал его и пошел дальше. Догнал злой человек

¹ Горийские персики славятся своим вкусом и ароматом.

седую старушку. Она была такая старая, что еле-еле шла по дороге, несла в руке корзину с лепешками.

– Эй ты, старуха! Что там у тебя в корзинке? – закричал злой человек.

– Это, сынок, лепешки. Не хочешь ли поесть, пока они горячие?

Злой человек и слушать не стал старушку: выхватил у нее корзинку и пошел дальше.

Только не знал злой человек, что старушка была волшебница.

«Доброе животное лучше злого человека!» – подумала старушка и сказала вслед злому человеку:

– С этих пор добрыми делами будешь свой хлеб добывать: выюки чужие будешь носить, а пот свой проливать!

Злой человек вмиг превратился в осла. Только жаль, забыла старушка добавить: «Не брыкаться тебе больше и не орать!».

Если бы старушка-волшебница сказала это, осел бы не кричал и не лягался, когда его запрягают в тяжелую арбу.

Перевод с грузинского

1985, № 6

оп. в.л.п. 1982-1986 г.т. *Гурам Асатиани*

Как любили в Грузии

Мысль о том, что каждый народ понимает любовь по-своему, впервые родилась у меня на Филиппинах.

Звездопад в обычном понимании этого слова – обильное падение метеоритов, но, вот в стихах одного молодого филиппинского поэта я нашел такие строки:

С темного неба звездным потоком
Низвергнутся слезы любимой...¹

В этих словах заключалось нечто большее о характере обитателей далеких островов, нежели в сведениях, почерпнутых из этнографических справочников.

Мне показалось, что в словах этих сконцентрировалось жаркое дыхание услышанных мною на острове мелодий, дышавших диковинных цветов... Вспомнились строки из стихотворения Галактиона Табидзе « Август ».

И словно хлынул поток раскаяния
Впервые в жизни согревшей девы...

Но это всего лишь невольные, вызванные отдаленным сходством ассоциации.

В любви эстетически значительно то, что более или менее выходит за рамки тривиального, что необычно, уникально, дойдено до предела.

Монтень считал, что высшим проявлением любви римлянки были слова жены консула Пэта: « Paete, non dolet »

¹ Здесь и далее стихи даны в подстрочном переводе.

Как гласит предание, консул Пэт, спасая свою честь, по велению императора должен был покончить жизнь самоубийством. Он долго не решался на это. Тогда, чтоб помочь любимому человеку, жена вырвала у него меч, у всех на глазах пронзила себе грудь и, умирая, успела произнести: «Пэт, это совсем не больно».

Великая любовь немислима без большой внутренней культуры (не образования, вкуса или же внешнего лоска, а глубокой внутренней нежности), в частности, без чувства ритма.

В «Докторе Фаустусе» Томаса Манна Кречмар обучает музыке молодого Левверкюна и его друзей – приобщает их к тайнам музыкальных шедевров.

Одна из сонат Бетховена не завершена, в ней отсутствует последняя часть, что, безусловно, нарушает узаконенную композицию этого жанра.

Кречмар, с удивительным вдохновением исполнивший эту сонату, обращается к аудитории:

– Неужели к этому можно было еще что-то добавить? Неужели после такой разлуки, такого прощания возможна встреча?

Вот она – классическая форма любви. Отсюда проистекают пронзительные пушкинские строки.

Но пусть она вас больше не тревожит,
Я не хочу печалить вас ничем.

И у Акакия есть такие слова:

Ты любила меня, но затем разлюбила,
Ты одна вольна повелевать своим сердцем...

Вышесказанному противостоит романтическое понятие любви как любви беспредельной, как бескрайний экстаз и вечная неумность.

Хрестоматийный образец романтической любви – «Страндания юного Вертера» Гете.

Подобная страсть свойственна была и Николозу Баратавили (ведь не доказано, что, оставшись наедине с гянджинскими ночами, поэт не покончил жизнь самоубийством).

Богиня любви знает цену жертве, «терпению», но бола всего – предельным проявлениям человеческих страстей. С одинаково милостива к каждому, кто возложил на ее алтарь жертвенного агнца искренности. Вот почему в царстве любви могут смело сосуществовать Беатриче и Манон Леско.

Наш век породил некоторый скепсис к этому чувству. Блговорил, что канули в прошлое времена Паоло и Франчески Рамини, но в памяти потомков сам он остался менестрел «Прекрасной дамы», апостолом любви, а не могильщиком.

В прошлом веке в поисках новых истоков любви устремились в экзотические страны: Байрон – на берега Иордании, Мериме – в Испанию, Пушкин – к цыганам Бессарабии, Гюген на Таити, а Лермонтов – на Кавказ.

У любви есть свой международный код и постоянный символ, понятный всем, будь он выгравирован на драгоценном браслете аристократки или же на татуированной руке бродяги.

И все же всегда и повсюду истинная сила любви – в удивительной, неожиданной новизне переживаний, которые родили в грузинской поэзии следующие строки:

Неужели и порыв этой души
Назывался любовью, как и у других?

Понятие любви меняется не только у народа в целом, но и отдельного человека – в результате прожитых лет, его душевного состояния и, разумеется, предмета любви.

Но, как и любой из нас, так и народ в целом обладает некой существенной, сохраненной глубоко в тайниках души и неизменной субстанцией любви.

И труднее всего познать именно эти глубинные свойства

любви.

Какой образ может лечь в основу эмблемы любви грузинской?

Определенного ответа на этот вопрос у меня нет. Чем ближе предмет, тем труднее его целостное восприятие.

Помнится, в детстве я нередко слышал, как один из поэтов старшего поколения, прогуливаясь с друзьями, непременно вспоминал такие строки:

Ты — моя великая надежда,

Башня, выстроенная на извести...

Он читал их, словно это были строки величественного гимна. И только позднее я понял, что это были любовные стихи, и слова «башня» и «известь» относились к облику любимой женщины.

В этих стихах некая тайна, которую я, вероятно, так никогда и не разгадаю. Особенно волнуют меня два слова: «великая надежда». Не думаю, что это сказано ради благозвучия. В них сокрыт иной смысл, более емкий, более значительный. Почему столь явственно здесь ощущение вечности и непреложности (или же, «башня» лишь внешний облик любимой. Что же все-таки это — плоть или материя?).

А слово «известь»? Неужели оно понадобилось автору лишь для обозначения белизны лица любимой? Хотя в другом народном стихотворении прямо говорится:

Девушка, ты бела,

Как известь на стене церковной,

Вспомню тебя среди ночи,

Просыпаюсь и рыдаю.

Так для чего все-таки автор этих строк обращается к слову «известь» — чтобы подчеркнуть белизну лица или же имеется в

виду обожженная известь – символ твердости и непреклонности?

И еще: стихотворение, которое читается как величественный гимн, в котором все возвышенно, патетично, пронизано удивительной чистотой «источника бессмертия», неожиданно завершается словами, обнажающими земную страсть:

Мне бы насытиться любовью твоею,
Мне бы всю ночь пребывать с тобой.

В чем же все-таки созвучие этих двух потоков? С одной стороны, величественный гимн возвышенной любви, с другой – земная страсть.

Какая мысль заложена в контрастном единстве столь отличных друг от друга звучаний? Где следует искать основания или же истоки души и материи, столь прочного слияния «неба и земли», или же первопричину того необычного феномена, который Важа Пшавела называл синтезом предельного идеализма «предельным реализмом»?

Древнейшие отголоски «любви грузинской» дошли до наших дней благодаря античным памятникам. Греческий источник – миф о Мееде, и римский – приключения Радамиста и Зенобии.

Костяк этих двух трагических сюжетов – чувство любви, первопричина трагедии – разбитое счастье или же утерянная любовь.

Обе истории необычны и, вероятно, потому вызывая столь острый интерес греческих и римских авторов.

В обоих преданиях решающие поступки осуществляются на фоне крайней аффектации, но сам аффект осмыслен как естественное проявление данного характера, закономерный результат его эмоционального строя.

Не исключено, что предания о Мееде, а также о Радамисте и Зенобии родились в Грузии и были использованы писателями

других стран. Ак. Церетели, в частности, не сомневался в грузинском происхождении сюжета о Медее.

Можно смело предполагать, что грузинский первоисточник выразил в этих сюжетах нравственные представления народа. Месть Медеи осмысливалась как аномалия, не свойственное человеку экстремальное действие.

Месть Медеи – это крайнее проявление ненависти, вернее любви, переросшей в ненависть, крайняя форма именно той «вражды», которая, по мнению грузина, в отличие от любви «созидающей» является первопричиной «разрушения» (или же антижизни, уничтожения жизни).

Геронтий Кикодзе в статье «Из психологии древних иберийцев» отмечал: «Как же беспощадны были они (предки грузин – Г. А.), когда вопрос касался их личного счастья!..»

С общей точки зрения это скорее языческая, «антихристианская» форма поиска счастья.

Грузинский характер, судя по произведениям наших классиков (в первую очередь Ш. Руставели), – характер, ищущий счастья, и любовь для него – высочайшая форма исполнения счастья.

Как известно, христианство создало собственную модель счастья и любви. Христианская (церковная) литература Грузии в основном утверждает ту же модель, согласно которой земное чувство, разумеется, исключается (или же, максимально ограничено), но тот, кто внимательно читал грузинские гимнографические сочинения, непременно заметил потаенную земную страсть, удивительный жар переживаний, сопутствующих любви к Всевышнему.

Разумеется, грузинская духовная поэзия в этом смысле не является уникальной в мировой литературе. Я лишь хочу подчеркнуть, что большая часть ее образцов относится к тому ряду созданных христианством поэтических творений, эмоциональную тональность которых определяет земная страсть.

Не следует забывать также, с каким увлечением переводили в Грузии те части «Ветхого завета», которые и по сей день считаются апофеозом земной любви: я имею в виду подлинную жемчужину грузинского перевода – «Песнь песней».

Небезынтересно также, что грузинская духовная поэзия не только не обходит стороной тему страстного влечения двух людей, но проявляет определенный интерес к сексуальной любви.

Если эротическая сторона конфликта Шушаник и Варскел сегодня всего лишь спорная гипотеза, то совершенно очевидно художественно-эмоциональное звучание пассажа из «Жития Григола Хандзтели», в котором передана история страстного увлечения Ашота-Курапалата. «Как я завидую тому, кто умер мертв», – это лапидарное признание отчаявшегося героя произведения выражает не только земную грусть, в словах этих – болен израненной души.

Характерным образцом грузинского варианта божественной любви можно считать стихи «Ты – виноградник» царя Дмитрия, легшие в основу дошедшего до нас христианского гимна

Ты – виноградник цветущий,
Побег благодатный, в эдеме посаженный,
Благоуханный тополь, в раю взошедший...

Предмет религиозных переживаний выражен в образе вечной весны, земного плодородия, возрожденной жизни.

Вообще мотив «религиозной эротики» – довольно распространенный в грузинской духовной поэзии.

Следует также признать, что какого бы происхождения была христианская символика виноградника и лозы (креста и лозы), расцвета своего достигла она именно на грузинской почве.

О том, что думали наши благословенные предки о земной любви (как об одном из тяжких «грехов»), свидетельствует прочитанная недавно надпись на могильном камне в Кобаирском монастыре (XIII в.):

Ушли мы из мира грешные и померкшие,
Сердце пылает огнем, изо рта изрыгается пламя,
От освобождения великого останутся (на мне) обрывки

Благословен ты, Христос, благословенны заповеди твои...
чохи,

Художественный образ обладает самостоятельной силой воздействия, которое нередко превышает масштабы задуманного автором. Здесь – именно такой случай: это вечно пылающее сердце, которое и в могиле продолжает гореть («изо рта изрыгается пламя»), сообщает нам гораздо больше о страстях, вызвавших роковой огонь, нежели хотел того автор эпитафии. Можно предположить, что написавший эти строки, будучи морализатором, имел в виду традиционное представление об геенне огненной, но когда он писал эти строки, в нем, вероятно, проснулся и поэт.

Благодаря образной логике земная страсть предстает перед нами более сильной стихией, нежели смерть.

Я позволю себе домыслить метафору этого четверостишия, развить ее: эти красные языки пламени, вырывающиеся из-под земли, очень похожи на тот розовый куст, что вырос, по народному преданию, на могиле Абесалома и Этери...

Мы знаем, что любовь и на Западе, и на Востоке создала свою метафизику.

В Европе один из самых тонких исследователей этого чувства Стендаль в трактате «О любви» говорит о различиях между национальными «видами» любви и обретенном благодаря им счастье, в особенности, между французским и итальянским.

Отличительной чертой французского «вида» представляется ему диктат тщеславия, итальянского же – обнаженной, глубокой страсти.

Тщеславие проявляется в основном в галантности, которая, по мнению Стендаля, неотделима от грации, утонченности, а

счастье, основанное на чувстве (или же итальянский вариант – Г. А.), не может быть предметом тщеславия.

Что можно сказать в этом смысле о грузинском «виде» понимания любви? Если исходить из классификации Стендаля, то грузинский «вид» любви нечто среднее между французским и итальянским, ибо мы в достаточной мере тщеславны (в соответствии грациозном его оформлении) и не обделены также подлинными страстями.

Примером того, что нашим предкам было известно о роковой силе страстей человеческих, могут служить сегодня образцы народной поэзии.

В этом смысле особый интерес представляет образ Мурмана в «Этериани». Именно в этом образе, чрезвычайно интересном образе грузинского фольклора, отразилась с особой экспрессией «диалектика» любви – ее противоречивая суть.

Счастье для Мурмана заключается лишь в обладании любимой женщиной, и он готов принести на алтарь любви любую жертву, даже собственную душу. Мужское самолюбие и страсть в Мурмане составляют единый импульс, который и определяет его характер и поступки. Действиями Мурмана руководит замутненное страстью сознание, потому-то и смешалось у него все: «любовь» оборотилась «враждой», желание «созидать» – «разрушением».

Глубоким проникновением в «диалектику» любви отмечена поэма Шота Руставели «Витязь в барсовой шкуре». Внутреннее, социальное (в определенные моменты – подсознательное) развитие этого чувства в героях поэмы выявляет его богатство и многокрасочность.

«Послание Нестан-Дареджан к ее возлюбленному» может поначалу показаться читателю типичным образцом письма романтически настроенной героини, однако вспомним, какую сильную женскую страсть проявляет она при первой встрече с Таризлом.

Именно в разгневанном облике возлюбленной раскрылся Таризелу впервые ее характер, который и продиктовал ему выбор барсовой шкуры в знак его верности любимой.

«Лишь царевича убей ты...» – советует своему возлюбленному Нестан-Дареджан, и слова эти продиктованы не замутненным отчаянием сознанием, а осмысленным планом действия.

Можно сказать, что именно в этих чертах характера Нестан особенно ярко проявились отпечатки языческого понимания любви (борьбы за счастье).

Но развитие ее характера не завершается этим.

В Нестан, полоненной каджами (когда душа ее соприкоснулась с истинной болью и отчаянием), остроту страсти постепенно заглушает более сильное, более глубоко осознанное чувство.

Нет, любовь Нестан не ослабла, но в ней проснулась не свойственная ей прежде мягкость и нежность, забота о ближнем. Теперь Таризэл для нее не только рыцарь ее мечты, которому она вольна приказывать совершать геройские подвиги, связанные с риском и опасностью, а человек, которого она любит нежно и беззаветно.

Мы еще раз убеждаемся в том, что автор поэмы не только нарисовал определенный характер своей героини, но и показал естественное, психологически закономерное его развитие, и не трудно заметить, что эволюция характера следует именно по тому пути, которым прошло грузинское мышление от язычества до христианства, – не по пути полного самоотрицания, а весьма своеобразного взаимовлияния, взаимообогащения.

Последующие поколения грузинских писателей, в отличие от Руставели, предлагают сравнительно простые концепции любви, но нередко (в особенности в пору грузинского Возрождения) и здесь возникают перед нашим взором удивительные вершины художественного видения мира.

Стихотворение Бесики «Стан красавицы» с рафинирован-

ными мотивами древнегрузинской любовной лирики стало своеобразным лирическим евангелием, в котором последователи Бесики находили готовые поэтические рецепты.

Осмысление любви как трагедии по инерции переходит творчество последователей Бесики, но со временем мотив этот, теряя свою внутреннюю оправданность, становится лишь своеобразной галантной поэтической игрой. Это – игра чувствами, образами, ритмами. «Голая» страсть уступает место головокружительным восхвалениям, подлинный трагизм – мастерски разыгранно мелодраме.

В поэзии Давида Гурамишвили неизмеримо острее, нежели в творчестве других поэтов его эпохи, ощущается живая, неординарная личность со своими живыми неординарными переживаниями. Она пронизана особой устремленностью к интимным мирам реального человека.

Духовная близость грузинских романтиков с поэтически миром Гурамишвили берет начало в настрое, который особенно остро ощущается в строках:

Плоть – лишь грязь земная,
Истоптанная ногою бытия,
Душа же, свободная от плоти,
Бессмертна...

Хотя в творчестве самого Д. Гурамишвили ощущается другая стихия любви, теплым дыханием которой овеяны многие его произведения.

Не случайно, в частности, автор «Зубовки» так естественно воспроизводит земной облик своего божественного вдохновения («ту, что откроет ему врата в вечный мир»), что современный читатель и не сомневается, что кроме прекрасной внешности украинской красавицы и страсти, вспыхнувшей в поэте при виде нее («у чернобровой красавицы на белом лице чернела родинка»

здесь можно подразумевать какую-либо трансцендентальную идею.

В XIX веке тема любви в грузинской поэзии претерпевает весьма значительную эволюцию.

Первым маяком на этом пути эволюции можно назвать Александра Чавчавадзе. В отличие от Руставели в лирике Ал. Чавчавадзе это чувство осмыслено прежде всего как источник земного сладострастия.

Не пылайте любовью к розе, лишь созерцая ее...
 Приблизьтесь, сердцем прикоснитесь
 И испытайте сладость любви.

Любовь для Ал. Чавчавадзе, в какой бы эмоциональной тональности ни воспевал он ее, это — простое, обычное чувство, равно доступное и понятное каждому человеку. Ему неведомо ощущение того необычайного душевного порыва, которое вложило в уста его младшего современника Николоза Бараташвили следующие слова:

Язык простого смертного
 Бессилен высказать чувства бессмертных.

Григол Орбелиани в этом смысле приближается к новому рубежу «чувственности». Именно он первым из поэтов прошлого столетия приблизительно тогда, когда писалось тютчевское «Silentium!», с не меньшей остротой выразил в своем «Прощании» романтическую неудовлетворенность словом как средством выражения интимных переживаний человека, ибо истинная любовь не находит слов для самовыражения, и потому вздыхает и молчит...

Творчество Григола Орбелиани отмечено печатью определенных противоречий. Любовная тема пронизана внутренним,

скрытым конфликтом между сенсуализмом и новым романтическим представлением о любви.

Но, подлинное обновление грузинской любовной лирики связано с именем Николоза Бараташвили.

Бараташвилиевское понимание любви противостоит эротической концепции Бесики и в особенности Александра Чавчавадзе.

Красота – достояние человека земного,
И, как цветок, завянет она, лишь придет ей срок...

Или же:

Сердце, проникнутое лишь земной красотой,
Изменчиво и недолговечно,
Прекрасна красота, с небес сошедшая,
Коей озаряется всякое чувство, сердце и душа,
И почему ты не веришь, что среди людей, как
частицы божественного,
Может существовать вечное благо любви.

В этих словах заключено новое, эпохальное осмысление любви.

Разумеется, Бараташвили не был равнодушен к красоте называемой им «талантом земного». Но автор «Мерани» видит главное содержание поэзии (в отличие от Руставели и впоследствии от Важа Пшавела) не в «многокрасочности действительности, но, в основном, во внутреннем, духовном. «надматериальном» мире человека.

Эта неземная и, стало быть, вечная реалья, на его взгляд, более высокое проявление прекрасного, нежели та земная красота, которая, по мнению поэта, брэнна.

Следует, однако, заметить, что своеобразное это мировое

зрение не переросло в ограниченный эгоцентризм. Правда, любовь для Бараташвили – неповторимое интимное движение души, не имеющее ничего общего с тривиальным толкованием этого чувства, но не случайно при поэтическом его воспроизведении поэт обращается к богатым «материальным» формам и краскам действительности и именно этим путем пытается придать лично-му, субъективному переживанию универсальное содержание.

В стихотворении «Не осуди, возлюбленная, своего поэта» вызванный любовью настрой переходит во всеильную, всепоглощающую духовную энергию, которая, подобно грандиозным вспышкам на поверхности солнца, направлена не в глубины интимного мира поэта, а распространяется в безграничном «космическом» пространстве. Любовь – это жажда всеобщего блага, универсального добра и, стало быть, она обретает деятельный и животворный характер.

Я бы хотел быть солнцем, чтоб лучи мои сопровождали
день,

Ночью покинуть небо, чтоб оживить утро,

Хочу быть звездой, предвосхищающей рассвет,

Чтоб появления моего ждали птицы и розы...

Любовная лирика Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели открыла новую страницу в грузинской поэзии XIX века. Особенно характерно в этом смысле раннее стихотворение И. Чавчавадзе «Черным глазам» (1858 г.). Главное для поэта – внешность женщины, однако метафористика стиха не имеет ничего общего с «восточным» дифирамбным стилем. Глаза возлюбленной сравниваются с «бездной», «с бушующим морем», поэт видит в них «свободу орла». Это для поэта органичный, продиктованный независимыми ассоциациями образ.

Формально в своем раннем стихотворении «Тогда я испытал сладость рая» И. Чавчавадзе очень близок к лирике Н.

Бараташвили — «робостью девушек», «стыдливостью», «молитвой», «мягкосердечием» и т. п. Однако главное в этом лирическом произведении — не сугубо романтический настрой, не ведающий земных страстей, а пылкая юношеская любовь, сдерживаемая рыцарским почтением к возлюбленной:

Томимый страстью, но почитая тебя,
Я не смею жаждать твоего поцелуя.

Илья Чавчавадзе был духовно гармоничной личностью, хотя он до конца своей жизни оставался человеком верующим. Он не раз проявлял свою приверженность к этическим идеалам христианства, — в его интимной лирике в отличие от Бараташвили мгновенное и вечное, земное и духовное не являлись понятиями полярными.

В ранних стихах Акакия Церетели «Тайная записка» «Любовь», «Кроткая любовь», «Имеретинский стих», «Мухамбази» любовь разбавлена легкой грустью, болью неразделенно любви и чувством примирения с этой болью. Подлинно драматические мотивы появились в его лирике сравнительно позднее.

Интересно в этом смысле стихотворение «Пока я бы молод» — лирическое повествование о неизлечимой боли, жажде человеческого тепла, внимания, ласки, о мучительно чувстве одиночества. И как ни странно, строки эти принадлежат не безвестному, скитающемуся вдали от родины поэту, но поэту, которого боготворила вся Грузия.

В прошлом столетии национальная концепция любви окончательно кристаллизуется в творчестве Важа Пшавела, для которого любовь — субстантивная черта всего универсума, или ж та скрытая закономерность вселенной, которую должны постичь «прозревшие глаза» человека и уверовать в нее. Именно в этом кроется ключ к трагической мудрости Миндии и именно здесь истоки его новой жизни, сверхчувственности, сверхжизни

Миндия терпит поражение в столкновении с обыденностью, с жизнью без любви и без чудес, но он уже знает, что универсальная всеобщая любовь продиктована самой природой, ибо в основе самого объективного существования человека заложено зерно чуда – возможность невозможного. Вся судьба Змеида не что иное, как героическая, отчаянная борьба за освобождение этой чудодейственной силы от бездушия и невежества.

Вот так, примерно такими путями дошла до нашего столетия трактовка любви, у которой и в новую эпоху нашлись свои певцы.

Ставшие уже классическими образцы интимной лирики XX века с сегодняшних позиций являют собой скорее сложные анти-тезы, нежели часть одной системы.

Так, Галактион Табидзе (в лучших своих произведениях) противостоит эротике стихов Иосифа Гришашвили, «сопоставляется» с Паоло Яшвили близкий ему по духу Тициан Табидзе.

Юношеский «пыл» в стихах Георгия Леонидзе противостоит «обузданной любви» в поэзии Симона Чиковани.

Новым качеством пополнилась тема любви в творчестве Ладо Асатиани, Мирзы Геловани и Александра Саджая. Судьба каждого из них – подтверждение высокого традиционного назначения любви.

Как мне не хочется, как мне не хочется,

Но все-таки я ухожу, я покидаю тебя ...

Слова эти исторгнуты из души целого поколения, поколения, оставшегося «вечно молодым».

В поэзии XX века больше всего красок (вернее, оттенков) любви мы находим в лирике Галактиона. Ни один грузинский поэт после Н. Бараташвили не передавал столь трепетно изменчивость интимных переживаний, неосознаваемые их нюансы. Но главное все-таки в другом: любовь в лирике Галактиона не

просто одно из высочайших свойств человеческой души, не просто одна из сторон внутренней жизни человека, но главное, основное средство взаимосвязи с миром и эстетического познания его краеугольный камень всего сущего («Без любви на этом свете ветер не веет»). И в то же время любовь – это целая поэтическая галактика со множеством созвездий, планет, «туманностей».

И так из века в век, из поколения в поколение передавало свое, национальное осмысление этого вечного чувства – Любви.

Руставели, Гурамишвили, Бесики, Бараташвили, Вах Галактион – каждый второй в определенном смысле отрицательный, третий – второго и так далее. Но все-таки что же объединяет их в едином национальном контексте?

В грузинской поэзии величайшая форма любви – любовь трагическая, вызванная сознанием того, что страждущая душа никогда не обретет покоя, что любовь как жажда абсолютно счастья неисполнима, что чувство это по своей природе роковым образом связано с неосуществимостью, ибо счастье в полном понимании этого слова – недостижимая мечта.

Грузинскому духу ведомо все это, он осознает благо, дарованное ему именно в этот отрезок времени, но именно пределами этого ощущения начинается то, что заключает в себе суть постоянных поисков, самоотверженной схватки, трагической борьбы.

Именно в силу того, что любовь относится к ряду самых невозможных невозможностей, именно в силу этой истинно грузинский дух с особой самоотверженностью, вдохновением, с мазохизмом ищет ее смытые следы, ибо в постижении невозможного, с точки зрения обыденности и практичности, видит грузинскому духу смысл и цель жизни.

Ярче и острее всего это стремление проявилось в лирике Бараташвили. Однако было бы великой ошибкой объяснять подобное стремление главным образом присущей грузинскому характеру идеализацией жизни, ибо грузинский характер наделен

и другими, более значительными, чертами.

Под толстым слоем тьмы и неверия грузинскому духу всегда виделись неисследованные месторождения счастья, любви и красоты. В этом смысле все пики грузинской поэзии находятся на одном горном хребте.

Любовь – первопричина поэзии. Человечеству это известно с колыбели. И пока народ способен любить, способен выразить это чувство в поэзии, ему не суждено стареть.

Все в этом подлунном мире дряхлеет и пылью и пеплом возвращается в недра вечности.

Время обрушило тысячи вавилонских башен.

Голоса тысяч гордецов затерялись в молчании безмолвных пустынь.

Пустуют сады Семирамиды...

Кто знает, сколько страстных и тщеславных искателей тщетного счастья и славы были обречены на гибель!..

Но в один прекрасный день сквозь могильный камень пробьются нежные ростки граната и из векового холода саркофага вновь просочится слабый, беспомощный и неумирающий голос:

– Дзевах, жизнь моя!

1985, № 7

Александр Златкин

Послание к людям

«Мир его персонажей телесен, разнообразен и неспокоен, и поисках населяющими этот мир людьми чего-то нового, в и стремлении к постижению он вырастает беспредельно. Это — ми веселый и непоседливый, порой странноватый, доводимый автором до гротеска, но в какой-то момент оборачивающийся чистыми и светлыми гранями простых человеческих характеров», писал в предисловии к рассказам Годердзи Чохели, впервые изданным на русском языке¹, Нодар Думбадзе.

Персонажей Г.Чохели и героями-то назвать трудно. Разе похож на героя, например, бедняга Максинаи, унесенный орлицей, которую сам он безуспешно пытался поймать? Он озобочетем, чтобы орлы его не заклевали, чтобы не умереть от голода жажды. На его глазах появляются на свет маленькие орлята, в его же глазах умирает подстреленный людьми орел-кормилец таскавший ягнят из его, Максинаи, ныне беспризорной отары (сам пастух питается обедками орлиных трапез — орлы не дадут ему погибнуть от голода). И теперь уже сам Максинаи помогает орлице таскать добычу птенцам. Конечно, его ищут люди. Он устраивают засаду у источника, куда прилетает орлица с пастухом утолять жажду. У самой воды оставлен нож: единственный способ для Максинаи освободиться — это отсечь орлице ноги, так как когти ее пронзили его руки насквозь. Орлица опускается в воде, пастуху удастся незаметно для нее завладеть ножом, к ним бегут люди с палками, у орлицы не хватает сил взлететь... И ту Максинаи вспоминает о трех голодных орлятах, оставшихся в гнезде, которым он в шутку дал при рождении имена. Внезапно

¹ Годердзи Чохели. «Послание к елям». Перевод с грузинского А. Абуашвили. М., «Молодая гвардия», 1983 г.

он делает усилие, помогая орлице подняться в воздух, и улетает вместе с нею — он, страстно мечтавший об освобождении, о возвращении к людям...

EN Думается, что Годердзи Чохели ведет речь не столько о любви человека к природе, сколько о некоем высоком, вольном ощущении человеком себя частью мироздания вообще. Именно поэтому, быть может, даже самые причудливые сюжеты писателя не вызывают недоверчивого раздражения: «Так не бывает». Едва ли кто-нибудь встречал человека, на плече у которого выросла ель, но Г.Чохели рассказал об этом так, что факт сомнений не вызывает. Собственно, дело даже не в том, что именно происходит, — важно, как относятся к происходящему люди. Великолепен и трагичен протест Гамихарды против людской несправедливости («Письма от рыбы»): оскорбленный человек решает уйти от людей и стать... рыбой! Проблема такого превращения никого не смущает; в другом рассказе горец, которому пришлось сыграть в кино оленя, и в самом деле почувствовал себя оленем, и понадобилось снимать «фильм наоборот», чтобы убедить его снова стать человеком. Ничего удивительного — ведь мир един. Тринадцатилетний мальчик братается с орлом и относится к этому настолько серьезно, что ценою собственной жизни спасает своего побратима от гибели («Побратим Гигии Бубунаури»).

DE Книга Годердзи Чохели — это гимн жизни и доброте. Гимн этот своеобразен и неоднозначен. В рассказах присутствуют и смерть, и злоба, и страдание, и отнюдь не всегда они бывают побеждены. Но к смерти здесь относятся спокойно, деловито, просто как к неизбежной, даже необходимой части бытия, и никак иначе. А главное — здесь верят в высокий смысл своего жизненного пути, стало быть, верят в справедливость и ищут ее с какой-то гениальной наивностью; на земле эти люди не чувствуют себя пришельцами, этот мир, эта планета — их родной дом, и они слишком хорошо сознают полную меру своей огромной нравственной ответственности, чтобы идти на какие-либо

сделки с совестью.

Рассказы Годердзи Чохели очень зримы и динамичны, как бы выдают еще одну профессию автора – кинорежиссера. Впрочем, если сравнить, например, его рассказ «Хевсур Бакурхеви» с короткометражным фильмом, снятым по нему тем же автором, мы убедимся, как тонко чувствует Чохели разницу между литературой и кино, их специфику. Язык его мускулист и изящен; будучи вполне современным, он носит отпечаток древней народной баллады... К сожалению, языковые достоинства прозы Г.Чохели несколько ослаблены переводом, которому недостает свободы и раскованности.

Книга Годердзи Чохели вышла в серии «Молодые голоса». Следует признать, что этот «молодой голос» чист, силен и сибилен.

...Герой рассказа «Послание к елям», взрастивший ель себе, питая ее собственной плотью и кровью, предчувствует смерть человеческой части своего как бы раздвоенного существа. Идет в лес, выкапывает глубокую яму и, встав в нее, тою землей засыпает себя по пояс:

«Последнее, что почувствовал Бери, это то, как два течения сливаясь воедино, претворились в неразрывное однородное лое, тотчас вцепившееся тонкими корнями в землю.

Первое, что почувствовала ель, был восход солнца (землей)».

1985, № 12

А
1992

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ



2-3

1986 – 1996



Миминошвили Роман
верьянович (1928-1997), литер
ровед, переводчик, доктор фи
логии. Родился 3 мая 1928 год
селе Суджуна Абашского райс
В 1952 году окончил филоло
ческий факультет Тбилисск
государственного университ
профессор кафедры классичес
филологии ТГУ, сотрудник И
титута грузинской литературы
Шота Руставели АН Грузии,
1974-1981 гг. на партийной ра
те; в 1981-1986 гг. – секрет
правления Союза писателей Г
зии, в 1986-1996 гг. – главн

редактор журнала «Литературная Грузия», а в 1992-1997 гг
член Парламента Грузии.

Первое стихотворение опубликовал в 1945 году, пер
книга «Муза Эллады» (Антология античной греческой поэз
опубликована в 1963 году. Автор более 20 научных и худож
ственно-публицистических книг, а также грузинских перево
«Энеиды» Вергилия (1976) и «Илиады» Гомера. Лауреат прем
Иванэ Мачабели.

Отар Чхеидзе

Домино

С балкона нет никакого вида. Густые ветви деревьев провалились в него. Однако балкон есть балкон. Здесь лучше. Прохладней. И домино разложено на столе. Домино – культ семьи. Точнее, главы семьи. Назовем его Габриэлом. Клички не надо – и без того в моих этюдах слишком много скопилось кличек. У Габриэла она, конечно, тоже есть. Языческого происхождения кличка, но будем называть его библейским именем Габриэл. Домино – его культ. Никак не шахматы, хотя наши шахматные историки уверяют, что у нас в старину в списках приданого непременно упоминались шахматы. Не знаю, не уверен. Во всяком случае в приданом жены Габриэла шахматы отсутствовали. И нарды отсутствовали. Да и не признавал Габриэл нарды. Он признавал домино.

И стучат костяшки. Игра идет острая, напряженная, азартная (не сейчас, нет – порой), и Габриэл доволен. Чем-то доволен: то ли намерением скинуть такую-то костяшку, то ли своего добился, исполнилось желаемое. Пускай, допустим, редко исполнялось, ну и что с того – костяшки-то хлопают, разносят в клочья тишину квартала, тишину деревни. Деревня равнинная. Сам знаешь, что там да как. Все равно, буду напоминать время от времени. Деревня утопает в фруктовых садах. Если бы горная была... Если бы смотрелась в ущелье виноградная аллея Габриэла... И не говори!.. Стоял бы один сплошной гул – хоть гложни.

Утром застучат костяшки домино. Они падают, как метеоры, шлепаются с треском, вся поверхность стола исчерчена-перечерчена, выщерблена, испещрена наипричудливейшими рисунками, криптограммами, иероглифами, лицами, фигурами геометрического вида. Но главное – криптограммами и иероглифами. Когда Габриэл их рисует (рисует или пишет) и когда он же

их читает — он вычитывает свое будущее. Не сейчас. Ни в кое случае. Сейчас он неохотно продвигает костяшку. Неохотно, но довольно. Порой щелчком выбрасывает вперед. А все же это него ладно получается, так что и поправлять не надо — садит костяшка к костяшке, а он сам того и не замечает, не красует ничуть. Вовсе нет — сердит Габриэл.

— Уважь! — говорит Габриэл. Он сердит. На костяшки и смотрит. Не считает, не вычисляет, хотя, впрочем, ему и без того они известны. Заходит, не глядя. Не ошибется. Рисует, не глядя, читает, не глядя. Однако же не сейчас. Сейчас он сердит.

— Уважь!.. — вслед за Габриэлом говорит один из сыновей и сходит костяшка.

За ним второй:

— Уважь!

Они, как и отец, играют вяло, не присмотрятся, не взглянут на костяшки. Их подвели. Вот они ничего и не хотят. Главное тут — человек. Человек это все. Главное — человечность. Остальное ничто. А нет его, человека. Не пришел. Подвел. Нет его?! Пусть. Ничего и не будет. Что может быть-то, коли нет человека? Они вроде играть перестали и друг на друга не смотрят, взгляд прячут, как обиженные. Поглядывают с балкона в листву. Огорчены. Любимая игра и та не в радость. Не слышно азартной треска. Нет, не слышно. Когда слышится треск, громкий, раскатистый, игра идет иначе. Иная у игры привлекательность. Особа. Не слышно треска, шлепанья, стука, что гулким эхом катится по равнинной деревне. Не слышно, и ко всему в придачу ничего не видно — зашторен балкон густой листвой.

Угрюмо сидят трое мужчин: Габриэл и два его сына. Насупились. Обижены. На жизнь обиделись.

— Уважь!.. — повторяет Габриэл.

— Уважь!.. — повторяет сын.

— Уважь!.. — повторяет второй.

Согласие полное: обиделись одинаково, одинаково огорче

ны и надеются одинаково, так Он, высокий их родственник, вел себя в гостях. Сердечный, откровенный, говорливый, простодушный, приветливый, отзывчивый, словоохотливый. Душа нараспашку, одно слово. Он пришел не по своей, правда, охоте — Габриэл пригласил. Приглашал дважды. Дважды пожаловал. А на «бог троицу любит» сослался на нехватку времени. На занятость. Никак не мог урвать время. Но урвал все-таки. Пришел, истосковавшийся по родственникам, любящий родственников. Горячо любящий, преданный узам родства. Но вот это проклятое время!.. Время, черт его побери! Время... А урвал. И стоял Габриэл перед ним на цыпочках. Брюхо его тяжело, создавало некоторое неудобство ногам, а он все равно стоял на цыпочках. Это он от радости. Радости хозяина, к которому дорогой гость пожаловал. Вертелся, суетился: родственник к нему в гости пришел. От радости, с радости, стоял пузатый мужчина на цыпочках. Родственник. Гость — выдающийся человек. Нужный человек. Человек человеком жив, дерево корнями. И суетился Габриэл, вертелся, и сыновья (и у них брюшко наметилось) вертелись, хлопотали, суетились. Поживей, попроворней отца, разумеется.

Старший затопал в речку. Распластавшись на камне, распутывал сеть. Закидывал в мелководье и выбирал. Распутывал и собирал рыбу. Свежую-пресвежую, живую-преживую. Бежал домой. Сыпал на стол. Прыгали на столе рыбы. И жареные, и вареные прыгали. Так шустро он их доставлял и готовил. Одним духом. С радостью. Радостью от родства. Радостью от человека. Человек — человеком, сказано...

— Уважь! — бурчит старший сын и шлепает костяшкой домино по столу.

...Младший хлопотал у огня. Жарил, парил, заправлял приправами. Подносил. Коптился. Жарился. Сам заколол, сам и жарил, подбрасывал дрова, разжигал огонь и умалывал его. По надобности. Жарил и жарился; парил и парился; варил и варился; заносил — выносил. Бежал от огня в дом, быстрый, живой, как

огонь. Не остывала еда. Больше того, на тарелке продолжал париться, вариться и жариться.

– Уважь... – бурчит младший сын и делает ход.

После него заход Габриэла.

Хлопотал или, как я сказал, вертелся Габриэл. Вертелся. Распоряжался, сменял гостю тарелки. Заносил вино. Прохладу из погреба, терпкое, молодое вино. Самолично разливал. Тама он сам слыл первым, но на сей раз поставил приглашенного. кого-нибудь – профессора кафедры философии. Хотя нет, до та, однако, как говорится, без пяти минут профессора, без п минут профессора, потому как он уже прошел первый тур. Од ступеньки не хватало, чтобы шагнуть в профессора. Кто бы ступеньки считать стал. Вот и пригласил. И произносились и на. Славные имена. И крутился и вертелся Габриэл. Еще од такое застолье, и брюхо сойдет на нет. Было брюхо – и нет его.

– Уважь!.. – мрачнеет Габриэл.

А устроил-то он все точь-в-точь, как высокий гость подал. Чтобы родственников не слишком, дескать, много бы. Дескать, сам знаешь, как да чем это оборачивается при обширн родстве. Габриэл это, понятно, знал.

Знал и отлично знал. Сбежались бы, окружили, повисли шее, вскарабкались на колени; начали бы спихивать друг друга колена, сбрасывать друг друга с шеи. Удушили бы родственники изъявлениями любви. Проявленной им заботой его же придушили бы. Якобы проявленной заботой. Насытился бы он по горло больше того... А родственник-то в детдоме вырос. Габриэл первым об этом узнал. Точней, сам Габриэл его в детдом определил. Он это вспомнил. Габриэлу не напоминал. Не упрекнул. Ни в коем случае. А другие-то что? Какие такие заботы они, другие, к нему проявили?! Все равно задушат... Не отстанут, пока не убьются, что он сыт по горло, и больше того, пока не поперхнется. Начнут представлять детей, внуков, зятьев, невесток. Хвали вздох. Служба, мол, институты, мол, дублинки, мол, лайк путевки за границу, дескать, лекарство. Всего не перечест

Стоит ли. Задушат – и баста. Боялся именитый гость, естественно. Посидим, говорит, одни, без родственников. Поговорим между собой. Повеселимся.

И взъелись родственники на Габриэла. Стали они ему врагами на веки вечные. И сестра обиделась смертельно, и брат. Двоюродные, так те в его сторону и не смотрели. Кум со снохой за спиной поносили на чем свет стоит. Двоюродные братья по отцу угрожали, двоюродные дядя и тетки извести хотели: «Умрем, – писали, – не приходи, умрешь – не придем». Дальше некуда. Взъелось на Габриэла родство. Взъелось, хоть топись, черт по-бери.

– Поди теперь... Уважь! – тяжело вздохнул Габриэл.

– Поди теперь... – тяжело вздохнул старший сын.

– Поди теперь... – тяжело вздохнул младший.

Удлинилась цепочка из костяшек домино. Бессмысленно. Невыразительно. Бесцельно. Кому ходить, и то позабыли. Кому ходить, а? Забыли и все тут. Габриэл сгреб костяшки в кучу, разворошил, перемешал. Отсчитал себе положенные семь костяшек, и сыновья отсчитали. Потом снова перемешали и снова засчитали. Они или пальцы. Пальцы никак не успокаивались, руки никак не унимались. Перемешивают, шлепают по столу.

...Стол сотрапезниками красен. Выдающегося мужа и встречать надо по-особому, а это не так-то просто. Вовсе не просто. Почетного гостя с почетом надо встречать. Тамада (который без пяти минут профессор) был тамадой, то есть главой стола, его душой. Габриэл пригласил еще одного городского, мастера рассказывать анекдоты – смех, он тоже застолье красит. Пригласил также некоего певца с гитарой. Песня также придает столу очарование. И не только столу, но и всей жизни. И пригласил еще Габриэл девушку, красавицу писаную. Прекрасное тоже стол красит. Не то же, а в первую руку. Он и пригласил. Одну. Потому как прекрасное ограничено нынче. Поубавилось красавиц. Словом, пригласил и тем самым придал столу неизъяснимую привлека-

тельность. Изящество, можно сказать. Из гитариста и красавицы получился превосходный дуэт. И наслаждался гость. Веселили Свежая рыба сыпалась на стол. Шашлыки стреляли искрами. Еда кипела. Ворковали голуби. И дуэт, вроде голубей, на голубиный лад. И когда у гостя время от времени смех вырывался (анекдота), показалось бы, вулкан проснулся. Маленький вулканчик. Или не чудо? Знаешь, что вулкана нет вовсе, и вдруг обнаружится – вулкан смеха. Чего же ему больше, мать... мать честная?! Чего ему еще надо было.

- Уважь... – Габриэл чуть ли не задыхается от злости.
- Уважь!.. – старшему сыну трудно дышать.
- Уважь... – сопит младший.

Пооди ж ты. А как вольно дышалось. Крутились-вертели, а дышалось вольно. И усталости не чувствовалось никакой. Впрочем, не совсем так. Они-то почувствовали усталость (у младшего дым глаза выел), но прошло все мигом. Сразу прошло, когда гость горячо пожал ему руку и сказал, что вовек не забудет. Не позабудет вкуса приготовленных им шашлыков; когда горячо пожал руку старшему и сказал, что не забудет вкуса выловленной им рыбы. Когда припал к плечу Габриэла и сказал, что не помнит отца, но уверен – он был именно таким, как Габриэл. Прошла усталость, естественно. Как рукой сняло. Одно сплошное убаюкивание и творение и радость воцарились. Понятно, понятно. Ничего другого и не могло возникнуть у врат к цели, распахнутых настоек. Развернутых врат. Только и осталось, что переступить порог. Переступай – твоя воля. Хочешь, оглянись. Хочешь, оглянись гордо, с чувством достоинства; хочешь, просто, скромно, хочешь не оборачивайся вовсе, как угодно. Лучше не оборачиваться. Входи. Переступи порог. О какой усталости речь. Отца, которого обрел в своем лице. Не забуду, говорит. Неужели, говорит, возможно забыть. О чем речь... И пожимал руку, горячо пожимал. Что там усталость или дым, который глаза выел, или колени ушибленные о речную глыбу. Ободранные. Перебитые почти. тех пор они у него, старшего сына, болят. Ноют и самого ны

заставляют. Младший до сих пор глаза шурит. Слезятся у него глаза. Тогда-то ничего, тогда – пустое. Возможно ли позабыть, говорит. Огонь горит, и, понятно, дым идет. Пламя и дым. Огонь есть огонь. Человек есть человек. Человечный человек всех значительней. Вы, говорит, мои братья. У меня нет брата. Ты, говорит, отец мне. У меня-то отца нет. Мне ли позабыть. Человек есть человек. Слово есть слово. И не позабыл: вызвал вскоре прекрасную девушку. Устроил ее на место к себе поближе. И певца вызвал с его гитарой, и мастера-анекдотчика, и профессора философии вызвал. Устроил. Усадил округ себя, наверное, чтобы не забыть. Безусловно. Человек есть человек, слово есть слово. Сказал, что не позабудет, и не забыл. Великолепного пиршественного стола не забыл... А этим-то что?! Габриэлу? А как он, Габриэл, ловко ему вворачивал: полегоньку, осторожно, между рыбой, шашлыками, вином. Хотя «между» тут неуместно. Блюда, помните, сменяли друг друга в мановение ока. А Габриэл вворачивал неторопливо, семижды семь раз отмерив: дипломы, мол, у них имеются. Без изъяна. Не придерешься. Все при себе: хочешь – грамоты, хочешь – награды, хочешь – анкеты. Чистое всё, чистое, без единого пятнышка. Как нехоженный снег. И отец и дед, сам знаешь, не замараны. К темным делам, сам знаешь, касательства не имели и, ясно, не имеют. Дед, он преставился. А отец – вот он, я. Твоя кровь, как-никак. Как и ты – чист...

Ха... ха... ха... хио... Превосходно. Не забуду. Как же позабыть. О чем речь. Что заставит позабыть. Человек есть человек. Слово есть слово. Было слово. Было. Или нарушилось, когда он тех к себе вызвал. А этим что? Обрели вражду. Взьелись на них родственники. Извести грозились. А те? Кто, они такие? Откуда? Почему?

- 68 – Уважь!.. – Габриэл чуть зуб себе не сломал.
- TO 68 – Уважь!.. – старший сын тоже заскрежетал зубами.
- – Уважь!.. – и младший следом.

Скрежет пронесся по балкону.

Габриэл снова мешает костяшки. Мешает торопливо. Цеплет поверхность стола, отсчитывает, делает заход. Шумно, громким стуком, суетливо. Приглашает сыновей вступить в игру. Подзадоривает, торопит, словно спешит куда-то, к кому-то, который может убежать. Давай – подавай. Ну! И стучат костяшки, шлепают. Трясется стол, дрожит. Гудит зычно. Угрожаю. Гремит балкон. Гремит. Хорошо, когда бы выходил балкон крутосклон, – ущелье бы загудело. Горы загудели. Хорошо. Хорошо. И тамада произносил тогда тосты тем голосом, тем зычным басом, которым говорят с горы. Голосом, которому слушатель нужен. Хоть бы он, Габриэл, родственников пригласил. Родного радел, спрашивается. Ради чего? Одних врагов нажил, еще среди родни. Поди теперь и живи. Поди и отмеряй семью. Стучат костяшки, шлепаются вместе с ладонью на стол. Раскают воздух, загребают воздух, шлепают ладони за счет энергии приобретаемой в воздухе. Горючего нет и не надо. Есть сила, энергия. Поверхность стола покрывается царапинами, углы, края, крошечки крошатся. Разлетаются мелкие крошки. Порой попадет кому-нибудь в лицо, вызывают острую боль. Но это ничто. Проведут рукой по лицу и снимут боль. Запросто снимут. Ирисовывается на столе орнамент. Или алфавит. Древнейший алфавит, читай, если хочешь. Поистине, это рок: однажды написанное никогда не напишется. Да и не нужно. Не нужно, а все равно закручивается, запутывается, рисуется, пишется... Доброжелатель, он – враг. Родственник – враг всех врагов непримиримей торопятся игроки, стучат, шлепают. И торопятся, будто их преследуют. Гонятся за ними. Вот-вот схватят. Изрубят... Надо что-то разнести, разбить вдребезги. Кого-то...

– Кто это был?.. – Габриэл задумался. Опустил голову ладонью... – Который говорил... – Габриэл силился вспомнить. Задумались и двое его сыновей. – Вода, мол, все. Все – вода. Все воды, и все – вода.

Габриэл не может вспомнить, кто именно сказал эти слова. Не могут сказать этого и сыновья, потому прежде всего, что

знают – над чем задумался отец. Задумался – и все тут. И они задумались. И давайте думать.

Габриэл швырнул костяшки домино на стол и приложил ко лбу вторую ладонь.

Перевод Нодара Тархнишвили

1986, № 1

*Луиджи Магаротто***Поэтика «Взгляда» в поэме Ильи Чавчавадзе
«Отшельник»**

Отшельнический опыт, – согласно пафосу поэмы И. Чавчавадзе, написанной в 1883 г., – сопряжен с огромными внутренними противоречиями. Поэма в целом утверждает невозможно или, скорее, человеческую неспособность достичь аскетического идеала, показывая наличие неизбежной социально-личностной константы на всяком пути индивидуалистической подвижнической аскезы. Традиционно средневековое послушничество и подвижничество предполагало столкновение с тяжелыми испытаниями и постоянными искушениями преодоление неспособности трудностей, которые в каждом конкретном случае складывались в функции личных особенностей внутреннего пути, во всех случаях одинаково трудного и опасного. В конце этого пути толстой стойкий путник, не знавший поражений, достигал аскетического совершенства, вместе с которым приходило постижение истины и усмирение страстей.

В своей религиозной практике инок Чавчавадзе, на краткий срок входя в контакт с внешним миром, открывает для себя, он еще очень далек от мистического совершенства, которого, ему казалось, он уже достиг, и понимает, что, напротив, ему еще только предстоит вступить на тяжкий путь новых и неожиданных испытаний. Согласно святоотеческой мистической традиции, религиозная цель в полной мере абсолютно недостижима, и множество мирских соблазнов могут отодвинуть ее в бесконечность. Так и в данном случае отшельнику Чавчавадзе открывается путь, который предстоит пройти, потому что поражение его выявляет незавершенность пройденного подвижнического пути и то, что герой далек еще от совершенства.

В поэме И. Чавчавадзе, в основу сюжета которого ле

древняя известная легенда, герой, живущий во времена не столь далекие от нас, подражая примеру великих пустынников, уходит от общества, затворяясь в одиночестве на склоне могучего Казбека. Он посвящает дни молитвам и покаяниям, понуждая тело страдать во имя просветления души. Он еще не стар, но каждодневными религиозными упражнениями надеется побороть плотские страсти и жить одною лишь духовной благодатью. Проводя долгие часы в молитве перед древними образами, он ощущает Божественное присутствие, аллегорически выраженное в поэме лучами солнца, озаряющими через оконце, как на многих полотнах итальянского Возрождения, келью и отшельника, символизируя его просветление в Святом Духе.

Однажды вечером, на закате, изнуренный непрерывными молитвами и постом, он видит из ворот монастыря багровый солнечный закат. Воспринимая его как еще одно свидетельство Божественного всеприсутствия, отшельник испытывает при этом огромное чувство радости перед таким знамением. Закат символизирует совершенную гармонию между проявлением Божественного и внутренним миром, достигнутым подвижником. Все спокойно вокруг; сумеречная природа нежна, и взор отшельника безмятежен. Но «у э ц р а д» — неожиданно, — и здесь это наречие приобретает как бы ту же функцию, что и слово «вдруг» у Достоевского, — обстановка резко меняется. Налетает внезапный ветер, надвигается грозная черная туча, раздается грохот грома, вспыхивают молнии, и — разражается ливень. И если тишина природы так гармонизировала с покоем в душе героя, то внезапному изменению обстановки вторит глубокое смятение, охватившее отшельника. В грохоте бури ему слышится голос, взывающий о помощи. «Что привело несчастного сюда?» — спрашивает себя отшельник, и тут же на него надвигается предчувствие грозного испытания. «Ты человек, — кричит он, — иль демон преисподней?». «Я — человек», — раздается в ответ. Появляется пастушка, которая, застигнутая бурей, ищет приюта в монастыре. Видя ее, мокрую и растрепанную, отшельник не сразу признает в ней

женщину и поначалу удивляется мелодичности ее голоса. По при свете огня, пред ним предстает молодая, черноокая, по жизни женщина удивительной красоты. Пораженный этой красотой герой задерживает на ней свой взгляд, любуясь ее губами, сбегающими линиями тела. Сидя у огня, пастушка рассказывает, как она, застигнутая непогодой, сбилась с пути, и говорит, что очень долго — «д и д и х а н и» — взывала о помощи прежде чем отозвался отшельник. Это «очень долго» весьма характерно, и его можно трактовать — с позиции отшельника — невозможность уклониться от испытаний. Гостя удивляет, герой может жить вдали от красоты и прелести мира. Она слышит: не значит ли, — по его мнению, — что согласно Божьей воле все живущие в мире обречены на погибель?

«Спасись-то можно, — отвечает отшельник. — Тот путь к спасению достался мне, несчастному, в скиту». Но, услышав слово «несчастному», он сам удивился неудачно выбранному слову, и его смущение сказывается во внутреннем монологе, из которого ясно, что «несчастный» — признак недостижения желанного равновесия между плотью и духом, свидетельство краха решения подавить потребности плоти для возвышения души и невозможности устранить социальный момент во имя личного спасения. Ради обещанного царства небесного он оторвался от собственного «Я», уклонился от решения вопроса социальных взаимоотношений, но не смог уклониться от потребности поиска смысла земной человеческой жизни. И он, которому казалось ему удалось оставить далеко позади всякую заботу о суете мира, теперь с новой, неодолимой силой чувствует, как влеком к земле, он, полагавший, что нашел ответы на все вопросы, замечает, что он только заглушил внутренний голос, и — будучи уверен, что достиг блаженства, видит, что вынужден вновь задуматься над значением собственного подвига.

Между тем девушка, пригревшись у огня, уснула, при этом ее красота и прелесть становились для героя все очевиднее. Отшельник вновь бросает взгляд на женщину. Здесь поэт, ка

для того, чтобы подчеркнуть всю силу сексуального влечения, не прибегает больше к таким словам, как «м ц к е м с и» (пастушка), или «швили» (дочь; здесь — девушка), но говорит о ней: «к а л и» — то есть женщина. Подвижник хотел бы отвести взор, но необъяснимая сила тянет его неотрывно любоваться ею. Откуда это непонятное удовольствие, испытываемое героем? Почему сердце его вдруг бьется совсем по-иному, почему охватывает его дрожь?

Как говорит Р.Барт: «наука дает три (по-разному комбинируемых) интерпретации взгляда: информативную (взгляд учит), коммуникативную (взглядами обмениваются) и притягательно-поссесивную (взглядами касаются, схватывают или захвачены)».

Речь идет о трех различных функциях взгляда. Но в каждом случае взгляд ищет, исследует, «шарит»; он — динамичен, беспокойен, неуловим. И тот же Р.Барт напоминает нам, что взгляд, как и все искусства, указывает на некоторую «означаемость» (у Барта «signifiante»), и поэтому может вызвать «синестезию, психологическую нераздельность ощущений, которая сливает их так, что поэтически можно перенести одно ощущение на другое: все чувства могут, таким образом, «смотреть», и, наоборот, взгляд может чувствовать, слышать, касаться и т. д.». Следовательно, взгляд не исчерпывается мгновением, потому что он несет в себе порыв, который длится, настойчивое возвращение вспять, как если бы он вдохновлялся стремлением к расширению области собственного открытия, укрепления завоеванного. Именно таков взгляд отшельника, задерживающего его на женщине, он словно пытается проникнуть по ту сторону видимого, постичь тело, скрытое под грубыми одеждами. Секрет взгляда в том, что он не знает предела, преодолевает все барьеры, проникает в сокровеннейшее. Объект взгляда (в нашем случае, пастушка) означает магическое пространство, прорыв в заповедную область; он — признак чего-то, что неподвластно зрению; объект, вместо того, чтобы задержать взгляд на себе, — отсылает его в воображаемую перспективу, в неведомое измерение. Взгляд отшельника стремится к другому, отличному от того, что перед ним. Разглядывая лицо, губы,

неподвижные формы этого молодого тела, он уже как бы касаясь, ощущает его, отдаваясь целиком головокружительной прелести бездны, открываемой влечением. Настойчивость взгляда соотноит в его кажущейся безвольности: «При нашем отношении к вещам, которое устанавливается в процессе видения и формируется в виде представлений, то, что колеблется, движется, смещается из одного плана в другой и всегда в какой-то степени колеблется, и называется взглядом». Но это движение, почти неметное, скрывает в себе, как мы уже видели, – необыкновенное упорство, ибо сама природа взгляда почти никогда не позволяет ему останавливаться на одной лишь чистой констатации, требует всегда большего. Отцы церкви полагали, и не без оснований, что зрение – самое слабое из всех чувств, самое податливое к соблазну и самое обманчивое. Забыв об этом, отшельник задыхается взглядом на женщине, множа плоды своего воображения и теряя контроль над собой. Он встает, приближается к стушке, вглядывается в ее лицо и медленно склоняется к ее губам. Забыв обо всех моральных запретах, он пытается удовлетворить свое чувственное желание. Борьба, которая так долго шла в нем между соблазнами жизни (Эрос) и смерти (Танатос) по видимости, закончилась победой последних, однако не захлестнула полностью в нем и первые. Более того, при первой возможности Эрос воспрянул, низринув Танатос, и устремил всю свою энергию на достижение собственной цели. Но отшельник едва коснувшись губ девушки, сразу же впадает в раскаяние, и пытается желание вернуться к поколебленному душевному равновесию, подавить чувственные порывы, овладевшие им. Что это: проявление чувства вины или возврат Танатоса? Или же утверждение рациональности? Краткий монолог, следующий за этим, дает нам ответ, впрочем неполный и неоднозначный. При исходит столкновение между неудовлетворенным желанием вновь утверждаемой волей к умерщвлению плоти. В тот самый момент, когда отшельник вновь обретает контроль над своими влечениями, он слышит в келье полный коварного злорадст

голос: «Ага, попался, праведник?». Удивленный отшельник оглядывается в поисках того, кто застиг его в роли *voueur*, кто произнес эти слова, но в келье кроме спящей пастушки – никого. Чей это голос? Взгляд всегда предполагает не только активное действие, но также и пассивное: в то время как мы смотрим, нас видит кто-то другой, хотя бы наша совесть, наблюдающая за реакцией, вызываемой в нас объектом взгляда. По этой причине взгляд иногда рассматривают как проявление совести. Неудовлетворение желаний может привести к последствиям неожиданным, но для отшельника это прежде всего вред, нанесенный его душе влечением, заставившим его коснуться губами губ пастушки и подменившим реальность, которая его окружает, другой, продиктованной его религиозным сознанием. Чувства вины, греха, измены переворачивают душу поборника отшельничества и аскетизма, который должен бы с ужасом отшатнуться от мирского соблазна. И отшельник подменяет тихую и спокойную обстановку в своей келье воображаемой реальностью, являющейся выражением чувства вины, населенной в силу галлюцинаций темными демоническими силами. Воля и отчаяние бросают его на колени в молитвенном порыве и стремлении отдаться под покровительство Богородицы от козней зла. Влечения однако, не угасли, и рука его не в силах положить крестное знамение, а язык не молвит слова молитвы. В напряжении, вызванном столкновением совести и эротических влечений, создается новое пространство, где генерируются новые галлюцинации. Отшельник поднимает голову к образу Богоматери, но даже святой лик принимает обличие той девушки, прислушивается – и опять слышит тот же голос, что и раньше, смеющийся над ним; он снова смотрит на Богородицу и снова видит лицо пастушки. Не выдержав напряжения, смятенный, раздавленный страхом, устремляется он из монастыря в поисках помощи. Итак, испытание завершилось, но отшельник, конечно, не выдержал его. Достаточно было появления пастушки, чтобы возникло это огромное пространство желаний, желаний, тщетно подавлявшихся долгими годами пока-

яния. Победа духа, умерщвление плоти, уверенность в обетовании – все потеряно в единый миг. Уединившись в далеком скитотшельник искал свой индивидуальный путь спасения, однако, что, по-видимому и хочет сказать автор поэмы, – вне гражданственности и вне общества не существует спасительного убежища. Восстановив краткий контакт с миром, отшельник впадает в смятение, потому что только живя и действуя в миру, можно оправдать свое существование. На следующее утро, на восходе солнца, пришедшего ему на помощь, монах возвращается в свою келью, согретую горячими лучами. Пастушка ушла, и все вновь обрело обыденный вид. Отшельник хочет снова стать на молитву как вдруг свет меркнет, язык его немеет, он падает и выпускает дух. Этому герою, который вместо того, чтобы искать спасения жертвуя собой во имя родины, предпочел индивидуалистическое затворничество, Чавчавадзе не оставляет даже наказания мукам раскаяния, а приносит его в жертву без надежды на спасение. «там, где раньше, полные терпенья, отцы святые славили Творца
Теперь лишь ветра раздается вой / Да стонет зверь, испуган печален, / Спеша уйти от тучи грозовой».

Перевод с итальянского

1987, № 10

*Годердзи Чохели***Бера**

Весна!

Стоит только мне взяться за перо, как каждый раз невольно хочется начать повествование с этого слова. Есть в нем какая-то сила, кажется, что именно оно может лечь в основу рассказа, большого или маленького, веселого или трагичного, даже если события в нем происходят в другое время года: в разгар августа, в серую осень или же в середине зимы.

Зима долга.

Каждый ее день приближает нас к весне. И человека уходящего из жизни весной бывает особенно жалко, к тому же если жил он в Грузии, да еще в горах. Здесь ведь не бывает весна внезапной, как на равнинах, где, не успев наступить, она куда-то исчезает.

Весна в горах наступает иначе.

Сначала ее чувствует скотина, она так замирает, подставляя спину солнышку, будто в ее жизни это самое большое блаженство.

Потом ее чувствуют горы; начинают сбрасывать с себя снег, кашляют, прочищая горло, готовясь к перешептыванию с цветами.

День станет длиннее и потеплеет.

Проснется и наберет силу река.

Потом...

Вначале появятся почки на ивах, спустя некоторое время — на орешнике.

За ними, протирая глаза, проснутся и другие деревья.

Все пробуждается ото сна, вплоть до камней.

Пойдет дождь.

Все вокруг станет зеленым.

Временами опять будет идти снег, но этот снег уже для весны, это снег пернатых, он возвещает о том, что должны вернуться улетавшие зимовать в теплые края птицы.

Снег заменит цветущий белым цветом ткемали, затем придет яблоня, за ней груша, шиповник, и зацветут все деревья.

Воздух наполнится пьянящим запахом цветов.

Весна войдет в силу.

Осторожно, шаг за шагом, будет она подниматься по долине к ущелью и, когда достигнет крепостной башни на окраине Атнахи, именно в эти дни единственный главный герой рассказа Бера будет вести яростный бой.

Бера невысок, но плотен и широкоплеч. С головы до ног увешан патронами, вокруг разбросаны пустые гильзы. Деревянные руки берданку, он через смотровую щель глядывается в сторону крепости.

Власти считают Бера своим противником, и поскольку попытки сельского начальства найти с ним общий язык не увенчались успехом, то уже почти три месяца преследуют Бера. За три месяца поймать его не удалось, не удалось также подкупить горничных и сочувствующих Бера. С приходом весны, как только сошел снег, Торелич со своим отрядом стал действовать активнее. Отложив сторону все дела, он вот уже десятый день как одержимый следует за Беру. Три дня назад он загнал его в эту крепость, Беру не было иного выхода, как закрыть изнутри ее ржавые ворота. Патронов у него было достаточно, а попадать точно в цель он умел. По этой причине Торелич со своим отрядом осмеливался днем подходить близко к крепости. Но они окружили ее и перекрыли Бера все ходы и выходы.

Пока было светло, они наблюдали за крепостью, укрываясь за горами, ночью же переходили в атаку, но безрезультатно. Видимо, ночью Бера видел так же хорошо, как и днем, выстрелы попадали в цель.

Торелич, конечно, надеялся, что у Беры в конце концов кончатся патроны, или же его доконают голод и жажда. Он не знал, что горцы все-таки ухитрились передавать Бере хлеб и воду: то у стен крепости в поисках пропавшей коровы бродил мальчишка, то мимо проходила одетая в траур старушка, идущая навестить могилы близких.

Бера решил бороться до конца и не дать себя живым в руки Тореличу. В то же время он размышлял, как бы отсюда выбраться.

Осада Торелича была основательной.

Ночами Бера не спал.

Днем было менее опасно, и он имел возможность вздремнуть.

С самого детства Бера рос непокорным, не любил подчиняться. И эту непокорность с новой силой разжег в нем сейчас дурманящий весенний ветер. Каждая весна наполняла его сердце какой-то неизведанной радостью. Зиму он не любил и всегда с нетерпением ожидал возвращения перелетных птиц.

Как обычно, пришла в горы весна, а Бера встречал ее в крепости-тюрьме. За ее стенами пела природа, бушевала жизнь, а в крепости по-прежнему лежал снег.

Торелич бодрствовал.

Не смыкал глаз Бера. И эту ночь он провел без сна, несколько раз разрядил ружье.

Стало светать.

Отряд Торелича удалился от крепости.

Бера заснул.

В углу у стены стояло ружье.

У ног валялись пустые гильзы.

Взошло солнце.

Бера в это время уже крепко спал.

Спал безмятежно, как в колыбели, будто рядом оберегая его от недобрых глаз и злых ветров находилась мама, он же,

чувствуя ее близость, спал спокойно, хотя матери давно уже на свете, и дуют злые, беспощадные ветры.

В крепости царило затишье.

Бера продолжал крепко спать.

Тем временем весна пришла и в крепость. С рассвета прилетели две ласточки. Они стали приносить в клюве грязь, углу крепости, как раз в том месте, где стояло ружье, стро гнездо.

Солнце переместилось.

Бера внезапно вздрогнул, открыл глаза и только потянул за ружьем, как из дула его выпорхнула ласточка. Вернее не дула, а из гнезда, которое они строили над самым дулом. Бера попятился и стал смотреть издали. Ласточки, нисколько не смущаясь, продолжали трудиться, о чем-то между собой щебеча.

Глядя на них, Бера вспомнил детство, с просветленным лицом смотрел он на гнездо, сооруженное на дуле ружья.

Бера привстал. Осмотрел из своего наблюдательного пункта окрестности. С горы на гору перебегали люди из отряда Торелича, по-видимому, готовились к решающему нападению. Несколько раз они выстрелили в воздух, и не услышав ответа выстрела, осмелели еще больше.

Бера шагнул к ружью и замер, как громом поражен ласточки испуганно выглядывали из недостроенного еще гнезда. Он долго смотрел на них, не зная, как поступить: взять ружье, достойно встретить Торелича, или же не тревожить ласточек, строивших гнездо, о котором они, кто знает как мечтали в далеких странах!

Смеркалось.

Воспользовавшись тишиной, ласточки вновь приступили к работе.

Наступила ночь.

На крепость градом посыпались пули.

Бера сидел и думал, как выбраться из создавшегося положения.

жения.

Он надеялся, что выломать ворота им не удастся.

Лезть на стену они скорее всего не рискнут, по крайней мере этой ночью, а завтра, возможно, удастся известить сельчан, и они смогут передать ему украдкой ружье.

Надо было пережить эту ночь.

Вновь раздалась ружейные залпы, все ближе и ближе.

Стреляли и потом прислушивались, последуют ли ответные выстрелы.

В такие минуты становилось тихо. И начинали щебетать в своем новом гнезде ласточки.

Раздавался выстрел, и они тут же замолкали.

Так продолжалось до полуночи.

В полночь Торелич, осмелевший молчанием Бера, распорядился приставить с четырех сторон крепости высокие лестницы.

Тускло светила луна.

Бера увидел, как приставили к стене лестницу, и приготовился к рукопашной. Откуда было ему знать, что Торелич подставил такие лестницы с четырех сторон.

Напуганные шумом, в гнезде приподняли головы ласточки.

Раздался выстрел и, глухо вскрикнув, Бера упал навзничь.

Ласточки спрятались в гнезде.

Вот так пришла в горы весна, которую так по-разному понимали Бера и Торелич.

Тускло, едва светила луна.

Перевод Елены Бараташвили

1988, № 11

*Нугзар Шатаидзе***Бес**

Ну, от кого-кого, а от жены Каки ничего на свете скрывать нельзя было, и, в конце концов, прознала она и про это. Прознала – и уж, конечно, растрезвонила по всей округе. В деревне и в городе ее подумывали: неспроста сын Сосаны Кора шастает в проезде, где дом Соломнии, не след бы, да только рта никто не открывает. Сами вы небось слышали: на воре – грех, а указчик сверху кладет. Но, когда жена Каки окатила и одних, и других щедростью ушатом сплетен, втихомолку зашептались, засудачили, – грех, что кто скажет, ну, да ведь одна сплетня, известно, как снежок, с горы покотившийся, – по дороге новыми обрастает, и эта росла, росла и превратилась в такую лавину, что грозил хлестнуть не только сына Сосаны и красивую молодую в Соломнии, но и всю деревню.

Сама жена Каки никого уже не стеснялась и не унималась. Хватит перешептываться, неужто непонятно, что эти бесстыдные вытворяют, забыли и страх и совесть, такие-сякие – старый бугай Кора, которого бес в ребро ударил, жене его чужие платье надеть бы! – и эта... ух, повыдирать бы ей волосы, привязать ее к конскому хвосту, подобрала старые мослы, и землю класть впору, и кривляется, словно девчонка!

Бабы опасливо прикрывали ей рот ладонью, озираясь, показавшись бы поблизости бедная жена Кору! Но жена Каки была бы женой Каки, если бы кого-то побоялась или постыдилась! С утра день оглашался ее криками, и вы бы видели сверкали у нее глаза, как пылало лицо, как кривился рот щетиной над верхней губой, а видели бы – так точно сказали господа, да это же не женщина, а печь раскаленная! Однако – неуклюжий, большерукий сорокалетний мужик, отец взросших парнишки – вот-вот в армию возьмут – и еще троих младших

ребят, и ухом не вел; по вечерам, вернувшись с поля и попрощавшись с бригадой, он устало поднимался в проулок, вставал под орехом и, скрестив руки на груди, с улыбкой смотрел на веранду двухэтажного недостроенного дома, всегда увешанную после дневных постирушек вдовы платьями, цветными и прозрачными нижними рубашками и чулками и еще черт-те каким женским тряпьем. Стоял он так долго и уже поздно в сумерках, когда проулок с мычанием запруживал вернувшийся с пастбища скот, а вышедшая на веранду красавица-вдова с суровым лицом снимала высушенное белье, засовывал руки в карманы и, повернувшись, уходил домой.

А жена Каки неистовствовала: не учите, уж я на них порчу-то наведу, с гульбой ихней покончу, поглядите на него – рот в ухмылке раззявил! Ох, знайте, мол: обуюсь в железные каламаны, возьму железный посох, дойду до главных и уж там управу на срамников найду!

В один прекрасный день вызвал Кору председатель, которого за глаза называли Надиришахом, в контору: дескать, жалоба на тебя поступила, с вдовой Соломнии любишься. Придя, Кора снял шапку, почесал ею затылок и, улыбнувшись, глянул на председателя.

– Чего глядишь? Правда это? – грозно спросил председатель.

– Не знаю... Однако слышал ведь – и кошка на царя посмотрела...

– Белены объелся? О ребятишках своих забыл, ослиная твоя башка?!

– Нет. Да только посмотрела даже кошка на самого царя, – а уж я на тебя...

– Вот заладил! Кошка – на царя, царь – на кошку!.. – вконец разозлился председатель. – Коли говорят тебе что-то, слушаться надо! – он постучал по столу указательным пальцем. – С завтрашнего дня собирайся-ка, в горы пойдешь с завфермой,

Торе, знаешь ведь его!

- Да чего мне в горах делать-то?

- А чего хочешь. До тебя ли мне сейчас? День один, а жалоб вон сколько!..

- Это кто ж там жалуется, а? Люди-и! – вдруг зарычал Кора – председатель в испуге подскочил и опрокинул стул. – Ух погоди у меня, Какина женушка! – Заколотив кулаком в грудь Кора устремился к двери и рванул ее – так, что аккуратно сложенные на столе председателевы бумаги разлетелись и закружились по комнате.

А Кора уже бежал по проулку. Завидев его, разлегшийся грязи боров вскочил и, сорвав цепь, с воем бросился наутек рывшиеся в навозе куры закудахтали и повзлетали на сложенные из плоских камней ограду, а пятнистая овчарка Домбури, поджав хвост, шмыгнула в конуру.

Жена Каки, подвернув подол, пропальвала грядку с луком
- Ой-ой! – жена Каки разогнулась, оправила платье и стянула рукой расстегнутый ворот. – Спяню своего беса увидел, чу дище?

- У-у, покажу я тебе и беса и бога, сплетница чертова!

- Постой, Кора! Никак, ты меня не видишь? – Кака вообще-то он был Валико – оказался здесь же, рядом – опрыскивал в саду яблони. Сняв со спины аппарат, он поставил его на землю и подошел к Коре.

- Валико, образумь бабу! Иначе прольем мы кровушку!

- Ты чего это?! О чем он, жена?

Жена Каки молча поправляла косынку.

- Чего она, ровно лиса, в контору пробирается? Чего меня жалобы туда таскает?

- Тебя спрашиваю: о чем это он?

Позеленев, жена Каки уперла руки в бока и завизжала:

- О дури своей, вот о чем! Аль не видишь – он, погане бабий прихвостень, всех такими же, как он сам, прохиндея!

выставить хочет! Это я – жалобщица? Что ты ко мне в дом прешься-то? Нужны вы мне больно – и ты и твоя маруха, разрази вас гром обоих!

– Чем я тебе, дьяволица, насолил?! Знаю ведь, никто на такое дело, окромя тебя, не сподобился бы!

– Сосе-еди! – завопила жена Каки. – Услышьте, что он несет, окаянный, как на меня поклеп возводит, стервец этакий! Подожди, дай срок, я не я буду, коли тебя перед всей деревней на чистую воду не выведу!

– Иди в дом, жена! – рывкнул Валико, блеснув желтыми клыками.

– Ой-ой-ой! Валико, родимый, да нешто будешь его, негодника, слушать, нешто он того стоит? Пошли, миленький, пошли!

Кора еще некоторое время смотрел вслед уходящим в дом мужу и жене, потом смачно сплюнул и быстро зашагал прочь.

* * *

Было далеко за полночь, когда в ворота вдовы Соломнии скользнула тень мужчины и быстро пересекла двор. Кто-то на цыпочках поднялся по каменной лестнице и тихонько постучал в выходящее на веранду окно. В комнате зажегся мягкий розовый свет; через несколько минут в ночной тиши звякнул ключ и скрипнули двери.

Едва мужчина исчез в приоткрывшихся дверях, как внизу в проулке от ореха отделилась другая тень – на этот раз женская и, погрозив зардевшемуся окну кулаком, пустилась бежать вниз по проулку.

Наверняка вы уже догадались, кто была эта женщина. Ну конечно же, жена Каки!

Вскоре вся деревня проснулась – окна осветились, слышались голоса мужчин, смущенное хихиканье женщин, лай собак и поспешное хриплое кукареканье петухов, решивших, что уже

утро. Жена Каки перебежала из одного двора в другой, раз но размахивая кулаками и надсаживаясь – до сна ли, мол, когда мир рушится, и доколе же терпеть безобразие?! В концов она вытащила на улицу... ну, положим, не всю деревню с десятком любопытных баб, зябко кутавшихся в шали, и трех мужиков с фонарями в руках, отправила их к дому вдовы сама забарабанила кулаком в незапертые ворота Кору.

Жена Кору не спала, напряженно вглядываясь широко открытыми глазами в темень. Услышав стук, она востропела и быстро набросила на себя бумазейный халат, открыла дверь увидев на пороге успевшую подняться незваную гостью, тут же спросила:

- Да в чем дело-то?
- Кора где у тебя?
- Господи, он же в горы еще утром ушел! Что случилось?
- Ох, несчастная, – заголосила жена Каки, царапая ногтями, – не в горах он, а в кружевных простынях вдовы Соломнии катается!

- Не дожить бы мне до этого! – ахнула жена Кору и вытерла брови кверху.

- Что делать, бедняжка ты моя, – сколько я их предждала, страдала, сколько просила, ан нет, не помогло, не шались, а теперь, вон, все село собралось! Камнями забили обоих!

- О-о, горе мне! Ой, семья моя опозоренная! – закричала жена Кору, лихорадочно застегивая халат.

Скоро она торопливо шла вслед за женой Каки, ведя за собой вдову.

Собравшиеся там таращились на светившееся окно: женщины они засуетились, расступились, давая дорогу жене Кору, косясь на побледневшую, съежившуюся поодаль жену Кору.

Догадавшись, что все ждут, что она скажет, жена Кору мешкалась, ругнула себя в душе – и зачем, мол, потащила бой эту дуру, затем затесалась среди сельчан и тоже ус

на окно.

– Что делать будем? – шепнула ей в ухо жена Бацацки Машо. – До каких пор так стоять-то?

– Подождем еще чуток... – неуверенно пробормотала жена Каки и покосилась на жену Кору.

– Ээ, чего ждатель-то? – рассердился долговязый, успевший хлебнуть чачи Читуа. – Перебулгачила нас всех среди ночи, подняла с постелей да еще тут держишь!

– Да кто тебя силком сюда вел-то?

– Что-о? Да не ты ли над душой стояла, прямо за глотку ухватила – пошли, мол?! – загалдели другие.

– Ладно, будет тебе, не до того сейчас!

Внезапно все умолкли и снова выпучили глаза на окно – в нем погас свет, и веранду окутала тьма.

Долго молчали, затем кто-то прыснул, и жена Гугулы, замахав темному окну руками, разразилась проклятиями:

– Ох, сгореть бы вам, бесстыдники!

Читуа нагнулся, пошарил по земле руками, поднял большой камень и запустил им в окно. Послышался звон разбитого стекла, женский крик, и сразу же по всей деревне вновь поднялся тарарам – снова залаяли собаки, опять вспыхнули окна, раздался голоса; женщины возле дома вдовы придвинулись к двору, мужчины осветили фонарями веранду.

– С той стороны заходите, с той! – орал Читуа. – Оттуда чтоб не улизнул!

Несколько женщин и один из мужчин с фонарем побежали за дом, к огороду и увидели, что кто-то, выскочив из дому, пытается скрыться.

– Вот он! – завопила Машо.

– Держите его!!

Бабы, толкаясь, бежали следом, одна поскользнулась на политой с вечера грядке капусты и упала, остальные настигли убежавшего в самом конце огорода – он уже перелезал через вы-

сокий забор, но его ухватили за ноги и стянули вниз. Подбежали другие; две дюжины рук вцепились в отчаянно барахтавшегося беглеца. Истомившиеся в долгом ночном ожидании, обезумевшие бабы не давали ему подняться, с воем колотя его кулаками кровь царапая, дергая за волосы, раздирая на нем одежду, — каждая, как умела, вымещала на пойманном что-то неизбежно с глухо жегший душу пламень обманутых надежд и тоскливой бабьей доли.

Растолкав обеспамятевших в злобе баб, Читуга встряхнул беднягу, судорожно втянувшего голову в плечи, поставил его ноги, осветил ему лицо фонарем, отскочил назад, оглянувшись, выискав глазами в толпе жену Каки, подозвал ее:

Через пару шагов жена Каки почувствовала, что у нее падают игибаются колени, и замерла.

— Узнаешь? — спросил Читуга и снова осветил затравленную, как у попавшей в капкан лисицы, глаза схваченного.

Узнала жена Каки — как ей было не узнать — своего дедового муженька Валико! Смотрела, смотрела на него и там же, стояла, опустилась на землю. Все молча глядели на нее, забыв случившемся, и о том, как тузили Валико. И он, вывалянный в грязи, окровавленный, воспользовался этим — неслышно отступил в сторону и, почувствовав себя в безопасности, дал стрекача.

Да никто и не обратил бы на него внимания — собравшиеся все еще неотрывно смотрели на его жену, а потом стали понемногу расходиться, и скоро вокруг нее никого не осталось. Толпа на дороге, словно поджидая ее, стояла жена Кору; выбравшись из огорода и тяжело волоча ноги, жена Каки подошла к жене Кору, и когда та с затаенной гордостью обняла ее и ласково подшептала: «Что ж поделаешь, соседка, — седина в бороду, а белое ребро... И на старости лет учись!» — вздрогнула и истосканным навзрыд заплакала.

Перевод Левана Беджизати

1989, № 5

*Дональд Рейфельд***Григол Робакидзе**

В современном издании знаменитой немецкой энциклопедии Брокгауза упоминаются всего два грузинских поэта: всем известный, полулегендарный Руставели, автор «Витязя в тигровой шкуре», и мало кому известный Григол Робакидзе. Конечно, нелепо, что энциклопедия знать не знает о Важа Пшавела, Тициане Табидзе, но так же нелепо, что уже без малого шестьдесят лет в Советском Союзе имя Робакидзе подвергается полному замалчиванию. Только в последние два года всплывает его имя, и в грузинской печати появляются его письма и эссе. Реабилитировать его — мудро.

Робакидзе был ровесником русских символистов. Он кое-чему учился у Брюсова, у Белого. Но образование, как многие грузины того времени, получил в Германии. Накануне первой мировой войны он уже был вождем поэтического кружка «Голубые роги», грузинским Гумилевым. Он стал прозаиком удивительно изящным и четким — и поэтом тоже, хотя манерность у него неотделима от чутья к поэтической форме. Журнал голубороговцев «Мечтающие газели» стал его ежемесячным манифестом.

Он не походил на грузина. Все описывают его в виде карикатурного англичанина, вроде породистой английской легавой собаки. Стройный, модно одетый, он держал голову, как на выставке. Единственный его недостаток — преждевременное облысение, которое он тщетно прикрывал своим чудотворным париком. Он страстно любил немецкую культуру — особенно Гёте, Вагнера, Ницше — а женился на интеллигентной русской женщи-

не. У них не было детей, и они с женой взяли к себе осиротевшую племянницу.

Впервые Робакидзе доказал свою гениальность в 1926 году когда выпустил в свет повесть «Змеиная рубашка». Здесь переплетены фольклор грузинских горцев — хевсуров, мотивы поэзии Важа Пшавела (очень близко к хевсурской народной поэзии), темы и приемы вагнеровских опер и пафос Ницше. Повесть была переведена на французский и немецкий языки, и Робакидзе поехал за границу пожинать лавры.

Осенью 1930 года он опять покинул родину. И назад не вернулся, хотя достаточно примирился с большевизмом, чтобы написать лестный биографический очерк о Ленине. Кажется, его предупредили, что Лаврентий Берия намерен арестовать его при возвращении: он остался в Берлине. Сначала он переписывался со своими грузинскими друзьями. Для них эта переписка имела роковые последствия. В письмах он рассказывал о возбуждении которое чувствовал в Германии, несмотря на духовный кризис умирающей веймаровской республики. И едва Гитлер пришел к власти, демоническая энергия Робакидзе принесла плоды. Сначала вышел сборник кавказских повестей: они были переведены грузинского ведущим кавказоведом и лингвистом Мекелейном.

Потом Робакидзе издал роман «Убиенная душа». В этом полуавтобиографическом романе противопоставлены сванский интеллигент и русский чекист. В нем есть «вечно-женственная героиня и борьба стихийного поэтического дионисийства с умертвляющим Грузию большевизмом. Все это отдает «Бесами» Достоевского, а возможно и его политическими пророчествами.

За «Убиенной душой» последовали «Хранители Грааля», роман еще более экзотический. Самым незабываемым эпизодом этой великолепном, хотя и нелепом произведении является, на мой взгляд, расправа героя с ГПУшником. Чекиста он раздевает донага привязывает к березе и оставляет, извиняясь перед березой. Это последний роман Робакидзе, возможно, прямо написал по-немецки.

ки. Во всяком случае его стали считать частью нацистской культуры и никогда не переводили ни на родине, ни в Европе.

В Тбилиси Берия отыгрался на бывших «голубороговцах». Как только Берия взялся за грузинский Союз писателей, поэты были обречены. Напрасно они старались смягчить его самоунижением и лестью. Берия и его палачи клеймили их за дружбу с врагом Робакидзе, и они гибли гуртом. Тициана Табидзе долго мучили и потом застрелили, Паоло Яшвили принес ружье в здание Союза писателей и там покончил с собой. Михаил Джавахишвили – подлинно оригинальный прозаик тоже погиб. Робакидзе, конечно, был только предлогом для расправы. От сталинской зависти и недоверия в модернистской грузинской литературе спаслись только Валериан Гаприндашвили, Колау Надирадзе и Серго Клдиашвили. В своем полном одиночестве на чужбине Робакидзе еще больше ожесточился.

Он теперь не писал романов. Его самое известное произведение – «Адольф Гитлер, увиденный иностранным поэтом» – написано в жанре эссе. Здесь он рассказывает, как шестилетняя девочка, с которой он разговорился в поезде, убедила его в доброте и гениальности фюрера. Затем в разгар войны он издал другое эссе – «Муссолини: видения на острове Капри». Это сочинение, по крайней мере, не переиздавали. После войны Робакидзе спасся, вовремя перебравшись в Женеву. Он стал писать безвредные философские эссе, производил хорошее впечатление на швейцарцев своим канотье и чистоплотностью. К концу жизни он смог даже переписываться с сестрой, оставшейся в Тбилиси. В 1962 году он умер. Его последней просьбой было, чтобы на его могиле написали: «Пусть каждый грузин молится за мои грехи».

Когда в Грузии в 1973 году сместили правительство Мжаванадзе, последнего упрекали в национализме, за «попытки реабилитировать эмигрантских поэтов». Такова была посмертная политическая победа Робакидзе. Грузинам трудно будет принять всего Робакидзе целиком. С одной стороны – добрейшего друга

своих друзей, с другой – мастера изысканной прозы, а с третьей – демонического жреца насилия. Но именно дьявольские элементы позволили Робакидзе рано и глубоко проникнуть в сталинскую душу. Процесс десталинизации Грузии идет уже тридцать лет, когда Робакидзе впервые указал, до какой степени сталинская отчужденная психика была негрузинским явлением. За это Робакидзе многое прощается.

Перевод с английского

1990, № 12

Наира Гелашвили

Миниатюры из цикла «Осколки зеркала»

Знание и незнание

Где тот, кто знает, что сегодня мне не следует выходить из дому? Или не следует вырезать слепую кишку? Или же нужно вырезать ее именно сейчас, сегодня же вечером, или через три дня?

Уж сколько времени жду его прихода: я ведь ничего не знаю наверняка. Каждый шаг – наугад, вслепую нащупываю подвижные перила жизни, в глазах – то слезы, то зола: туманом покрыты все очертания. Очевидны лишь страх да боль.

И вот наконец сбылось так отчаянно, так долго желаемое: явился мне мудрый советчик. Медленно поднял вверх правую руку (ветер чуть шевелил его белые волосы), посмотрел мне прямо в глаза и тихо и отчетливо произнес: – Не делай этого, это роковая ошибка.

Я в тот же миг поверила ему. Преисполнилась веры. Как прекрасны доверие и уверенность! И ясность!

Но сейчас, проснувшись, не могу вспомнить, что он имел в виду. Лежу и думаю: что же будет сегодня для меня роковой ошибкой, чего я не должна сделать? Не вставать? Не отправлять уже написанного письма? Не зажигать света? Не открывать крана? Не встречаться с другом? Не ходить на кладбище? Или не записывать этого сна и не запоминать его слов?

И боюсь сделать шаг...

Собственное имя

Почему так пугает меня внезапный оклик? Сердце так и подпрыгнет в груди: словно меня вдруг оголили или внезапно

набросили на голову сачок.

Когда я слышу собственное имя, меня охватывают неловкость, оцепенение и одиночество. Словно кто-то не пощадил, предал...

Что-то холодное и неприятное растекается по всему моему существу... стоит прозвучать пяти звукам, обозначающим имя. Оно причиняет мне боль. Возможно, потому, что в действительности я безымянна.

Глаза мои никогда не читают имя мое в газетах, журналах, на обложках книг и на конвертах: всегда пропускаю его. На двери нет таблички с моим именем.

Вот уж тридцать пять лет хожу по этой земле и ношу это имя, но так и не привыкла к нему, как не привыкла к земле...

Может, имя – это тайна, его не следует произносить вслух, и знать его должен лишь один, самый близкий, да еще Бог? Все же остальные пусть зовут тебя; дочь, мама, тетя, сестра, подруга или просто: человек?

Когда бывало он, самый близкий, произносил мое имя, дрожь пробегала по телу и охватывала покорность – точно он касался губами меня, или моей души, или моей жизни, или смерти моей...

Высеченное на базальтовом камне, имя мое не причинит мне больше беспокойства. Оно будет свободно от меня, мы будем свободны друг от друга.

Оно – навечно погребено в сером камне, я – под ним, в земле, душа же моя будет витать где-то в пространстве, избавленная от нас, как парус, оторвавшийся от лодки. Вновь соединимся лишь в чьей-то памяти, затем снова отдалит нас друг от друга темная река забвения, и не свяжет больше ничья мысль.

Дом

Стою посреди комнаты и смотрю на потолок: углы принадлежат паукам. Один затаился в самой середине солнцеподобной

сети. Второй ткёт, качается на нитке, третий, кажется, за малышом ухаживает.

Я не знаю, кому принадлежит этот дом – мне или им, или, может, той деловитой группе муравьев, что завладела сегодня блюдцем с вареньем, или обитающей в невидимой норке мышке, присутствие которой выдает тихое попискивание, или, может, моли, выпархивающей из шкафа и из комода, или нескладному черному жуку, по ночам выползающему из-под ванны, или же этому незнакомому белому цветку, распустившемуся в комнате дочери?

Они делают вид, что не замечают моего существования, пренебрегают мною... На самом же деле только и ждут, чтобы я ушла из дому. Вот когда, наверно, наступает раздолье для мышки, свободно разгуливает тогда она в освободившемся пространстве, может, даже валяется на моей постели...

Очевидно и обидно – я мешаю, я лишняя, они боятся меня... А вообще-то они, мне кажется, прекрасно чувствуют мою внутреннюю бесправность. Не люблю открывать дверь ключом, поскольку этот жест выражает право хозяина, – я же признаю, что все здесь принадлежит другим, а я – посторонняя...

Их единение против меня нарушает, кажется, только цветок. Чувствую, что ждет он меня, и не только потому, что хочет пить... Хочется ему, чтобы я постояла возле него, подумала о нем, иногда поговорила. Ему скучно, когда меня нет дома, и скука эта в глазах остальных обитателей, наверно, выглядит предательством.

Стою и смотрю вверх, на пауков. Они всячески дают мне понять, что я не существую или что я лишняя. Я не осуждаю их, но сегодня – день большого предательства с моей стороны. Сегодня приходит моя мать: живое воплощение права и долга. Она должна привести в порядок принадлежащее дочери пространство. Начинается чистка. Последние дни перед Новым годом. Гигантской вспомогательной силой становится она на мою сторону, и

мне стыдно. Но мое существование — постоянный источник е стыда и страданий. Она измучена тем, что я такая, и принуждае меня жить в келье, сотканной на остриях упреков. Она имеет пра во быть недовольной и пронзает меня стрелами обличения хот бы потому, что квартиру, в которой живу, приходится убирать еи Все это исключает возможность какого-либо сопротивления моей стороны. Всякий мой протест против покушения на мои сообитателей будет воспринят как неслыханное вероломство, — и я малодушно покидаю поле боя.

И обрушивается на обитателей моей квартиры день Страц ного суда. Ложатся на стены темные тени ангелов Апокалипсис: силуэты их труб. Поднимется моя седовласая мать, словно гне ное божество... Материнские руки, пытающиеся защитить здор вье и жизнь дочери, то мощно вскинут щетку к потолку, то запи нут ее под ванну.

Я покидаю дом, ухожу, разумеется, неизвестно куда. Жал что они боялись и ненавидели меня... Мышонку, наверно, ничег не сделается. Встают перед глазами не виденные мной, крохот ные, круглые, черно-пречерные глазенки, застывшие от страха: Новый год, наверно, встретим вместе: он — внизу, в преисподне моей квартиры, я — посредине, а наверху — потолок с обломкам воздушного города и следами кровавой бойни. Бойни ради отвс евания пространства, обладанием которого я себя не утруждаю...

Черные туфли

Снова приснились черные мужские туфли. Стала ждаи смерти кого-то из знакомых.

Два дня спустя скончался брат товарища.

Тяжелые черные туфли. Тупоносые и старомодные.

(Впрочем, мода возвращается, и старое становится новым).

Почему Смерть выбирает именно эти туфли для моих снов?

Постоянно думала об этом и не могла понять. Однажды достала с чердака старый потертый гобелен, гобелен моего детства, что висел возле моей кровати. Мой взгляд, прежде чем его поглощал сон, терялся в его красках... На нем возле хижины стоит ребенок, перед хижинной — ручей, видны деревья и неизвестная птица на крыше хижины. Повесила над кроватью... И сейчас тоже... взгляд мой перед сном растворяется в его дымчатых цветах.

Через несколько дней вспомнила: было мне года три. Бабушка надела чихтикопи¹, приколола к ней золотую булавку, оправила тяжелое черное платье и вышла в сад. Не спеша нарвала темно-красные георгины, ноготки и другие пестрые цветы, в изобилии растущие в деревенских дворах. Взяла меня за руку. И мы пошли...

В комнате, куда мы вошли, стоял тяжелый полумрак. У гроба сидели женщины в черном. Но я не знала, что это был гроб, и до того дня не видела мертвых.

Людей я не запомнила.

Запомнила острый смешанный запах цветов, тяжелую пестроту запахов и красок, не заглушаемую полумраком комнаты...

Совершенно бесчувственно, с холодным любопытством приблизилась к громоздившейся на кушетке тяжелой, неподвижной массе, покрытой зеленоватым креп-сатином и обложенной цветами.

Кушетка была застелена ярким узорчатым ковром. Резкая пестрота ковра, цветов и запахов, ужасным образом смешавшихся в моем восприятии, почему-то мучила меня. Раздраженная, обходила я кушетку. Вдруг остановилась у совсем новых черных туфель, никогда прежде не виденных мной в таком положении: они торчали носками кверху, прижатые друг к другу. Их однозначная, совершенная чернота и неподвижность принесли мне, оглушенной этой смесью красок и запахов, облегчение.

¹ Чихтикопи (груз.) — традиционный женский головной убор.

Меня обрадовало, что блестящая зеленая ткань не покрывала туфли. Долго смотрела на них. Потрогала блестящий каблук. Потом решила проверить, со шнурками они или без. Взялась за носок и слегка потянула на себя. Движение, с которым туфля поддалась мне, было каким-то покорным, беспомощным и в то же время упрямым. Ухватилась за конец черного шнурка и... тут кто-то грубо схватил меня за плечо и оттащил в сторону.

Какая-то женщина в черном появилась в открытой двери и закричала: «Ты пришла, о, смерть?!»

Я не поняла, кто пришел. Никто, кроме нее, в ту минуту комнату не входил, и было неясно, кому она кричала. «Пришла?!» и почему кричала?

Стала оглядываться по сторонам. Потом вся эта непонятность мне надоела, и я выбежала во двор.

И вот много-много лет спустя, когда случай этот совсем стерся из моей памяти, эти туфли однажды всплыли в моем сне. И с тех пор, снясь, предвещали чью-либо смерть.

Стоят себе: то перед погасшим камином, то возле кресла, то на подоконнике открытого окна... Где им вздумается, там и стоят кто может им помешать...

Стоят тихо, безобидно, вроде бы просто так, вроде бы само по себе.

Хочешь – догадывайся, не хочешь – не надо, никто тебя и неволит...

То, что должно прийти, все равно придет.

Незримое творчество

Зачем мучаюсь, зачем придумываю?! Зачем мне этот вымысел? Богаче всего я снами.

Достаточно записать мои сны – и получится большое удивительное творчество. Только чье – не знаю, и какой эпохи...

Впервые

Ребенок впервые пошел и ухватился рукой за крохотное вишневое деревце. Деревце качается — оно впервые зацвело в этом году, впервые дало плоды: в листе на солнце горят три красные вишни. Ребенок смотрит на них: сверкают шесть белых зубиков.

Картинка

Инжировое дерево у стены старого храма. Солнце и полдень вычертили его на стене храма. В просвете меж тенями двух листьев растянулась на солнце пестрая гусеница. Подует ветерок, тень качнется и накроет ей головку. Сожмется и скользнет она по древнему камню храма. Избегает тени, ищет солнца.

Радость

О, если б не быть нам больше ни матерями, ни отцами, ни женами, ни мужьями, ни любовниками. Не желать друг друга желаньем взрослых. Стать бы нам всем детьми малыми и подбегать к нашим же детям... Те же, кем были мы, пристыженные и посрамленные, обратятся пусть в куклы-игрушки. Тихо усыпим этих кукол мы, дети: укутаем в толстые одеяла, притворим за собой городские двери и убежим все вместе в луга...

Дождь стекает нам на глаза... О, радость! Только лишь так она возвращается, таким вот образом: звездная, прохладная, детская.

Свобода

Вот какой она явилась мне:

Я: со своим ребенком, которому год, три или шесть.хлопо-

чу над ним, на мне розовое платье. Мы так любим друг друга, мы вместе! Никуда не спешу, целиком принадлежу ему. Комната освещена солнцем, в глазах у меня тоже свет. Только что накормила его. Любовно, нежно, неторопливо (из одних здоровых овощей) приготовленной пищей, полезной и необходимой. Праведно исполненный долг наполняет меня безбрежным блаженством и светом. Теперь сижу возле него и читаю ему книгу. Потом поведу его гулять, в парк. Буду рассказывать о травах и птицах. Его легкие наполнятся чистым воздухом. Целиком принадлежу ему, не жалею себя для его здоровья и радости. Как это счастье — жить праведно.

Я: с дорогим мне человеком. Он устал. К его приходу приготовила его любимое блюдо. Мясное и сытное. Зелень. Винегрет. Накормила. Теперь он лежит и беседует со мной. Вся обращена к нему. Слух. На мне голубое платье. Вереницу тяжелых, усталых слов встречаю улыбкой. Подбиваю утешение подкладкой нежности. Осторожно. За весь день не присела, но усталой себя не чувствую. Вся целиком с ним, целиком принадлежу ему. Осторожно провожу рукой по виску, ласкаю его.

Я: поправляю матери подушку. Глажу по голове. Она боится. Готовлю ей легкую еду, жидкую, без мяса — такую, что полезна больному. Со стоном высказываемые упреки встречаю ласково. Кладу на дряблую губу белую таблетку, подношу воду. Люблю. Потом сижу рядом и слушаю, слушаю — ее мысли вслух, ее воспоминания: о нашем детстве, об отце, об отправленных и неотправленных письмах, о ее родителях, о ее детстве, о детстве ее матери... Целиком принадлежу ей, вся обращена к ней, и отойду от нее: во мне, как в копилке, должны остаться ее слова и воспоминания. Потом опять лекарство, умывание, кормление, лекарство и устройство на ночь. Какое счастье жить праведно. Целиком отдаваться близкому. Ночью стерегу ее тяжелый сон, то дело вспарываемый темным храпом.

Я: со своим братом. У него день рождения. Мы все здесь

Помогаю невестке. Сную как челнок. Покрываю стол скатертью, ставлю стулья, тарелки, стаканы, вилки. Брат радуется. Горд тем, что и сестра с ним. Не отойду от него. Не оставлю одного с гостями. Буду рядом. Потом уберем со стола. Все вычистим, вымоем, потом сядем, и он расскажет мне то, что не расскажет никому, кроме сестры. Никуда не спешу. Вся целиком с ним. Когда бываю нужна ему, тотчас оказываюсь рядом, не заставляю себя ждать. В детстве обрезала ему ногти, стригла волосы и очень боялась задеть темные родинки на затылке под волосами... Мыла ему руки и читала книги.

Я: отправляю письмо и посылку другому брату. Ежедневно. Не забываю. Письмо сердечное, подробное, полное тепла и утешения, светом озарит оно каждый изгиб его души, наполнит бодростью. Детям его ношу подарки и книги. Беседую с ними. Вожу в театр.

Я: на могиле отца. Заказала в церкви еще один молебен. За упокой его души, за отпущение грехов. Чтob ему свободно леталось. Окропила освященной водой весеннюю землю. Зажигаю свечу у мрамора, поливаю розы, разрыхляю землю. Сверкает отцовская могила под заботливыми руками дочери.

Я: еду с подругой в далекий город. Вместе одолеем трудный путь, и я буду повторять ей: не бойся, друг мой, я с тобой, прислонись ко мне. Не бойся, друг мой, позади останется холодная зима, ураганы выбьются из сил и осушит солнце наши слезы.

Я: сижу у стола. В руке — перо, на столе — бумага. Я одержима. Я должна вся перелиться в бумагу, кровью излиться, свечой оплавиться, истечь слезами... Денно и ночью быть здесь, не отходить, не отвлекаться, не рассеиваться... Слова, слова, образы... Каторжный труд, монашеское терпение, неотложный, тяжкий труд земледельца... Не светит над тобой ни луна, ни свеча... Труд требует тебя всю, без остатка, ты нужна вся целиком, каждой частичкой своего существа, только посмей уклониться — в тот же миг твердь превратится в дупло, в наполненный водой и воздухом волдырь.

Излейся, ничего не оставляя себе, отдай себя.

И я: вижу все это, вижу всех и вся, и в то же время иду. Счастье, облегченный воздух и распрямление крыльев! Все раздала себя, разделила себя меж всеми, всем оставила. Я есть всех... Я со всеми – и я совершенно одна. Свободна!

Иду: одетая в оленью шкуру, обутая в сандалии! В котом у меня сухие ягоды, вокруг – лес моего одиночества, вдали – поля и луга моего сердца... В гору ведет моя тропинка, легка, как ветер, моя поступь! С распущенными волосами и распростертыми руками встречаю горный ветер. Люблю тебя, ветер, неси меня куда хочешь, – не стану смотреть на звезды и запоминать дороги. Впереди – мои новые грехи, мои случайности, моя беспечность. Воля – твоя и моя. Позади – долг – исполненный! И все это «тогда и теперь», не «до и после», – а одновременно!

Я – у всех!

Я – ничья! Я своя – для ветра и дороги!

Слышится рев зверя, плеск воды, пенье птиц: в лесу моя душа.

Иду, лечу!

С луны

Лежу на Луне. На краю Луны. Лежу ничком, опираюсь на локти.

Вот и Земля.

Здесь, на Луне, обитают старые духи, а может быть, новые. Они мечутся где-то у меня за спиной, сердятся и говорят «Не смотри!»

Я их не слушаю. Я ведь не вмешиваюсь в их дела.

Вот и Земля.

Не обращаю внимания на горы, вершины, моря, океан города, небоскребы.

Вижу: порезанный палец ребенка, слезу, готовую сорвать

с ресницы, глубокую, как борозда в поле, морщину у чьего-то глаза, вздутые вены на чьих-то икрах, мертвую птичку на заледевшей земле, посох в чьей-то руке, смиренные, неосуждающие глаза голодной собаки, маленький гробик, ланцет под желтым светом, скользящий по обнаженной коже, оставшиеся приоткрытыми беспомощные губы, с застывшими вдруг на них словами, уродливую желтую пригоршню – устланную медяками, скрюченные пальцы умирающего, влажные, облепленные мухами глаза коровы.

Духи у меня за спиной сердятся: «Не смотри».

Я их не слушаю.

Огромные крылья забились вдруг предо мной, заслонив Землю, на Луну опустился белый ангел. Духи притихли.

– Спой о великих вещах и делах, – сказал мне белый ангел.

– Тех, кто воздвиг храмы, я не знаю, не видела, не встречала. Тех, кто свершил великие дела, не знаю, не знаю, как они жили. Глаза мои заполнены малостью, которая для меня так велика, что не умещается во вселенной... Видишь порезанный палец или набитый солью крохотный полотняный мешочек у больного уха... Как быть с ними?.. Как могу я петь о великих вещах, когда вон, видишь, на берегу озера чернеет в песке детский башмачок – сбивает меня с толку, и не могу найти объяснения, или вон хлеб для воробьев, который трижды одарили поцелуем, прежде чем положить на изгородь.

Опечалился и улетел: как ураган. Заразился моей печалью. Смотрю вниз. Вон мое окно. Горит свет. Там, наверно, я сижу и пишу. Или, может, давно никто не живет – просто не выключили свет...

Перевод Людмилы Кравченко

1991, № 6

*Реваз Тварадзе***Отар Пачкориа и его друзья**

Отиа Пачкориа прежде всего был интеллектуалом и эстетом. Эти его качества проявились еще в ранней юности, в ареста, когда завсегдагаи единственного клуба (или, если хоти своеобразного салона) тогдашнего Тбилиси – проспекта Русвели знали Отиа в основном как «своего парня». А ведь завоевание имени «своего парня» было непростым делом, оно означало приблизительно то же, что и «добрый молодец» в поэтическом мире Важа Пшавела. Здесь же надо сказать, опыт института «своего парня» спас Отиа и его друзей впоследствии, когда их, двадцатилетних юношей, судьба забросила в Сибирь. Но прежде, задолго до этого, осенью 1947 года произошло весьма знаменательное событие: Отиа и его друзья, такие же, как он, интеллектуалы и эстеты, создали литературный кружок, и этот кружок получил прописку именно на улице Петриашвили, именно в доме Пачкориа (при тогдашней тотальной бесквартирности три просторные комнаты, которые занимала семья Пачкориа, казались настоящим дворцом).

Отчетливо помню первое заседание кружка. Сразу же разгорелся спор, как называть наш кружок – «Колокольня Грузии» или «Грузинская колокольня». То, что наше объединение должно было действительно выполнять роль колокольни, ни у кого не вызывало сомнения и в условиях тогдашнего закостенелого мышления, мертвой литературной жизни, возможно, и не должно было вызывать его, поскольку в кружок объединились действительно избранные личности. Настолько избранные, что закончив свое название своего детища, они немедленно углубились в интеллектуальные словопрения.

– Как говорит Буало...

- Этого никто не утверждал до Ницше...
- Георг Вильгельм Фридрих Гегель...
- Фихте... Шеллинг... Шопенгауэр...
- Эта роль, на мой взгляд, принадлежит лорду Джорджу Гордону Байрону...
- Надо было прочесть сперва Иммануила Канта, «Прологомены»...
- Гаутама Будда – Саккья Муни...

Нет, не скажу, что мы не любили щегольнуть иностранными авторами или иностранными словечками, мы, это наше теснейшее братство – Отиа, Арчил Сулакаури, Тамаз Чхенкели и я. Но сфера наших интересов включала преимущественно конкретные вопросы поэтики – рифму, метр, образ, сравнение... Тут на нас обрушился такой шквал информации, что большинство просто растерялось.

Придя в себя, я заметил, что спорят в основном двое, спорят яростно, ни на йоту не уступая друг другу. И хотя предмет спора был для меня абсолютно непонятен, я тем не менее догадался: истина интересовала спорщиков в меньшей степени. Главное для обоих было разгромить оппонента, на худой конец создать впечатление, что оппонент побежден.

Поняв это, я вздохнул с облегчением. И обратил внимание, как в течение этого яростного спора Отиа метался из угла в угол, отпуская время от времени язвительные реплики по поводу доводов, приводимых спорщиками, тем самым в какой-то степени остужая их пыл и разряжая общую атмосферу.

Одного из этих спорщиков уже нет в живых. Да пребудет его душа в мире! До конца своих дней он остался необыкновенным человеком. Будучи на последнем курсе аспирантуры (кажется, кандидатская диссертация была уже написана) бросил вдруг все и вся – и ограниченных руководителей, и коварных коллег-фарисеев, и свою блестящую, как многие полагали, научную карьеру – и занялся пчеловодством. Ему приходилось общаться и вести дела с простыми людьми, но при встрече с нами

он любил с прежним пафосом поговорить о Буало или Будде.

Оглядываясь назад, я понимаю, что в те артистические минуты ораторского всплеска оба представляли собой тогда не лишнее интереса зрелище (да и могли ли выглядеть по-иному напичканные тяжелой интеллектуальной информацией девятнадцатилетние или двадцатилетние юнцы?!), глядя на них с расстояния прошедших десятилетий, сознаю, как дороги они мне оба. Но в то время я сам, будучи нетерпимым человеком, притом отчаянным индивидуалистом, не умел слушать других и не отличался особой снисходительностью, поэтому, когда на следующем заседании кружка почти в точности повторилась та же картина (снова наши два оратора вцепились друг в друга), я перестал посещать эти собрания. Тамаз Чхенкели выдержал еще несколько заседаний, а потом и он отошел от «Колокольни Грузии» или «Грузинской колокольни». Отиа, даже если бы и хотел, не мог себе этого позволить — собрания проходили у него в квартире.

Потом случилось то, что сегодняшнему поколению, да и вообще всем, кому не довелось жить в то время, понять не так просто. Поэтому здесь необходимо небольшое отступление.

Старшие постоянно твердили нам, молодым, так что эта ходячая мудрость въелась нам в кровь и плоть: если хочешь сказать «что-то такое», говори только тогда, когда ты один на один со своим собеседником, если при этом присутствует третий — лучше молчи, ибо из вас троих один непременно окажется стукачом. Даже если он и не стукач, он может где-нибудь просто проговориться, и, будь уверен, его заставят сказать, кто и где говорил ЭТО, и тогда тебе конец. Если же разговор идет между двумя собеседниками, этот второй, будь он доносчик, никогда не сможет доказать, что ЭТО говорил ты — свидетелей-то нет.

Это не было удивительным, удивительным было другое — в той отравленной атмосфере, пропитанной недоверием среде рождались беспримерные образцы истинной дружбы, и собрания группы верных друзей были не таким уж редким явлением

Сколько раз я взрывался от негодования, когда кто-либо из моих хлебнувших лиха близких пытался внушить мне быть более осторожным, не доверять всем подряд, не дружить со столькими ребятами: вот и отец твой был таким же, говорили они, потому так и кончил. То, что я походил на отца, наполняло меня гордостью, но зерна недоверия по отношению к моим друзьям и знакомым, которые пытались бросить в мое сердце, приводили меня в бешенство. Кому из них не верить? – почти рыдал я в отчаянии, – назовите хотя бы одного, кто может предать меня? (Шел перечень имен). История с отцом – другое дело, то был тридцать седьмой год!

– С тех пор ничего не изменилось, – грустно возражали мне повидавшие на своем веку родственники, – заговорщиков 41-го года выдал друг (тогда расстреляли Котэ Химшиашвили), в 43-м повторилось то же самое (тогда выслали Чабуа Амирэджиби), измена друга повлекла аресты и в 46-м (арестовали Татули Цулукидзе), доносчиков и предателей у нас не перечесать!

Но я и мои друзья стояли на своем, не стоило и жить, если не веришь в преданность друга.

И Отиа, безусловно, был того же мнения, более того, он верил в дружбу, наверное, больше нас, поскольку круг его знакомых и друзей был значительно шире. Он доверялся людям всем своим существом.

И члены литературного кружка тоже верили в дружбу и аккуратно собирались в неделю раз.

Но и органы имели свою твердую убежденность и принципы. Органы были уверены, если юнцы в составе трех или более человек начинают регулярно собираться, то это может поколебать устои советской власти. Поэтому, будь они даже ни в чем не повинны, для устрашения других их следует наказать самым суровым образом. Тем более, если объединение этих юнцов носит такое непонятное и сомнительное для органов название – «Колокольня Грузии» или «Грузинская колокольня». Тем более, что ос-

новным предметом их разговоров является проклятый идеализм («идаализм», как говаривал наш преподаватель диамата), способный подорвать основы советского государства.

Потом уже кто-то пустил слух, что органы, узнав о существовании литературного кружка (как и каким образом – никто не мог сказать наверняка), послали провокатора, и этот провокатор придал чисто литературным спорам политическую направленность, желая выяснить, кто клюнет на эту удочку, а кто нет.

Сам Отиа, уже вернувшись из ссылки, ни разу в наши беседы не упомянул о провокаторе и вообще не касался этого вопроса. И мы, со своей стороны, заметив, что он не хочет говорить на эту тему, не приставали к нему с расспросами.

Но даже будь это правдой – слух о провокаторе, и прим этот литературный кружок действительно политическую направленность, какой мы должны себе представлять ее, эту политическую направленность? Что должны были предпринять эти действительно безумные юнцы, что могло составить серьезную угрозу государству; на страже его стоял дракон, из страха перед которым ни птицы в небе не пролетали, ни муравьи по земле не ползали?

Но органам недосуг было задумываться над подобными нюансами. Осенью 1948 года все члены литературного кружка были арестованы и каждый из них обвинен в участии в особом опасном антисоветском заговоре. Доказать их вину не составил большого труда. И наказание было соответствующим – двадцать пять лет ссылки!

Так были отправлены в дальнюю дорогу Отиа и его друзья – Гиви Магулариа, Тенгиз Залдастанишвили, Алеко Меладзе, Жорес Цинцадзе, Шота Джиджадзе и другие (фамилии всех уже не помню). Если не ошибаюсь, десять человек.

Отиа Пачкориа было тогда двадцать лет. На улице Петриашвили в опустевшей трехкомнатной квартире остались убитые горем родители и маленький его архив – несколько рассказов

рукописях. Никто из нас эти рассказы не читал, за исключением, кажется, Тамаза Чхенкели. Мне он как-то сам прочел две-три миниатюры, но я почти ничего не помню, осталось лишь общее впечатление. Я умолял его: не воспринимаю рассказы на слух, дай я сам прочитаю. Но он не дал. Как будто не хотел, чтобы их касались чужие руки, как будто боялся – посторонний глаз не сможет вникнуть в построение его фраз.

Речь там шла о какой-то пустыне, человеке и бесконечности (подразумевался, естественно, сам автор!). Угадывались, если не ошибаюсь, реминисценции из «Заратустры» и, может быть, «Змеиной рубашки». Фразы действительно были необычны: несколько артистичные, но энергичные, упругие, заряженные. Нетрудно было догадаться, автор подолгу упорно работал над каждой из них. Когда он вернулся (в 1956 году всех освободили), он о рассказах не заикался, а после его смерти не нашли их и в архиве. Наверное, он сам их уничтожил.

Человеку со стороны трудно понять, как он мог пожертвовать своими пусть незрелыми, но так заботливо лелеемыми произведениями ранней юности. Но тому, кто знал Отиа и его отношение к литературе, все понятно. Будучи эстетом с безукоризненным вкусом, он был истинным литератором, не терпящим компромиссов в сфере творчества. Тем более беспощадным был он к собственным произведениям. Потому и осталось после него такое скромное наследие, которое, впрочем, для истинного читателя может быть весомее многотомных сочинений иных авторов.

Предлагаемые ниже записки подтверждают сказанное. Каждая фраза у него, каждое слово – плод долгих раздумий, медитаций (надо учесть и то, что это записи из записной книжки, которые автор не собирался публиковать). Для любого другого глубинное содержание этих записей послужило бы материалом для книги или, по крайней мере, статьи. Но Отиа никогда не походил на других...

Отиа Пачкориа

Из записной книжки

• В ночь перед погребением Гюго Париж предавался оргии. Париж хоронил божество и провожал его, как Диониса.

• Помню, когда хоронили Галактиона, процессия шла улицей Кирова. Я стоял на углу. Какая-то женщина пыталась пробиться сквозь толпу, чтобы подняться наверх, в Сололак. Сделать это было почти невозможно. Тогда женщина в сердцах крикнула:

– Толпа бездельников!

Впервые я стал свидетелем сдержанной, почти аристократической реакции «толпы». В ответ на этот выпад раздался смех, снисходительный, ироничный... Может быть, потому, что был день народной скорби, и страна хоронила своего величайшего поэта. А может быть, потому, что истинная боль даже в самой «толпе» пробуждает высокий дух и выявляет национальные черты – в данном случае иронию и аристократическую невеселость. Я знаю, в тот день, в день похорон Галактиона мы народ был именно таким скорбящим, гордым, терпимым и аристократичным. Я проводил взглядом зеленую шляпу, украшенную страусиными перьями, протискивавшуюся вверх, к улице Джпаридзе... Женщина отторгалась от народа, как несовместимый с ним, посторонний предмет. У гроба Галактиона на открытой машине стоял Нодар Чхеидзе. Мы тогда еще не были друзьями, но хорошо помню его силуэт – четкий, скорбный, сосредоточенный...

И помню чувство праздничной приподнятости, невольное чувство, внутреннее ощущение проклятия колоколов... будто этот день действительно был днем перевоплощения языческого божества.

Я не поднялся на Мтацминда.

После прочтения монографии Рези Тварадзе, где приводятся дневниковые записи поэта и ясно видно, как трагична была судьба этого мученика и комедианта, мне невыносимо слушать патетические речи тех, кто способен поддерживать и сочувствовать только мертвым.

Беда Галактиона не в том, что он не смог найти страну, где не существовало с т р а х а, а в том, что он жил среди людей, большинство из которых были глухи и глупы.

• В отношении к современной литературе доминирующее положение заняли рассудительность, рациональность, причем в аналитическом отношении малоценные. Думаю, необходимо восстановить эмоциональную связь с литературой, эмоциональное, чувственное подчинение ей (что подразумевает соответствующий интеллектуальный контакт). Если мы с недоверием относимся к нашей литературе, то это не только потому, что мы стали более информированными и невольно сравниваем Иоселиани с Марксом или Элиозишвили с Льюисом (довольно проигрышные параллели). В конце концов мы же не сравниваем Илью с Толстым или Достоевским, поскольку знаем, это вызовет только смешение ценностей, отождествление всех и вся. Причина нашего неверия — провинциальный снобизм вновь прозревшего, растерянность технократа, определенное снижение способности переживать, притупление эмоций. И что главное, ослабление национальной гордости, если можно так выразиться.

• Феноменология и экзистенциализм близки к литературе тем, что, несмотря на различные отклонения, главным для них является существование конкретного человека, личный «экзистенс» человека. Основная цель искусства (литературы) — реализация человека (что не значит мысли о человеке. Это значит сам человек. Субъективное о субъекте). Поэтому понятно, что эти философские направления нашли прежде всего воплощение в литературе (отрицание понятийного мышления само по себе — литературная формула).

● Обычно от веры ожидают освобождения от двойственности и безысходности. Это не истинная вера. Верующий не застрахован от ошибки и греха. Человек всегда стоит перед альтернативой, перед выбором и решение принимает на свой страх и риск. Вместе с тем каждое решение — переход в качественно новое состояние, прыжок в неизведанное.

● Ощущение собственного физического нездоровья не должно стать сознательным актом, тогда возникает опасность совершения нездорового поступка... Достаточно раз пожалеть свое тело, чтобы потом все простить душе.

● Создание отрицательного характера в грузинской литературе всегда связано с одной принципиальной ошибкой — берется не характер в целом, а его отрицательная черта. Вернее, берется проблема «отрицательности», если можно так выразиться, и пишут на эту тему, показывая лишь одну сторону человеческого характера. В результате получается сатирико-юмористическая схема. Действует не человек, скажем, злой человек, а его отрицательная черта, часть его. «Отрицательность» не может быть единичной чертой (в конце концов, писатель должен учесть существующие модели, скажем, образы Гобсека, Смердякова, Долохова... всех не перечислить. Ни один из них не является схемой или воплощением зла или отрицательных черт).

Одним словом, внимание акцентируется на вопросе об отрицательных чертах, а не на человеке. Когда мы создаем в нашем воображении модель отрицательного характера, мы же должны отдавать себе отчет, что с помощью только отрицательных элементов его просто не выстроишь, такая арматура не обрстет плотью. Просто наивно думать так.

● Я не хочу писать исследование по теории литературы. Это представляется мне зряшным трудом, потому что такие теоретические «изыскания» всегда являются калькой, перепевом того, что уже было сказано, механистической критикой. Не хочу заниматься и классификацией или поражать кого-либо теоретиче-

скими открытиями (в принципе мне до сих пор неясно, какое значение для духовной жизни народа имеет, скажем, «открытие» классицизма в Грузии XIX века. Допустим, обнаружили, что существовал классицизм, но ведь упустили сентиментализм. Скажем, нашли и его следы, а как насчет античной трагедии и т. д.).

Я хочу говорить о своих впечатлениях, пародируя самого себя, достичь того уровня иронии, который сегодня в Грузии считается выражением интеллектуализма.

● Грузинская проза так или иначе все же находится в фокусе мировой литературы и по своим мыслительным тенденциям, хотя бы художественным тенденциям, не представляет собой нечто изолированное и консервативное.

Думаю, мы все же должны помнить, грузин никогда не отличался особенной тягой к рационализму. Хотя бы потому, что в новые века у нас не было прямой непосредственной связи именно с этим рационализмом, «европеизмом», поэтому, столкнувшись с ним, мы оказались в некоторой растерянности и смотрели на него, вытаращив глаза и безвольно опустив руки.

● Хочу, чтоб молодые знали, проза – не только структура, проза – система. У прозы всегда есть схема. И в этом опасность... Существует схема толстовских романов и романов Достоевского, но существует общая система, общая для Толстого и Достоевского. Их систему объединяет глобальность, масштаб чувств – их величие (чего нет ни у Бунина, ни у Бабеля, ни у Куприна. Здесь мы имеем дело с иной системой, вернее с ее расчленением – что также логическая необходимость).

● Умер Эдишер Кипиани! Умер Тамаз Мелиава! Умер Арли Такашвили!

От этих трех имен никуда не уйти. В этих трех именах столько характера, страстей, человеческих пороков и человеческого вдохновения, что сама мысль о них подавляет.

Я не знаю, что такое смерть, для меня они – отправившиеся в дальнюю дорогу путники, ничего больше (уход каждого из них

носит отпечаток самоубийства, бессмысленной случайности, является подтверждением абсурдности нашего существования).

- Литература постепенно осваивает все гуманитарные науки и выступает уже от их имени. Ценность литературы научная и познавательная, мыслительная часть все более и более проступает на первый план. Литература имеет право говорить с людьми от имени универсального жанра (хотя бы науки), и это предъявляет новые требования к писателю. Она постепенно превращается в средство популяризации и научного познания мира.

- Я знаю, каждый нормальный человек приходит к вере Бога не потому, что жаждет бессмертия или верит в существование некоего фантастического мира. Вера и Бог, прежде всего, приобщает к высшей нравственной культуре и предвещает нравственное очищение и утонченность.

- Первое впечатление после возвращения из ссылки: все предметы, вещи – на своих прежних местах... словно я и не уезжал, словно ничего не изменилось. Есть в этой неизменности предметов злая мысль.

- Музыка – суждение о музыке, пересказ сюжета музыкального произведения оставляет ложное впечатление. Музыка скорее результат эмоций и интуитивного приближения к гармонии, нежели элемент категории разума. Она действует больше эмоциональной настройкой человека, чем прибавляет что-либо его познаниям. Человек, умеющий пересказать содержание музыкального произведения, оставляет впечатление беспредметно и провизирующего, музыка, наверное, не оказывает на него никакого влияния. Адажио, крещендо и пр. – это понятно, непонятно пересказ.

- Родина – абстракция до тех пор, пока ей ничто не грозит... Может быть, поэтому для малых народов родина – более конкретное понятие, конкретная боль, забота. Для больших народов родина – экспансия и выражение отвлеченной мощи... Для малых народов – жизнь и смерть, связанные непосредственно

каждой отдельной личностью. Патриотизм представителя большой нации – в насилии. Патриотизм же сына малого народа – в самоутверждении, способности выжить, в борьбе за сохранение своих личностных достоинств.

● Если говорить об истинном профессионализме, у Арчила Сулакаури, безусловно, есть ярко выраженные профессиональные достоинства. Эта профессиональность уживается в нем с талантом, органичным для всего его существа. Именно поэтому, даже те, кто не хочет признавать в нем писателя, тем не менее уважают его, ибо он один из тех немногих, кто оправдывает понятие писатель.

● Стиль мышления Арчила Сулакаури чисто литературный, т. е. он постоянно живет литературой. Именно это придает его личности значительность, это и еще то, что свои мысли он облекает в четкие логические конструкции. Он ничего не говорит просто так, ради того, чтобы что-то сказать... Придает фразе более глубокий смысл, чем это кажется на первый взгляд. Его суждения всегда авторитетны.

«Ты похожа на язычницу, каждой утренней зарей отправляющуюся к бомонд-у, но уже сомневающуюся во всемогуществе своего идола»... (Из стихотворения Галактиона. – Ред.).

Возможно, «знание» поэзии должно начинаться с такого сомнения.

Эйхенбаум пишет – когда поколение поэтов в своей же среде рождает теоретика, это уже предвестник кризиса.

Поколение поэтов, которых называют «цискаровцами» и «шестидесятниками», появилось без теорий и теоретиков.

«Понимать» поэзию, наверно, – в высшей степени субъективное понятие и зависит от личных поэтических свойств читателя, от его интуиции, наконец. Это – ощущение эмоционального плена, к которому стремится сам читатель.

Поколение явно было лишено того, кто бы выслушал его искреннее слово. Оно нуждалось и в уважении и в отрицании, и в

признании и в сомнении. Ведь его поэтическое существование часто протекало под знаком эфемерного успеха. Может быть, ему грозила и опасность перерождения в поэтическую «корпорацию», отмеченную обыкновенным практицизмом.

«Сакральные» десять лет миновали.

Поколение создает чередование поколений. Кто-то должен уделить внимание поэзии. Но только не тот, кто болен обычным академизмом, кто равнодушен, у кого мозг, что соты, где в каждой ячейке покоится по научной истине.

Перевод с грузинского

1992, № 8

*Заза Абзианидзе***Нетускнеющий образ**

(Штрихи к литературному портрету Георгия Маргвелашвили)

Имя Георгия Маргвелашвили дорого нам не только благодаря тому значительному вкладу, который он внес в исследование, перевод и популяризацию грузинской литературы. Георгий Маргвелашвили был не просто членом нашей редколлегии, но неизменным членом нашей «редакционной семьи», неизменным нашим автором – умножающим хлопоты редакторов и радость читателей. Гия приходил в редакцию не только с новыми идеями, рубриками и статьями, он постоянно знакомил нас со своими открытиями – новыми людьми, стихами, переводами... Он привносил в редакционную повседневность ту восторженность и легкость, которой так недостает нам в нашей многотрудной жизни.

– Теперь, много лет спустя, мы со смешанным чувством горечи и умиления вспоминаем фильм Отара Иоселиани «Жил певчий дрозд». Многое из того, что уже порастеряно или все еще теряется – будь то наши общие надежды или иллюзии, снисходительность или доверительность, духовный аристократизм или рыцарский кодекс, – все это, увы, сохранилось преимущественно лишь в фильмах, книгах и в нашей памяти, конечно же...

Символично, что одна из мизансцен этого фильма донесла до нас кинопортрет негодующего, крикливого, но на редкость добродушного инспектора оркестра – Георгия Маргвелашвили.

Сейчас, уже после его смерти, думается, что Гия (так звали его все – от мала до велика, и в это обращение вкладывалось скорее тепло, чем фамильярность) всю свою жизнь играл эту роль, вот только оркестранты были другие. А если быть более

точным – не играл, а на самом деле был таким: в разговоре о его кумирах нельзя было произнести слово «но», а если такое случилось, разъяренного Гио могло успокоить лишь чистосердечное признание, что ваши минутные сомнения в достоинствах того или иного стихотворения (перевода, романа, балетного спектакля и т.д.) досадное недоразумение и что в будущем вам и в голову не придет подобная мысль. Его пантеон лишь частично совпадал с официальными антологиями, так как чтобы попасть туда, мало было одного таланта, требовалось еще и дружеское расположение Гио. А поскольку дружба прочно скрепляла стены этой цитадели, его кумирам ничего не угрожало – Гио не просто любил тех, о ком писал, – он был влюблен в них, и это чувство первой влюбленности, восторга, какого-то юношеского романтизма придавало особый оттенок и очарование не только его отношениям с этими людьми, но и его лучшим строкам, его литературным оценкам и находкам, всей его жизни.

Гио умудрялся одновременно дружить с Георгием Леонидзе и Симоном Чиковани – а это было отнюдь не просто. «Гогла и Симон» – а в Гионой последовательности – «Симон и Гогла» – произносились с какой-то особой интонацией, в которой чувствовалось и безграничное уважение, и восторг; и дружеская преданность... Он досконально знал их поэзию и, кстати, не только то, что увидело свет. В его статьях вы встретите блестящие образцы из неизданных тетрадей Леонидзе. Кстати, над составлением сборника стихотворений Георгия Леонидзе на русском языке Гио работал до последних дней своей жизни.

Еще одним кумиром Георгия Маргвелашвили был Павле Ингорквва – я бы не сказал притесняемый и гонимый, но все же явно отлученный от авансены, годами предаваемый забвению, в общем, каким-то образом не попавший в колею этой жизни.

Гио, в целом восторженная и легковерная натура, оказался идеальным слушателем и помощником анахорета Павле Ингорквва, чье воображение на склоне дней с необузданностью гения

рождало каскад парадоксальных идей – от воссоздания древне-грузинской нотной азбуки до грузинско-хеттских параллелей. (В связи с этим вспоминается статья Георгия Маргвелашвили в журнале «Курьер ЮНЕСКО».)

Сейчас, когда Гии уже нет с нами, все более ощутимо чувствуется, как необходим подобный тип человека в нашей писательской, литературной среде: с внутренней искрой, воспламеняющийся, в какой-то момент предпочитающий довериться интуиции, а не академическим аргументам, своей дружеской пристрастностью и безмерной похвалой вселяющий надежду и уверенность в смятенную душу...

Однако, вернемся к «пантеону» Гии Маргвелашвили: одна из его статей, написанная в 1968 году, озаглавлена так – «Попытка критического триптиха: 1. Арчил Сулакаури. 2. Отар Чиладзе. 3. Нодар Думбадзе». Соседство этих имен здесь, конечно же, не случайно. Что касается последовательности, то, какой бы условной ни была эта нумерация, она, на мой взгляд, возможно и подсознательно, отражала протяженность «дружеского стажа» героев «триптиха» с Гией Маргвелашвили.

История дружбы Арчила Сулакаури с Гией для нас, его младших коллег, относилась к тем «табуированным» сюжетам, вера в абсолютную достоверность которых являлась гарантом нашей дальнейшей с ним дружбы. Здесь были довольно строгие правила: естественно, никому бы не пришло в голову спорить с Гией по поводу Галактиона или Тициана Табидзе, Пастернака или Мандельштама, но нельзя было, скажем, усомниться в достоинствах переводов Беллы Ахмадулиной или же Владимира Леоновича, балетной постановки Вахтанга Чабукиани. Поблудневший от гнева Гия способен был растерзать вас. Сейчас, спустя годы, можно сказать, что самым милым, самым искренним и непосредственным он бывал именно в такие минуты...

Я упомянул Галактиона Табидзе... Старшие из Гииных товарищей в свое время читали и помнили, а младшие знали,

скорее понаслышке, что Гия как-то несправедливо обидел Галактиона за несколько лет до его смерти – статьей в журнале «Мнатоби». Я, конечно же, мог бы обойти эту тему, но, думаю, именно Георгий Маргвелашвили не нуждается в подобном фарисействе. И не только потому, что все последующие тридцать лет его жизни в значительнейшей мере были посвящены совершенствованию переводов и популяризации поэзии Галактиона; скорее потому, что в характере Гии, в его творчестве, да и вообще во всем его существе что-то изменилось – победило то доброе и справедливое начало, которое обычно так глубоко бывает запрятано движимой сиюминутными соображениями, страстями и интересами жизнью...

При всех непостоянствах Гииного характера была у него одна неизменная черта, константа, унаследованная от родителей, не растерянная в юности, а впоследствии воспринимаемая уже основным стержнем его натуры – это была уникальная способность дружить с людьми, невзирая ни на какие возрастные, социальные и национальные барьеры. Казалось бы он произвольно олицетворял собой ту черту героя его любимейшего романа «Доктора Живаго», которую Борис Пастернак назвал «аристократическим чувством равенства со всеми живущими на свете». Если в разговоре Гия упоминал «Шуру» или «Додика», то надо было знать, что речь идет о его давнишних друзьях – поэте Александре Цыбулевском и фотомастере Давиде Давыдове. Тбилисские писатели, пишущие на русском языке, постоянно ощущали его внимание, а его публикации в «Литературной Грузии» под рубрикой «Свидетельствует вещий знак» стали добрым напутствием для целой плеяды молодых поэтов и переводчиков как в самой Грузии, так и в России. Многие из этих молодых в дальнейшем стали верными друзьями и популяризаторами грузинской литературы.

В те годы я был членом редколлегии журнала и хорошо помню, где только не выписывали тогдашнюю «Литературную

Грузию», откуда только не приходили письма с просьбами выслать хотя бы один экземпляр журнала. Одних интересовала рубрика «Свидетельствует вещий знак», других – переписка Пастернака с грузинскими писателями, третьих – публикация запрещенных ранее стихотворений Мандельштама... Всего не перечить.

Я был непосредственным свидетелем и того, какие баталии приходилось выносить из-за этих материалов Гие вместе с редакторами журнала – сперва с Георгием Цицишвили, а затем уже с Гурамом Асатиани; помню его вояж с Георгием Цицишвили в Москву, куда в идеологический отдел тогдашнего Центрального Комитета вызвали их на ковер по поводу пастернаковской публикации.

Я был свидетелем и того, как удивлял Гия наших русских коллег своей эрудицией, редким знанием и постижением русской поэзии, прозы, живописи. Наши гости знали, что их собеседник является автором целого цикла статей о русской поэзии (позднее объединенных в книгу) – о Пушкине и Лермонтове, Блокé и Маяковском, Цветаевой и Мандельштаме, Пастернаке и Заболоцком, Межирове и Ахмадулиной, Евтушенко и Леоновиче, в которых внимательно и бережно прослежена грузинская тема. Гия принимал посильное участие в отборе и совершенствовании переводов грузинской поэзии и, наконец, в свою очередь, издал отдельным сборником собственные переводы современных русских поэтов на грузинский язык. Этим, однако, не исчерпывалось проявление его универсального таланта: в изданных по инициативе и под редакцией Гии сборниках Акакия Церетели или же Галактиона Табидзе на русском языке немало переводов самого составителя, и невольно думается, дай Бог каждому русскому читателю этих переводов так же тонко чувствовать плоть и стихию родного языка, как этому чистокровному грузину.

В связи с «русофильством» Гии не могу не припомнить один эпизод: сидим мы с ним как-то в кабинете главного редактора «Литературной Грузии» и ждем Гурама Асатиани. (Гурам, классическая «сова», несмотря ни на какие предварительные

уговоры, как правило, всегда являлся не раньше чем к часу дня). Сидим, говорим о том, о сем. Бывает ведь брякнешь что-то, так, наобум, сдуру, потом сам же и пожалеешь... Со мной так и случилось: – Да брось ты возиться со своим «Вещим знаком» – говорю, – пусть в «Юности» печатают... (Папка с будущей публикацией была у него при себе.) Гия вспылит, рассвирепел, обругал меня как мог. Потом, поняв, что за моими словами не кроется ни злого умысла, ни издевки и даже тени антипатии к его «питомцам», поостыл и прочел целую тираду (насколько сейчас понимаю – весьма целенаправленную) по поводу того, что у каждого критика, литератора должно быть свое амплуа. – Знаешь ли ты, – доказывал он мне, – что одна из причин, обусловивших интерес к грузинской поэзии во всем мире – это переводы Пастернака, Цветаевой, Заболоцкого? Если я сегодня не напишу рецензию на ту или иную книгу, это сделает кто-то другой (он перечислил несколько имен) не хуже, а может быть и лучше меня. Но вряд ли кто-либо сделает лучше меня то дело, которым я занимаюсь (тут он ткнул пальцем в папку с «Вещим знаком»), и, когда хотя бы один из десяти этих поэтов станет хорошим переводчиком (то, что все десять – прекрасные поэты, было аксиомой) и станет переводить опять-таки грузинскую поэзию, тогда ты вспомнишь меня.

Вот и вспоминаю... И не только тогда, когда читаю стихи и переводы Гииных «питомцев»; вспоминаю, когда смотрю на его книги и фотографии; вспоминаю пору нашей начавшейся «разновозрастной» дружбы и, как одно из ее проявлений, наши «тайные отлучки» из Института грузинской литературы в близлежащее, увы, уже не существующее кафе «Метро», где хозяйничала бескорыстная поклонница и кредитор Гиин красивая ассирийка Джуна. Да, именно та Джуна Давиташвили, которая тогда еще не открыла в себе таланта экстрасенса. Для того, чтобы почувствовать Гиино обаяние, которым была очарована Джуна, не надо было быть экстрасенсом: Гия относился к официантке с такой же рыцарской галантностью как и к прославленной поэтессе.

1986-1996

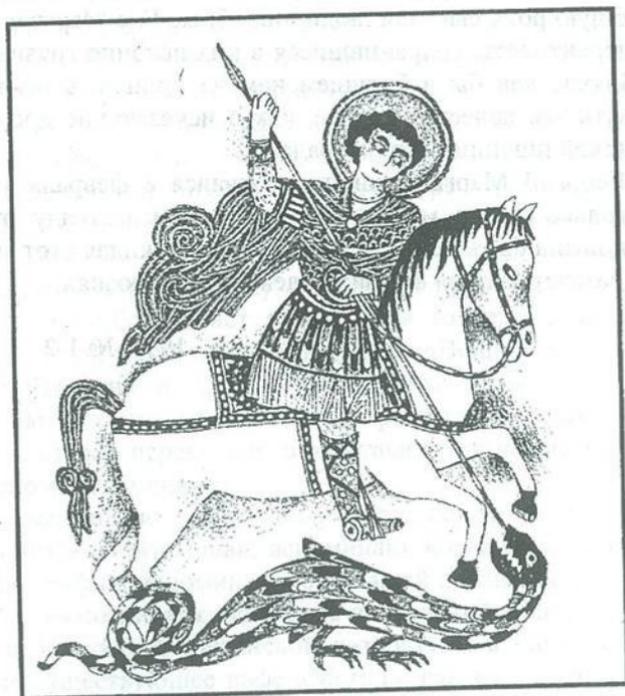
(Кстати, чем больше он пил, тем галантнее становился; обычно, увы, бывает наоборот). В его характере не было и капли снобизма. Поэтому-то и привлекал он к себе совершенно разных людей. Этот магнетизм Гии, вообще, весь набор его черт кажутся мне чисто тбилисским феноменом. Скажу больше: в том, что в критические для Грузии дни у нас не возник «Интерфронт», решающую роль сыграли люди, подобные Гие Маргвелашвили, — их толерантность, сохранившиеся в них исконно грузинские черты. (Боюсь, как бы в будущем нам не пришлось искать и воссоздавать эти качества так же, как и исчезающие древние виды грузинской пшеницы и винограда).

Георгий Маргвелашвили скончался 8 февраля 1989 года. Если только смерть может принести покой и отраду, эта добрая душа должна быть покойна и счастлива: покидая этот мир, он не успел разочароваться в своих надеждах и иллюзиях.

1996, № 1-2

Литературная Грузия

1-6



2000

с 1997



Абзианидзе Заза Георгиевич (род. в 1940 г.). Критик, писатель, доктор филологических наук, профессор. В 1963 году окончил филологический факультет ТГУ, затем аспирантуру Института грузинской литературы, главным научным сотрудником которого он является по сей день

В разное время по совместительству работал завлитом театра им. Марджанишвили, руководил кафедрой филологии Грузинского театрального института. С 1996 года – главный редактор журнала «Литературная Грузия».

Помимо литературоведческих работ пишет детские сказки и стихи, которые сам же иллюстрирует. Основные его книги: «Концепция человека в современной грузинской лирике» (1973), «Литературные диалоги» (1983), «История Де Лиса» (1997), «Homo Bellator» (2001), «Друзья и коллеги» (2002), «Галактион» (2004), «Иллюстрированная энциклопедия символов» (за которую вместе со своим соавтором Кетеван Элашвили награжден премией конкурса «Парнас» в номинации – «Лучшая книга 2006 года»), сборник литературных сказок «Краснохвостик» (2006). Основная часть его статей, посвященных исследованию и популяризации грузинской литературы, переведена на русский и европейские языки. Его статьи прилагаются как к антологиям (например, изданный в Берлине сборник современной грузинской прозы «Der Fenne Weise Gipfel»), так и избранным сборникам грузинских классиков.

Лауреат первой премии литературного конкурса UNISEF (2000). С 1998 года член международной ассоциации писателей «Европейский форум», а с 1999 года эксперт Нобелевского комитета в области литературы.

*Гурам Одишария***Возвращение в Сухуми**

(Фрагменты)

Б г а ж б а

После Второй мировой войны в Абхазии сменилось несколько руководителей. Тогда страной, именуемой СССР, как известно, управляла коммунистическая партия, и назначаемые ею в различных регионах первые лица считались правителями этих регионов. Естественно, и Абхазия в этом отношении исключением не была. Все первые секретари Абхазии оставили след в ее жизни, но среди них особенно выделяется один — Михаил Бгажба.

Бгажба был первым секретарем Абхазии во времена правления Хрущева, и его деятельность определял дух того времени. Если прежние руководители так или иначе в большей или меньшей степени соответствовали образу классического вождя, то Бгажбу это ни в коей мере не заботило. Он, казалось бы, действовал непонятными, а скорее необъяснимыми методами. Правда подобно Хрущеву, был совершенно свободен от сковывающей личность черт, что так характерно было для первых лиц сталинского режима, но эту свою особенность Бгажба дополнял такими нюансами, что, можно сказать, он мастерски лепил самого себя — личность в высшей степени неординарного правителя, а это под силу лишь своеобразному таланту. Точнее, в этом процессе одновременно участвовали и время, и Бгажба. Случается, словно это предопределено, в какой-то временной отрезок появляется точно ему соответствующая личность. Так, в Абхазии начала 60-годов суждено было появиться Бгажбе.

Было в его личности одновременно нечто циничное и рыцарское, естественное и неестественное, нормальное и ненор-

мальное. Все, кто хорошо его знал, единогласно отмечали главную его черту — Бгажба любил человека и ценил в нем благородство. Какое-то время я работал с одним из его зятьев — Мобилем Кутателадзе, и мы часто говорили о нем.

Хорошо помню Бгажбу — среднего роста, румянощекий, в меру упитанный, приветливый, энергичный, с редкими русыми прядями, стыдливо прикрывающими огромную лысину.

Вторым секретарем был Гогохия. Они работали слаженно, отлично дополняя друг друга. Это был, пожалуй, единственный пример гармоничного сотрудничества первого и второго секретарей — абхаза и грузина.

В Сухуми по сей день говорят: мгеладзевские улицы, мгеладзевские аллеи, мгеладзевская набережная, мгеладзевский лес, разбитый на Сухумской горе, т. е. все это построено, разведено, возведено в то время, когда у власти был Мгеладзе. Бгажба же известен тем, что строил рестораны. Среди них особенно выделяются эшерский (на Эшерской горе) и мерхеульский. Бгажба любил попить с друзьями, любил руководить застольем. Он был превосходный тамада, провозглашал оригинальные тосты. Боготворил красное вино, в его ресторанах его всегда ждало любимое вино. Марани эшерского и мерхеульского ресторанов так и назывались «бгажбские марани».

Народный контроль возник во времена Хрущева. Однажды неожиданно из Москвы в Абхазию прибыла группа ревизоров из двадцати человек. Войдя в кабинет Бгажбы, они объявили ему — мы, дескать, из народного контроля, должны проверить автономную республику в комплексе. Бгажбе было явно не до них.

Но мы же с Никитой Сергеевичем договорились, что в этом году нас проверять не будут, — «удивился» он, я лично говорил с ним... впрочем, погодите, сейчас позвоню Никите Сергеевичу.

На столе у Бгажбы среди других аппаратов стоял красивый телефон, не подключенный к сети. Он снял трубку именно этого аппарата и сказал в нее, как бы разговаривая с Хрущевым:

Как поживаете, Никита Сергеевич? Да я, я ничего, да, скоро

буду. Как? А-а, соскучились? Я тоже. Никита Сергеевич, у меня сейчас товарищи из народного контроля, очень симпатичные люди, но я же просил вас! Как? Да... Так и передам... Значит, пусть едут и проверяют Аджарию, лады... Привет супруге, Никита Сергеевич... Обнимаю!

Затем, повернувшись к гостям с озабоченным лицом, сказал:

– Вы слышали, что он сказал, – и поднял указательный палец к потолку, – короче, вам надо ехать в Аджарию.

Когда народные контролеры ушли, он со смехом обратился к сидящему рядом Петру Красинскому, секретарю окружного комитета: – Видишь, Петр, как интересна эта жизнь!

Я хорошо знал Красинского. Он говорил мне потом, что та комиссия перепахала Аджарию вдоль и поперек.

Как-то Бгажба сопровождал кубинскую делегацию, знакомил ее с городом. Гостей удивило обилие лягушек в фонтане перед зданием театра. «Почему здесь так много лягушек?» – спросили соратники Фиделя. Все объяснялось, естественно, запущенностью фонтана. Но не мог же Бгажба признаться в этом. Он сказал: «Это наши священные лягушки, и мы их держим на самых видных местах». Кубинцы, любители лягушачьих деликатесов немедленно поверили ему – «Да, очень интересная традиция».

Кстати, спустя несколько лет, когда Бгажба уже не был первым секретарем, он издал книгу о природе. Несколько страниц в ней были посвящены какого-то вида жабе, которую он назвал «гостевая жаба». Бгажба утверждал, что этот вид водится только в Абхазии, она – абориген.

Как-то после сытного обеда и обильных возлияний Бгажба совершил автомобильную прогулку с гостившим у него первым секретарем одной из среднеазиатских республик. Они проезжали Эшеры и тут увидели осла. «Используете ослов для каких-нибудь целей?» – поинтересовался гость. «А как же, – немедленно сказал Бгажба, – у нас есть высокогорные села, куда на машине не доберешься, и тут нам на помощь приходят осла. Од

вот – мало у нас ослов, не хватает». «Ну, эту проблему я помогу вам разрешить», – пообещал гость.

Через несколько недель в Сухуми прибыл состав, два или три вагона которого были гружены ослиами. «Они из Средней Азии», – доложили Бгажбе. Он с трудом припомнил обещание своего среднеазиатского гостя. Что было делать, какое применение им найти? И ослов отпустили на Эшерской горе. Они паслись на ней и жили вольной жизнью. В поисках новой пищи поднимались все выше и выше к лесу. Потом говорили, что зимой их задрали волки.

Если Бгажбе хотелось кому-нибудь помочь, чего бы это ни касалось, он выносил вопрос на бюро окружного комитета. Однажды комитет рассматривал даже дело козьего вора. Бгажба утверждал, что тот не крал козы; к нему приехал гость, соседя дома не было, чтобы попросить у него козу, а какой абхаз отпустит гостя без того, чтобы не оказать ему уважения, какой абхаз не заколет ради гостя козу? «Разве у вас там, в Гали, не такие же порядки а, Дамианэ?» – бросил он, оказывается, Гогохия по-мергельски.

Однажды он пригласил в «Амру» русских и английских ученых, гостивших в Сухуми. В разгар веселья велел позвать Дмитрия Хварцкия, тогдашнего главу Сухуми, всеми уважаемого человека. «Перед вами, – заявил он гостям, – самый достойный человек нашего города, он подтвердит, что на днях здесь совершено сенсационное открытие – археологи обнаружили глиняные таблички, которые сообщают, что Сухуми 3000 лет». Хварцкия застыл на месте. Никаких раскопок, естественно, не было, никаких табличек не находили, но он вынужден был склонить голову в знак подтверждения. Еще после нескольких бокалов Бгажба уже утверждал, что Сухуми и Вавилон строились одновременно. Англичане кричали «браво», «браво». На другой день Бгажба сказал Хварцкия: «Кажется вчера я переборщил, не обижайся на меня, брат. И потом, разве кто-нибудь станет проверять нас, – добавил он. – Видишь, как интересна эта жизнь, Дмитрий».

Однажды одного из руководителей сухумского района Гурама Сичинава предупредили: завтра к вам в Ачадару Бгажба придет, не ударьте лицом в грязь. Сичинава собрал колхозников и велел им с утра отправляться на плантацию – поставил сцену «самоотверженного труда». Черная «Волга», въехав на дорогу вдоль Гумисты, остановилась. Никто не вышел из машины. Через некоторое время она развернулась и уехала обратно. Через час в кабинете Сичинава раздается звонок: «Сразу видно, что ты новичок. Первый просто хотел позавтракать на лоне природы, а ты что ему устроил?» На другой день у реки не было ни одного человека. Снова подкатила черная «Волга». На сей раз двери открылись, и из нее вышли Бгажба со своими дорогими друзьями и не менее дорогими дамами.

Однажды один гульрипшец по фамилии Дзадзамия (именя не помню) рассказал мне такую историю:

– Во времена Бгажбы я был председателем одного из колхозов Гульрипшского района. Время сбора урожая кукурузы. Одна из бригад напоили меня водкой, и в правление я пришел пьяный как зюзя. Здание правления древнейшее. В одной комнате сидим, в другой – сено сложено. Бухгалтер у меня был большой пройдоха, мечтал подсидеть меня и занять мое место. Так вот, я и говорю тому бухгалтеру; я, де, под парами, пойду засну на сене, а если кто спросит меня, скажи, я в поле. Пошел заснул. Проснулся, когда уже стемнело. Сидит себе бухгалтер в комнате, что-то пишет да счетами щелкает. Спрашиваю, обо мне кто справлялся? Да, говорит, Бгажба тут был, тебя спрашивал. И где ты? Я не смог обмануть его. И что потом? Вошел туда, где и храпел, короче, завтра велел тебе явиться в окружной комитет. Вообрази мое состояние! Ах ты, подлая тварь, говорю, ну свинью ты мне подложил, покричал, пошумел, ну не убивать же. На другой день прихожу в окружной комитет. Колени дрожат, рту пересохло, первый, говорю, меня вызывал. Убежден, де, мое кончено, как пить дать снимет – в разгар сбора урожая председатель пьяный в доску спит на сеновале. Вхожу. Бгаж

говорит о чем угодно, только не о вчерашнем. А я все жду, вот сейчас, вот сейчас даст он мне по мозгам. Он же как ни в чем не бывало заканчивает беседу – ну иди, делом займись. Больше ничего мне не скажете? – уже у дверей вякнул. Пожалуй, да, – отвечает, – бухгалтер у тебя гад, и чем скорее ты от него избавишься, тем лучше для тебя. Я стрелой вылетел из окружного комитета, прибыл в колхоз, вызвал бухгалтера и говорю: нам с тобой вместе не работать. Он без лишних слов собрал свои манатки и ушел.

А вот другая история, которую один молодой человек рассказал мне лет пятнадцать назад:

– Я учился тогда в сельской школе, в четвертом классе. Учительница истории повезла нас, четверых отличников, в Ленинград, по историческим местам. В Ленинграде мы неожиданно столкнулись с Бгажбой. Моя учительница и он были, оказывается, одоклассниками. Бгажба: сегодня вечером жду вас в гостинице и этих ребят обязательно приведи. Попробуйте не явиться! Через несколько часов мы уже сидели в одном из ресторанных залов фешенебельной гостиницы. У Бгажбы в гостях были румынские и венгерские знакомые. После нескольких бокалов он представил нашу учительницу министром просвещения Абхазии, а нас – вундеркиндами, выигравшими конкурс мирового значения. Мы просто обалдели от этого, но что могли сделать?! А Бгажба заливал изумленным гостям: эти дети знают химию, физику, математику и историю на уровне кандидатов наук. Гости дарили нам сувениры, шупали нас, действительно ли мы обыкновенные дети. Тут Бгажба услышал передаваемый по телевизору прогноз погоды: на Черноморском побережье ожидается снегопад. Он тут же потребовал телефон. Ему подали, и он послал в Сухуми телефонограмму: «Узнал, что в Абхазии ожидается снегопад, в связи с этим обязываю руководителей колхозов и совхозов создать все необходимые условия для перезимовки певчих птиц. Их гибель была бы большой потерей для Абхазии. Михаил Бгажба».

Однажды, когда я работал в радиокомитете, на одном из

собраний сухумского райисполкома я оказался рядом с Бгажбой. Он уже был простым агрономом одного из хозяйств. Тогдашний секретарь райкома Астик Гварамия бушевал от негодования и выругал директора хозяйства, где Бгажба работал агрономом: «Почему не затребовали в свое время больше тары для мандаринов сейчас ее не хватает и урожай портится?!» А тот в ответ: «Откуда мне было знать, Бгажба записал эту цифру, при чем тут я?» «Бгажбу кто спрашивает?» – проревел секретарь райкома, он не знал, что тот сидит в зале, не заметил его. В то время, как Бгажба был первым секретарем, Астик работал в комсомоле, и одно из Первого наводило на него ужас. Я посмотрел на сидящего рядом Бгажбу. Он улыбался. Причем как-то странно, непонятно, хотя одно было ясно – обиды на лице его не было. Он улыбался как бы говоря – я знал, все, что случается, должно было случиться так, не иначе, не так уж и интересна эта жизнь, родимый...

Во время войны, когда Гумиста разделила воюющие стороны и фактически являла собой линию фронта, один из ресторанов Бгажбы – эшерский остался на абхазской стороне, другой мерхеульский – на грузинской. Абхазские «грады», стоявшие на подальеку от эшерского ресторана, бомбили грузинские позиции. И «грады» грузин с холмов близ мерхеульского ресторана били по Эшере – как если бы рестораны Бгажбы объявили друг другу войну, и вместо редких вин и свежих фруктов обменивали реактивными снарядами.

Война все меняет – даже рестораны. Они становятся жалкими – безлюдные, разграбленные, сиротливые...

Приблизительно так выглядел во время войны сам Бгажба. Он скончался в Сухуми.

Не выдержал войны.

Он был человеком мира.

И в день его похорон гремели эшерские и мерхеульские «грады».

Возвращение в Сухуми

Мы вернемся в Сухуми пароходом.

Будет утро или полдень.

День – ясный, небо – безоблачное, море – синее-синее, спокойное, ласковое.

Белоснежный цвет судна небесным светом будет отражаться от морской поверхности.

И, осиянные этим светом, мы станем удаляться от порта.

Судно прогудит раз и выйдет в открытое море.

В кильватере с верещаньем поплывут за нами дельфины.

Нас будут провожать чайки.

Никто не останется в каютах.

Все высыпят на палубу.

Капитан поприветствует нас по радио, пожелает счастливого пути.

Зазвучит музыка, такой музыки никто никогда не слышал.

Воздух будет чистый и синий, как море, а море прозрачно, как воздух.

Когда мы подойдем к устью Ингури, по радио объявят, что мы входим в воды Абхазии. Сердце начнет биться совсем по-иному, тело как бы обретет крылья.

Мы пройдем мимо Очамчире. Покажутся его дома, маленький порт. Затем снова рощи, леса, сплошной зеленый берег.

На Кодорском мосту увидим поезд, его зеленые вагоны.

В небе появится самолет, белоснежный, как наш корабль.

Потом увидим корпуса гульрипшского строительного комбината, дома отдыха, дачи. На горе возникнет утопающий в зелени дворец Смецкого; точнее, красный корпус санатория для больных туберкулезом, а скрытый за пальмами белый корпус мелькнет своим последним этажом.

Потом – пляж Агудзеры, физико-технический институт, Мачара, Келасури, институт субтропиков...

Здесь у иных дрогнут колени, глаза наполнятся слезами,
ки вопьются в перила с такой силой, что кровь застынет в па-
цах. Еще бы, ведь мы уже в Сухуми. При возвращении всегда

Пляжи, пляжи, пляжи...

Санатории, санатории...

Сухумская гора, телевизионная вышка.

А вот и Беслети. У слияния реки и моря – эвкалип-
тово-рошча, маленькая синяя библиотека, театр, «Рица», «Абхазия»
вот порт.

Корабль гудит. В порту масса народу. Нам машут из
того кафе. Нам улыбаются сидящие у столиков под пестры-
ми зонтиками влюбленные.

Пароход не спеша пристает к набережной.

Его привязывают канатом.

Спускают сходни.

Нас встречают друзья, соседи, знакомые и даже незна-
комые, все... Нам рады, рады... Нас встретит довоенный Сухуми
спросит, как мы себя чувствуем.

Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно – ведь мы уже до
Мы ведь в Сухуми!..

День будет ясный, небо – безоблачное.

Мы вернемся в Сухуми кораблем.

Мы вернемся в Сухуми кораблем.

Мы вернемся в Сухуми кораблем.

Вернемся...

1995

май-июнь-июль

Перевод Лианы Татишвили

1997, № 1-6

Инна Кулишова

* * *

Зевс одряхлел. Когда прошли года,
Состарился Олимп. И плачет Гера
Потеряна, увы, не столько вера,
Но чувство с перспективой в никуда.

Прошли года. Еще года. Затем,
Как топот крестonosцев, Дождь гремющий,
Смысл слезы с лиц. И Некто настоящий
Задумался о сути новых схем.

И линию изломанную строк
Не завершил отрезок безобидный.
Прости меня, попутчик дальновидный,
Не повзрослела я. И ты не смог.

И потому встречаться не спеши
Там, где прошли года. И где проходят.
И тихо в метафизику уводит
Любая мысль о контурах души.

* * *

Когда кончается ураган
И можно опять говорить,
И чай оживляет стакан,
И в лампочке вспыхнет нить,

Я рядом с тобой сажусь,
Ты снова почти не пьян.
И даже не куришь план.
Я в жены тебе не гожусь.
И, значит, очень люблю,
И песни тебе пою,
Когда кончается ураган.

* * *

Словно два постоянных двора,
Мы стояли с тобой на отшибе.
И мой голос, заметный вчера,
Замерзал на последнем изгибе.

Здесь немногим обрадует вид,
Горизонт уточняя обманом.
Длинным шарфом, как болью, обвит,
Ты тоскуешь по сросшимся ранам.

Перед сном лучше быть только там,
Где почти что любовь в перспективе,
Отсчитав не количество грамм,
Но снежинок в растрепанной гриве.

Три сосны пожалела пила,
Дав зиме три подобия елок.
И на пальцах, как капельки зла,
Остаются следы от иголок.

* * *

Когда старый мексиканец загонит коров,
а кубинцы зевают на пляже, любуясь закатом,
мне снятся на континенте странные сны:
плантации с производством бамбука на
душу населения,
и эта луна в зарослях облаков,
и гигантские папоротники, заслонившие
небо,
стада слонов, о которых только слышали,
и множество, множество книг.
И нет в этих снах вроде бы смысла,
если не уважать стариков за то, что
они ближе к тому, о чем мы
только думаем. Если не знать,
что все идет как надо.
И тогда этот стих выглядит
как неудачный перевод
с подстрочника, упустивший
нечто очень важное, но передающий
общий смысл того, что хотел сказать автор.

1997, № 7-12

Тамаз Чхенкели

«Видишь, темнеет...»

Летом 1963 года Арчил Сулакаури пригласил меня вместе с Саргисом Цаишвили и Нодаром Эбралидзе в путешествие по Тушети. Это было предприятие, полное возвышенных и неизгладимых впечатлений. Первое чудо – сложенная из черного сланца Дартло... Мы не могли скрыть своего восторга, и Арчил с улыбкой сказал нам: сейчас, надеюсь, вы меня зауважаете, видите откуда я родом.

Я вспомнил об этом потому, что Арчил Сулакаури не признавал местничества. Более того, он был непримирим даже к малейшим его проявлениям, в которых совершенно справедливо усматривал признак национальной и интеллигентной незрелости. Думается, такая точка зрения, как нечто естественное, – достижение нашего времени, заслуга тех, кто сформировался в столице Грузии в поколение, явившееся носителем определенных гражданских убеждений и национального самосознания.

Я хорошо помню старый дом Сулакаури на берегу Куры, крепко сбитыми ступенями, ведущими на открытый балкон. У него открывался вид на Мтацминду. На стене возле входной двери висел барельеф с изображением двугорбого верблюда, в полном смысле Карло Сулакаури. Я воспринимал его как герб этого дома, родного для моей юности, как символ выдержки старшего поколения этой семьи и стойкости младшего. В другой комнате стоял старенький диван, на котором я обычно спал, когда оставался на ночь. Здесь же велись нескончаемые беседы о поэзии, о человеческой сущности, о будущем. Тут же я слушал изумительные устные рассказы Арчила о странных знакомцах его

квартала. Очевидно, что некоторые рассказы, созданные Арчилом Сулакаури впоследствии, – своего рода переключки с прошлым. Но для меня так же очевидно и то, что впечатления из прошлого просочились в произведения прозаика весьма скупю, пройдя через горнило вдохновения и осмысления. У Арчила Сулакаури был острый глаз. Это видно по его прозе, где удивительно схвачены мельчайшие подробности, где так естественны детали. Именно этот острый глаз и привел Арчила Сулакаури в прозу.

Проза, как отметил один философ, рождается в рыцарской борьбе с поэзией. Искусством этой «борьбы» прекрасно владел Арчил Сулакаури, бывший в одно и то же время в передовых рядах «противоборствующих» сторон. «В свое время он решительно отошел от поэзии, хотя она всегда жила в его душе с каким-то метафизическим упрямством», – отмечал критик Отия Пачкория. В 1975 г. Арчил Сулакаури издал лучший свой лирический сборник – «Со всех четырех сторон», свидетельствующий о животворности его таланта. Из произведений этого сборника на нас глядит серьезное, чуть грустное лицо поэта, который и в самых мрачных видениях сохраняет мужскую мягкость, волю и деятельность...

Возвращаясь к нашей поездке в Тушети, я вспоминаю, как в Эго, на снежном холме, Арчил обнаружил крошечный цветок, он взволнованно позвал нас, и мы долго рассматривали это сияющее голубиной на белоснежном фоне маленькое творение природы... Он стал как бы символом его грядущих поисков и побед...

* * *

Впервые я прочитал стихи Арчила Сулакаури в 1945 году, будучи студентом первого курса. Они были собраны в тетрадь. Тогда же я и познакомился с ним. В следующем году в «Литературули Сакартвелю» появилось несколько его стихотворений. Многим запомнились тогда строки: «Поднимусь я на Мтацминду,

обопрусь локтем о луну, как отвоевавший Ахилл – на свой меч». Уже в этом стихотворении проявилось отношение Арчила Сулакаури как поэта к традиции, которая с самого начала подразумевала верность классическим формам и ясному поэтическому мышлению. По своему мироощущению он был абсолютным урбанистом, и с этой точки зрения разговоры о его тушинском происхождении неуместны. Арчил Сулакаури был не просто тбилисец, его отличало некое достоинство, характерное для коренного жителя столицы.

В течение полувека Арчил Сулакаури честно и преданно служил грузинской литературе. Судьба привела его в журнал «Мнатоби» и сдружила с Симоном Чиковани, бывшим тогда главным редактором. Это было время, когда намечались новые пути развития грузинской литературы, и на страницах «Мнатоби» ценой большого риска печатались произведения, рушившие рамки тогдашней ложной застоявшейся этики и закладывавшие основу для свободного творчества молодых литераторов. Арчил Сулакаури принимал непосредственное участие в этом процессе не только как сотрудник журнала, но и как писатель, воплощающий в жизнь эти новые тенденции.

Когда его назначили директором издательства «Накадули», Арчил Сулакаури собрал всех сотрудников. Наверное, это было самое короткое собрание в истории издательства, а может быть не только издательства. Директор сказал: «На коллег не доносить, никого слушать не буду», – и объявил собрание закрытым. Он был глубоко убежден, что в творческом учреждении администрирование неприемлемо. Этой же точки зрения придерживался он и будучи редактором «Мнатоби». Заведя «Накадули», Арчил Сулакаури издал семнадцатитомник грузинской поэзии. Это весьма значительное литературно-культурное явление до сих пор по достоинству не оценено.

Долгая дружба хранит множество тайн, но еще больше их раскрывает. Именно благодаря раскрытым тайнам течение времени делается кристально чистым, освобождаясь от всего наносного

и второстепенного. Гражданственно-литературная позиция Арчила Сулакаури всегда была незыблемой. Его отношение к окружающим – уважительным и достойным. Из всех наших друзей он знал больше других и правильнее других оценивал ситуацию, поэтому мы доверяли его слову и совету. Его отличал острый юмор, и подобные же «нападки» со стороны других не вызывали у него раздражения. Лет двенадцать назад я подарил ему в день рождения книгу Мандельштама «Разговор о Данте» с надписью: «Старик, готовься к аду». Он усмехнулся: «Герман Гессе как-то жег листья в саду. Проходящая мимо женщина заметила ему: это хорошо, что ты привыкаешь к огню, он всех нас ждет». Как жаль, что этот inferнальный костер разожгли под солнцем, и дым от него, к сожалению, еще застит небо...

* * *

Как-то неожиданно кончилось время. Неожиданно ли? Может быть и нет. За несколько месяцев до его смерти мы с Арчилом Сулакаури, беседуя, выходили из метро. Попрощавшись, он вдруг замешкался, повернулся ко мне и тихо произнес: «Ухожу...» Он не любил лишних слов и никогда не говорил подобного. Что я должен был ответить ему?

В 1949 году я посвятил Арчилу стихотворение, которое кончалось так:

Видишь, темнеет,
Брат мой и друг,
Видишь, темнеет, глухо, безнадежно, ужасно!

Перевод с грузинского

1998, № 1-6

*Гага Нижарадзе***Советский анекдот: национальные стереотипы**

Обобщенный советский анекдот:
Брежнев и Чапаев лежат в одной
постели и оба евреи

Об анекдотах вообще

Фрейд говорил, что в анекдотах обыгрываются три основные темы: секс, физиологические отправления и политика. Разумеется, темы эти не случайны. В глубине души каждого человека таится желание нарушить, перевернуть существующее положение вещей, сделать то, что не принято делать. В каждом обществе существуют ритуалы, обычаи и другие социальные установления, дающие возможность разрядить напряжение, порожденное подобными импульсами. А когда эти установления со своей функцией не справляются, напряжение возрастает и может закончиться взрывом...

Одной из главных социальных функций анекдота является именно нарушение табу, но не действием, а на словах. Секс и туалет как раз и представляют собой темы, которые не принято обсуждать публично, ну а выставление государственного мужа полным идиотом или бессовестным обманщиком переворачивает существующий порядок и порождает иллюзию власти у тех, кто ее лишен...

С 60-х годов, то есть с времен правления Хрущева, начинается невиданный расцвет политического анекдота в СССР и других странах т. н. социалистического лагеря. Ранее, во времена Сталина, этот вид народного творчества вел прямым ходом в наименее жаркие районы Арктики и постольку не имел возможности развиваться. Но потом... Говорят, что КГБ, хорошо осознавая

«паровыпускающую» функцию анекдота, держал специальный отдел, который занимался исключительно придумыванием политических анекдотов. Как бы то ни было, шутки про Сталина, Брежнева, Живкова и прочих генсеков, смешные и не очень, но всегда злые, получили поистине всенародное распространение и стали символом эпохи.

О национальных анекдотах

Три желания француженки:
рюмка коньяка до и сигарета после.

Однако есть еще один класс анекдотов, о котором Фрейд не упоминает, хотя и часто использует в качестве примеров в своей книге «Остроумие и его отношение к бессознательному». Это, конечно, анекдоты про представителей различных национальностей. И хотя их сюжеты часто вращаются опять-таки вокруг секса, уборной и политики, тем не менее во многих из них просто обыгрываются те или иные национальные стереотипы. Такие анекдоты есть во всех странах и, помимо юмора, выполняют собственную социальную роль: повышают самооценку, компенсируют комплекс неполноценности или вины, дают выход накопившемуся раздражению, агрессии путем переноса (или, как говорят психологи, проекции) этих неприятных чувств на воображаемого представителя другой, «не нашей» группы, в данном случае – нации. Подобный «психотерапевтический» эффект национального анекдота, разумеется, невелик и почти всегда незаметен для рассказчика и слушателей, но он присутствует и свое дело делает.

Чукчи

На военных учениях один танк нарушает строй. Командир в ярости орет в микрофон. Из танка вылезает чукча в радиошлеме: – Товарищ командир, шапка говорит!!!

В соответствии с описанными функциями национальных анекдотов подбираются и их персонажи, т. е. представители конкретных этнических групп. Во-первых, персонажем может стать представитель этнической группы, по всем статьям уступающей «рассказывающей» группе – и по культурному уровню, и по образованию, и по уровню жизни. В подобном случае распределение ролей аналогично ситуации в цирке: ребенок хохочет при виде клоуна, который и выглядит нелепо, и делает все неважно и говорит исключительно глупости; а это льстит самооценку зрителя («уж я-то такого не сделаю!»)...

Не знаю, как в других странах, но в СССР эта роль досталась чукчам. До поры до времени чукчи жили себе на Крайнем Севере, охотились на тюленей и разводили оленей. Остальные жители Советского Союза в лучшем случае знали, что такая народность существует и только. И вдруг с начала 70-х чукчи вошли в каждый дом, каждое учреждение и стали частью повседневности. Вот чукча красит телевизор, чтобы он был «цветной», вот, заблудившись в лесу, стреляет из лука, призывая на помощь, вот, получив паспорт, спустя неделю требует новый, поскольку «старый он уже выкурил»... Короче говоря, в один прекрасный день чукча прочно обрел место в числе традиционных персонажей национальных анекдотов наряду с евреем-грузином. Правда, функция последних была несколько иной.

Еще немного теории

Английский антрополог Виктор Тернер описал интересный феномен, названный им «властью слабого». Состоит он в следующем: часто бывает, что слабая, порабощенная или зависимая этническая группа в глазах господствующей группы приобретает знак какой-то доминантности, словно ее члены обладают тайным знанием, мистической властью или чем-то еще, недоступным «сильной» группе. Яркий пример – цыгане, с приписываемой им способностью предсказывать будущее. В итоге среди господствующей группы распространяется двойственное чувство по отношению к «слабой»: с одной стороны, нечто вроде почтения, а с другой – раздражение от того, что «мы» для «них» открыты, а «они» для «нас» – нет. Избавиться же от раздражения можно, если представить его источник в смешном свете. Вот так и возникают национальные анекдоты второго типа...

Нечего и говорить, что в СССР «господствующей группой» были русские, ну а наиболее популярными персонажами анекдотов – евреи и грузины (были еще украинские, «хохлацкие» анекдоты, о психологической подоплеке которых я, к сожалению, не могу судить ввиду недостаточного знания русско-украинских отношений).

Евреи

Еврей – жене, после визита к врачу:

– Ты знаешь, Сара, то, что мы считали
страстью, оказалось астмой.

Еврейский анекдот в России имеет довольно давнюю историю. Несмотря на дискриминационные законы, во второй половине прошлого столетия евреи постепенно занимают видное место в общественной жизни России, особенно в сфере коммерции. А богатых на Руси не любят, так что реакция не заставила себя

ждать. Наряду с появлением всяческих измышлений о «всемирном еврейском заговоре» (власть слабого!), о евреях стали рассказывать анекдоты. Сюжеты вертелись вокруг обычных тем: супружеские измены, теща, школа... Но в то же время явственно стала вырисовываться доминирующая черта, приписываемая персонажам еврейских анекдотов: стремление к наживе. Интересно, что в германоязычных странах, где евреев тоже не очень любили, главной чертой, обыгрываемой в еврейских анекдотах, стало, скажем так, недопонимание значения личной гигиены (Двое евреев встречаются в бане. Один вздыхает: – Вот и еще один год прошел...). Хороший пример того, как в анекдоте подчеркиваются важные для данной культуры ценности...

Вернемся, однако, в Россию. В советское время Рабинович по понятным причинам, уже не может заниматься легальным частным предпринимательством, однако своему призванию не изменяет: он устраивается в те государственные учреждения, где длаются деньги (Голос с еврейским акцентом: – Алло, это база? Да. – А кто говорит? – Иванов. – Простите, я, наверное, ошиб номером; очевидно, это военная база...).

Однако с 60-х годов Рабинович стал выступать в новой роли, причем новый образ стал ведущим в советском еврейском анекдоте: еврей стал пассивным, но весьма язвительным противником советского режима, и кроме того, жертвой дискриминации по национальному признаку (Хрущеву приносят на утверждение список кандидатов на должность главного раввина Москвы. – Е с ума сошли, – кричит Хрущев, – здесь же одни евреи!)...

В этой серии анекдотов еврей, как правило, предстает снюдь не в смешном свете, наоборот, он сам издевается над политической и социальной реальностью, т. е. выступает как «полжительный» персонаж. По этому признаку можно утверждать, что подобные анекдоты рождались в среде самой еврейской интеллигенции. Таким образом, еврейский политический анекдот – это нечто другое, а именно, реакция против «власти сильного» в нашем случае – политического режима (а не конкретной нации).

Грузины

Стоит грузин на Арбате и пересчитывает толстую пачку купюр. К нему обращается прохожий: – Товарищ, как пройти в мавзолей Ленина? – Слушай, делом займись...

Анекдоты о грузинах тоже появляются с 60-х годов, когда советская жизнь претерпевает значительные изменения. Главным было то, что место госбезопасности на вершине общественной пирамиды заняла партийная номенклатура. За все, как известно, нужно платить, и платой за господство оказалось допущение некоторой либерализации общественной жизни. В числе прочих послаблений власть вынуждена была закрывать глаза на коммерческую деятельность, запрещенную официальным законодательством. Режим как бы заключил с подданными неписанный договор: делай что хочешь, наживай себе богатство, но не очень зарывайся, а главное, не смей вмешиваться в официальную политику и идеологию.

Так вот, в Грузии новые правила игры были усвоены очень быстро и эффективно. Многие мои соотечественники стали вовсю делать деньги (благо система это позволяла) и, что очень важно, публично демонстрировать богатство (в отличие от евреев). Именно последняя деталь, на мой взгляд, более всего резала глаза «советской общественности». И появился персонаж Гиви или Гоги, не обремененный высоким интеллектом, с чудовищным акцентом, часто становящимся причиной смешных недоразумений; но главные его черты – непреодолимая страсть к женскому полу (грузин без пищи может прожить неделю, без воды – день, а без женщин не более двух часов) и карманы, полные денег. В грузинских анекдотах часто подчеркивалось, что Гиви и Грузия в целом живут по-своему, не по советским правилам. Не то, чтобы грузин настроен антисоветски; у него просто другие интересы, и

он часто не знает того, чего не может не знать каждый советский человек, например, имен классиков марксизма или членов Политбюро («Брежнев – это тот, который играет в программе «Время»?»)...

Знаменательно, что с 90-х годов, после развала коммунизма, грузинские анекдоты пошли на убыль, а освободившуюся «экологическую нишу» заняли анекдоты про «новых русских». «Новый русский» во многом повторяет грузинского персонажа: те же легко нажитые деньги, то же стремление тратить их без счета, та же неотесанность (Один «новый русский» другому: – Смотри, какой я галстук купил за две тысячи баксов. – Дурак, здесь за углом точно такой же продают за три тысячи!); нет лишь донжуанства и, конечно, акцента. А в остальном эти два персонажа в большинстве анекдотов взаимозаменяемы. И это обстоятельство, а именно, высмеивание богатства, т. е. резко отрицательное отношение к последнему, наводит на серьезные размышления: а позволит ли русская культура построить в своей стране демократическое общество с рыночной экономикой? И не повторится ли, оборони, Создатель, Октябрь 1917 года, о котором историк Яковенко сказал, что это было не что иное, как тотальная реакция русской культуры, имевшая целью восстановление разрушающейся базовой цепкости: равенства всех в бедности...

Еврей – это профессия, грузин – образ жизни, чукча – диагноз, а русский – это судьба...

Перевод с грузинского автора

1998, № 1-6

*Анаида Беставашвили***Век любви**

В этом году исполнилось бы 100 лет известному издателю и общественному деятелю Марку Израилевичу Златкину. Совсем немного не дожил он до этого юбилея, закончив свои дни в прекрасном и вечном Иерусалиме. Внимательный читатель извлечет из книги воспоминаний Марка Израилевича «Когда книга сближает народы» историю русско-грузинских культурных связей, познакомится с бесконечной любовью и талантом написанными портретами выдающихся деятелей культуры Грузии и России.

С 1924 года имя Марка Златкина неразрывно связано с крупнейшим в Закавказье издательством «Заря Востока» (сегодня это достаточно известное издательство «Мерани»). В двадцатые годы Тбилиси посещали Сергей Есенин и Владимир Маяковский, Андрей Белый и еще раньше Константин Бальмонт, Максим Горький и Осип Мандельштам. В коридорах издательства можно было встретить знаменитых рыцарей поэтического ордена «Голубые роги» Тициана Табидзе, Паоло Яшвили, Валериана Гаприндашвили, Колау Надирадзе и великого прозаика Константинэ Гамсахурдиа.

Эти встречи и переписка с друзьями вдохновили Марка Израилевича на создание еще одной книги.

Только из посвящений на книгах, подаренных Марку Израилевичу, можно было составить уникальную летопись. Искренней и крепкой была его дружба с писателями послевоенного поколения. В талантливых переводах А. Кочеткова, П. Антокольского и других русских писателей выходили книги Григола и Ираклия Абашидзе, Демны Шенгелая, Константинэ Лордкипанидзе и др. В 1945 г. в «Заре Востока» издается сборник Николоза Бараташвили – великого грузинского романтика в переводах Бориса Пастернака. Через 10 лет появляется двухтомник Важа

Пшавела в переводах Николая Заболоцкого. (Заметим кстати, что раньше Пшавела пробовали переводить Осип Манделъштам и Марина Цветаева).

Любовь Марка Израилевича к настоящей литературе не признавала никаких запретов. Только в Грузии и могли решиться на издание стихов и переводов Бориса Пастернака в 1958 – году травли и преследований поэта, влюбленного в Грузию.

В не самые лучшие годы увидели свет и «Картвельские оды» Бенедикта Лившица. Вообще, уникальная серия, задуманная и осуществленная Златкиным, невзирая на политические катаклизмы, «Стихи о Грузии и переводы», позволила нам открыть для себя Арсения Тарковского, Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину, Евгения Евтушенко и др.

Когда в воздухе запахло перестройкой, в «Мерани», опередив Москву и Ленинград, издали однотомники Бориса Пильняка и Исаака Бабеля, Николая Гумилева, Осипа Манделъштама.

Подхвачена и реализована была плодотворная идея издания подстрочного перевода и полной библиографии поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Марк Израилевич мог по праву гордиться тем, что издал все, выполненные, начиная с XIX века, переводы этого средневекового шедевра. Не могли обижаться и критики – грузинские и русские – книги их, посвященные грузинской классике и современности, своевременно выходили свет.

Златкин умел заражать других безмерностью своих планов, умел загораться и от пламени чужих замыслов. Так появилась книга грузинского фольклора в переводах Яна Гольцмана с рисунками волшебного Ладо Гудиашвили. Сегодня – это библиографическая редкость, так же, как «Литературная богема старого Тбилиси» Иосифа Гришашвили в переводе Нодара Тархнишвили и Владимира Леоновича, книга Михаила Буянова «Дюма на Кавказе» с рисунками и фотографиями прошлого века. Нужно было именно упорное стремление Марка Израилевича, чтобы собрать самых одаренных русских поэтов и подарить читателю загадо-

ного Галактиона. Да всего ведь не перечислить!

Марк Израилевич очень любил молодежь, доверял молодым самую сложную работу. Но любил он и далекое прошлое. Во многом благодаря ему мы имеем на русском языке почти все шедевры древнегрузинской литературы, от «Мученичества Шушаник» Иакоба Цуртавели (V в.) до Давида Гурамишвили (XVIII в.).

Посчастливилось и мне: я переводила замечательные книги моих друзей – представителей «Новой волны» в Грузии: Эдишера Кипиани, Тамаза Чиладзе, Арчила Сулакаури, Гурама Гегешидзе, а также эпос «Русуданиани» (XIII–XV вв.) и «Исторические хроники Грузии» Вахтанга Челидзе. Последняя работа, увы, осталась незавершенной, из 3-х томов на русском языке вышли лишь два.

Среди книг, изданных Златкиным, многие, причем самые разные, навсегда войдут в историю как грузинской, так и русской культуры. К примеру, Иракий Абашидзе (цикл «По следам Руставели») в переводе Александра Межирова, Анна Каландадзе в переводе Е. Николаевской и Б. Ахмадулиной, Отар Чиладзе (впоследствии стяжавший славу как прозаик, автор пяти романов) в переводе Наталии Соколовской.

Изданная много лет назад в Тбилиси тоненькая книжка стихов, переводов, писем и заметок москвича Владимира Полетаева, не дожившего до 20 лет (издание посмертное), сегодня входит в литературный обиход и частями публикуется в самых престижных изданиях.

«Начинавший у Златкина» (это звучало как лучшая из характеристик) Юрий Юрченко сегодня издал уже 7 книг в Германии.

Вот как нас много – от великих и до малых сих. И мне кажется, что мы все до сих пор ощущаем тепло добрых глаз Марка Израилевича, и нашей рукой ведет его безмерная любовь к человеку и к слову.

1998, № 7-9

Георгий Антелава

Вспоминая ушедших друзей

«И ДЕЛАЛ ОН УГОДНОЕ В ОЧАХ ГОСПОДНИХ...»

Ни на секунду не задумываясь, я с благодарностью принял предложение Зазы Абзианидзе написать несколько слов о Нисане Бабаликашвили. Казалось, что может быть проще рассказать о любимом человеке, с которым связано не одно десятилетие ежедневного общения, дружбы. Рассказать так, чтобы собеседник услышал его тихий голос, увидел его семенящие шаги, явственно представил доброе, улыбающееся лицо.

Однако все оказалось гораздо сложнее. Не хотелось вкратце пересказывать его и без того короткую биографию, ограничиться т.н. «служебной характеристикой» – это лишило бы читателя возможности увидеть и почувствовать Нисана. Его знали многие, и каждый из этого множества людей знал его по-своему. Кто-то с ним дружил, кто-то его любил, кто-то соглашался с ним, кто-то нет... но для всех Нисан был личностью, Человеком.

В нашей суетной жизни мы часто не осознаем, кто находится рядом. В каждодневной рутине разные мелочи становятся более значимыми и притупляют наши чувства. Отсюда постоянная торопливость, спешка, небрежность в общении: «Привет, что нового, не пропадай, звони...» Это – с близкими. Мы их не щадим. С дальними же мы более учтивы.

Мы не всегда дорожим присутствием ближнего, но зато слишком хорошо осознаем степень и тяжесть утраты. Теряем часть своего. Но это потом, после потери, когда память вплоть до малейших деталей воскрешает все, что связывало тебя с ушедшим. Именно эти детали восстанавливают все подлинное, настоящее, прошедшее сквозь тончайший фильтр наших чувств.

Нисан был Человеком праведным. Позволю себе, не лукавя, сказать, он ни разу, даже мысленно не нарушил ни одну из Десяти заповедей. В то же время он был свободным человеком – гражданином, ученым, поэтом. Он не писал стихов (во всяком случае, не публиковал их), но всей душой любил и чувствовал неповторимую поэзию Библии. Иначе чем объяснить его безукоризненные переводы на грузинский язык «Плача Иеремии», «Екклесиаста», «Песни песней»...

Сын мудрого, сурового, но доброго раввина тбилисской синагоги и тихой, почти безмолвной матери, он вместе с сестрами и братом вырос в семье, к которой обращались люди, нуждавшиеся в тепле, утешении, добром слове. В семье же он изучил (неофициально запрещенный тогда) родной язык.

В 1964 году он окончил факультет востоковедения Тбилисского государственного университета. Тут следует сказать, что в университет Нисан пришел не сразу. До университета он учился в Тбилисском институте инженеров железнодорожного транспорта. Трудно объяснить, какая сила завлекла его в инженерию и чем бы он обогатил советское локомотивостроение, но расставание с этой областью прошло безболезненно, во всяком случае, мне кажется, что «прозрение» пришло благодаря внутреннему голосу, указавшему на его подлинное призвание и миссию.

Блестящее знание языков (иврит, грузинский, русский, немецкий, английский, арабский), солидное образование, далеко выходящее за рамки университетских программ, высокая культура и подлинная интеллигентность сформировали ученого Нисана Бабаликашвили. Научные работы еще при жизни утвердили его в ряду первоклассных исследователей-гебраистов. В одной из служебных характеристик говорится: «Исследования Н. Бабаликашвили внесли заметный вклад в область еврейской эпиграфики, еврейских языковых традиций грузинских евреев... Его работы отличаются высоким профессионализмом...» Высокий профессионализм Нисана-ученого был обеспечен знаниями и колоссальной ответственностью, с которой он относился ко всему за что

брался. Здесь же уместно сказать, что Нисану-студенту безусловно повезло: ведь в университете он был учеником выдающегося ученого и педагога Георгия Церетели и воспитанной им блестящей когорты грузинских семитологов: Константина Церетели, Алекси Лекишвили, Тины Маргвелашвили, Этери Сихарулидзе, Марии Недоспасовой... Полученные им знания Нисан-ученый и педагог щедро передавал другим, уже своим ученикам.

Учеников у него было много. Это – коллеги, студенты университета, переводчики, литераторы, языковеды, интересующиеся ивритом, Библией. За советом, консультацией к нему обращались люди из разных стран и городов. В архиве Института востоковедения сохранились письма почти из всех центров гебраистики с просьбами выслать оттиски его статей. Георгий Васильевич Церетели доверил ему продолжение начатой им работы – изучение «Тбилисской рукописи древнееврейского Пятикнижия» хранящейся в Институте рукописей нашей Академии. Эта работа велась вместе с учеными-гебраистами из Института Библии университета французского города Нанси. Увы... ей не суждено было завершиться. Скончался академик Церетели, скончался профессор Жерар-Эммануэль Вейль, не стало Нисана...

Многим, очень многим своим ученикам, выехавшим в Израиль, он облегчил жизнь на исторической Родине. Он их обучил родному языку в Грузии. Мы помним, с какой любовью проводил он почти подпольные занятия. Изучение иврита в Союзе не поощрялось. Нисану нередко доставалось за такую «самодеятельность», которую он, несмотря ни на что, не прекращал.

Уехать из Грузии, покинуть ее навсегда... об этом он даже не думал. Ему посчастливилось по приглашению матери Борис Гапонова (вскоре после его смерти) побывать в Израиле. Это было счастьем, недоступным для многих его советских коллег. Он мог оставаться там два месяца, но вернулся уже через месяц счастливым и... убежденным в правоте своего решения – не покидать родного Тбилиси.

Добрый Человек, Нисан постоянно заботился о благе др.

гих, ни на минуту не думая о своем шатком здоровье. Делал все молча, тихо. Мало кто знает, сколько он бился за улучшение условий жизни и облегчение страданий Бориса Гапонова. К Нисану обращались все, никогда не думая о его времени, усталости, недуге. Обращались потому, что знали – отказа не последует. Поразительно, как он помнил дни рождения не только друзей, но и их детей, родителей. Всем он дарил тепло, внимание. Просто, между прочим, без лишних слов... «Это твоему сыну, он же учит французский...» «Это» оказывалось великолепной книгой.

Книги были неотъемлемой частью его жизни. Редкая семья могла похвалиться такой библиотекой, какую имел он. Именно библиотекой, доступной всем, а не закрытой коллекцией. Вообще дети Малки и Израила Бабаликашвили, будучи многосторонне развитыми людьми, составляли как бы одно интеллектуальное целое. Одна из его сестер, Цаца, посвятила себя книгам. Она была сотрудником Фундаментальной библиотеки Академии наук. Многим посчастливилось общаться с ней, обращаться за советом. Компетентность ее была поразительной. Вторая сестра – Рива – известна в Тбилиси как один из лучших специалистов по теории музыки. Долгие годы она проработала в Тбилисской музыкальной школе для одаренных детей, воспитала не одно поколение учеников.

Музыка, особенно классическая, была страстным увлечением Нисана. Богатейшая фонотека (пластинки, кассеты) занимала большое место в его тесной квартире (если жилье этой семьи в старом Тбилиси можно назвать квартирой). Его часто можно было встретить в концертных залах, в оперном театре. Он мог пропеть (вот голосом он явно не мог похвастать, что компенсировалось абсолютным слухом и поразительным чувством произведения) с начала до конца оперы Верди, Бизе, Россини... Порой он этим «злоупотреблял». Особенно во время наших экспедиций по Грузии, Дагестану, Северному Кавказу, Крыму, где он облазил почти все еврейские кладбища, переписывая эпитафии. Ночью в машине Нисан вдруг начинал петь. Пел громко,

даже очень громко. Остановить его было невозможно: не действовали ни просьбы, ни уговоры. Надо было устраиваться на ночлег, но «концерт» продолжался. «Программа» была разнообразной и, что самое страшное, почти бесконечной.

В работе он был фанатиком. Ничто его не останавливало. Тяжелые полевые условия, погода, дальние переезды, пища, совершенно противная его здоровью – все это не имело никакого значения. Главное – иметь при себе огромный портфель – «акusherский саквояж». Боже, чего только в нем не было. Железная щетка, рулетка, различные кисточки, калька, тушь, постоянно (!) влажная тряпка, книги, тетради и... водка. Это для нас, неприменных участников «автоодиссей»: Шуры Цубылевского, водителя Зекерии Богданова, и, реже, меня, чтобы не мешали его общению с усопшими предками. В этих летних поездках собирался огромный, казалось, малозначительный материал, переносимый на кальку, записываемый в блокноты. Потом длительный период его обработки, публикации и, наконец диссертация блестяще защищенная, получившая самые высокие оценки авторитетных семитологов многих стран. Изданная отдельной книгой, она стала раритетом сразу же после выхода в свет.

Нисан тяжело болел. Болезнь была хронической, изнуряющей, приносящей много физических страданий. Однако никто даже из самых близких ему людей, не может припомнить, чтобы он говорил о своих недугах. Относился он к ним пренебрежительно. Поташить его к врачу было, практически, невозможно. Друзьям стоило немалых усилий уложить его, уже обреченного, в больницу, где он тихо скончался 10 мая 1986 года, успев раздать им всю свою доброту и тепло.

Перевод с грузинского

1998, № 7-9

Нико Саадашвили

Моя деревня

Гляну ли я на заросший проулок
И на лощины, где темнота,
На облака на вершинах сутулых
И кузнецов на изгибе моста,

Гляну ли на обмелевшую Тану –
Дрожь подступает, твердя о былом!
...Роца любила меня, мальчугана,
Пестрая, схожая с птичьим крылом.

Там умереть я хотел бы в потоке
Ветра, унесшего хлам мишуры,
В сердце б остались каштанов потемки,
Запах ореховой кожуры.

Фрукты на камне могил, поминанье,
Ларь и лежанка, ниша в стене,
Голос дудуки в нашем духане,
Пир при светильниках и луне.

Трепет, как щебет, раздавшийся близко,
Трепет впервые меня пронизал;
Утром сырая под стогом записка:
«Ах, для чего ты стихи мне писал?!»

Игры ребячьи – детства отрада,
Поле, равнины серый покой,
Склоны, ленивое шествие стада,
Коршун, парящий там, за рекой.

О многолетняя живопись лета!
Рига осевшая, птичьи прыжки,
Лепет источника, капельки света
Носят в ночной темноте светляки.

Филина крики, вздохи скотины,
Тьму разгоняет коптилка с трудом,
Полка простая, посуда из глины,
Около мельницы старый наш дом...

Все уже в прошлом, и некуда деться,
Втянет Кура меня в смерть, в круговерть...
Как я любил обиталище детства,
Как я хотел бы там умереть!

Атенский Сиони

Лес вековой покрывал эти горы,
Угрюмый, как бесполезный труд,
И притаились в горах, как воры,
В темных пещерах тень и уют.

Плыли, дымилась туманы несмело,
И скрежетал в ущелье ручей,
Звезды мерцали, словно проела
Жадная моль черноту ночей.

Свет Господень качался в тумане
На безрассветных путях вдали;
Идолы там, у холмов, дремали –
Те, что покорно в землю ушли.

Некогда здесь протекала Тана,
Темного царства смыв рубежи,
По-петушиному, неустанно,
Звонко кричала вечная жизнь.

Висела в пещере лампада, и тени
Икону раскачивали у креста,
Апостолы на скале Гардатени
Спали спокойно, устав от поста.

Кости язычников – храма подножье,
Мифы взлетали с лучами звезды,
А на земле, на фиалки похожи, –
Нашей Нино пресвятой следы.

Лани топтали склоны косые.
Вечный источник струился с гор...
Здесь, подрастая, играл Мессия
И подметала Мария двор.

Все прихожане войти не могли бы
В храм, где молитвы протяжен звук;
Возле Сиони стояли липы,
Как мудрецы-халдейцы вокруг.

Купол стремился к небесной выси.
Месяц сиял наподобье свечи.
Крест выносили. На Данахвиси
Филин бессонный ухал в ночи.

Перевод Булата Окуджава

1999, № 1-6

1997 - 2007

Мухран Мачавариани

* * *

Третий день в плену я у печали,
Третий день смывает дождь любовь,
Все желанья и мечты увяли,
Как теперь мне к ним вернуться вновь?..

Перевод Гугули Кебуриа

2000, № 1-6

Шота Нишинианидзе

Одиночество

В крайнем доме улицы безвестной
Приютилась пара стариков.
В тишине обители их тесной
Ворковала пара голубков.

Превратились в облака их мысли,
И плывут они во все края.
Книги, сны иль эпизоды жизни
Догорают на закате дня.

Но порой воспоминаний дождик
Детским смехом оживится вновь,
Заиграет в брызгах старый зонтик
И вернется первая любовь.

На окне у них теснятся склянки,
Книги, спицы, теплые носки,
Воробьи слетаются на банки,
Поклевать снадобья от тоски.

Нравится мне их финал чудесный,
Но пугает участь стариков,
В страшный день, для них небезызвестный,
Смолкнет вдруг один из голосов.

В крайнем доме улицы безвестной
Ворковала пара голубков.

Перевод Гугули Кебуриа

2000, № 1-6

Шалва Кармели

К горе Мтацминда

Святой горы люблю, люблю туманный вид.
Мила мне тишина особенная эта.
Она в который раз мне мысли прояснит,
О, сколько здесь молитв произнесли поэты.

И лавры я люблю, венчающие склон,
Обитель призраков, могила на могиле.
В стихи о Грузии облекся каждый стон
Поэта-юноши, Бараташвили.

Мтацминда, дни мои сгорят когда-нибудь,
И больше твоего покоя не нарушу.
Позволь мне замятку упасть к тебе на грудь,
Позволь и не губи мою, Кармели, душу.

Смерть Рембо

Как тихо в комнате! Шарманка чуть фальшиво
Выводит ритурнель во внутреннем дворе.
Пусть окна заперты, воспоминанье живо,
И теплится свеча звездой на заре.

На глобус взаперти глядит Рембо безногий.
Его скитальчества хватило б на двоих.

На этот полный шар накручены дороги,
Пустыни и моря – о, сколько было их!

В кармане доллары, а за спиной полмира
Да эта комната, пожалуй, – весь барыш.
Кассиром шапито ты был и дезертиром,
Рембо! И проклятый из Африки бежишь.

Торговца пряностями и слоновой костью
Святые негры ждут на берегу чем свет.
Но не товарами, а ненавистью, злостью
Европе платит он за скуку долгих лет.

Поэтов и самой поэзии обличье
Менял ты, будучи парижским королем.
Рембо! Как нас слепит стихов твоих величье,
А биография и золото потом.

Чернь улюлюкает, Иуда торжествует,
На все лады клянут вчерашнего царя.
Но сам Христос тебя однажды коронует
За то, что «праведным» ты прозван был не зря.

Одиночество

Одиночество светит сквозь тьму,
Как луна на мое изголовье.
Я мышленьем обязан ему,
Мы повязаны крепкой любовью.
Одиночество, это оно
Душу мне утвердило над бездной.

При сияньи его мне дано
Созерцание Девы Небесной.
Одиночеству благодаря
Жизнь моя еще теплится в теле.
Одинок я, и значит не зря
Откликаюсь на имя Кармели.
Одинок, как перст, восхожу
В небеса по незримым ступеням.
И поэтому я дорожу
Одиночеством, уединеньем.

Маньяк жемчуга

Я самого Низами превзойду,
Отрок-халиф, воспевая Лейли.
Небо зажжет, словно факел, звезду –
И не боюсь каменистой земли.

Чтоб аравийская злая жара
К милому не прикоснулась челу,
Девичьи очи скрывает чадра,
Только зрочки польхают сквозь мглу.

Дисками лун поднебесная синь
Усыплена и пустынная даль.
Сколько их здесь, черноглазых рабынь!
В оцепененье впадает сераль.

В лунную ночь на коленях стою
Перед любимой своей в тишине.
Мне отдала она руку свою,
Петь от любви предназначено мне.

Шея точеная вкруг обвита
Жемчугом синим, и только поэт
Может каменьев игру и цвета
Преобразить в ювелирный балет.

Так наливайте же чашу полней!
Яд ли, вино ли там – все мне во вред.
Любо идти мне дорогой своей,
Облако пыли за мной след в след.

Вавилонская башня

Вновь это прокаженное виденье.
Закрой глаза: всплывут из тьмы времен
Царь Хаммурапи и его владенье –
Весь в копоти развратный Вавилон.

Столпотворенья шум мне слышен ныне.
Бредут в обетованную страну
Евреев толпы, и звенит в пустыне
Плач о Сионе, сложенный в плену

Жрец календарь поверил небосклоном,
Шлюх омывал евфратскою водой.
Он ведает, языческий астроном,
Кто под какую родился звездой.

И Валтазаров трон воздвигнут снова,
И «менэ, тэкед, фарез» вижу я.
Не страшен Вавилону Кир суровый –
Вновь в небо башня тянется моя.

Перевод Сергея Гандлевского

Маски в карнавале

Валериану Гаприндашвили

Замелькали тени в одеяньях,
В скрытой пляске на ветвях дремотных,
Чары льет с небес луны сиянье,
В безрассудстве мчатся Дон Кихоты.

Арлекин с коварной Коломбиной,
Потаскуха в маске прячет профиль;
Вот Пьеро под белым балдахином,
На прохожих лает Мефистофель.

Сумасбродной ночью на поляне
Корчатся скелеты в пляске дикой,
Гамлеты сражаются здесь рьяно.
Весь в крови Отелло – мавр великий.

Прячет нож в руках самоубийца...
Страх, веселье с карнавалом в браке;
Совращает Дон Жуан красавиц,
Дом на Корсо весь в распутном мраке.

Раздает гроза рапиры. Гости
Разорвали маски, побросали,
Устремились к Стиксу в голой злости,
К лодке тащит их Харон печальный.

Перевод Зураба Габуния

*Георгий Абзианидзе***Шалва Кармели**
(Силуэт)

Статья Георгия Абзианидзе датирована февралем 1926 года, стало быть, принадлежит она перу восемнадцатилетнего юноши – романтического и поэтичного, в чем нетрудно убедиться, следя за его фразой и наплывом чувств.

Очарование «Силуэта» – еще и в том, что помимо портрета Кармели мы видим и самого автора статьи – младшего друга и почитателя поэта, ощущаем аромат и атмосферу того времени – сентиментальную, декадентскую, столь необычную для нас сегодня, порой даже вызывающую улыбку, но в то же время на редкость утонченную, хрупкую и чистую.

Ушло то время, ушли и те люди, а вместе с ними многое из того, в чем мы так нуждаемся и так ценим, что оплакиваем и стремимся вернуть...

Нам остается воспринять эту скромную публикацию не только как дань памяти Кармели и моего отца, но и как отзвук безвозвратно ушедшего романтического времени.

Заза Абзианидзе

Шалва Кармели неслышным призраком бродил по кутаисским улицам, где его цветущая душа навзрыд заливалась роденбахской меланхолией. В морозный январский день снежные серафимы похитили эту целомудренную душу изнеженного рыцаря «мертвого Брюгге» и умчали ее к Святому Граалю.

Кармели, этот «мастер-дитя челлиниевской мощи», по определению одного поэта, был влюблен в рифму, «бледную и пыльную, как девица». «Я знаю, мне определенно есть чем гордиться: я первый отшлифовал рифму грузинского стиха». В этом смысле его сравнивают с безвременно погибшим петербургским поэтом Николаем Гумилевым, чьи рифмы были подобны драгоценным камням.

Излюбленная стихотворная форма Кармели – сонет: «Я влюбился в сонет, как в красавицу»¹, – говорит он в стихотворении «Любовь к сонету».

Шалва Кармели напоминал застенчивого нежного зяблика как выразился один из его друзей, но порой в этом хрупком создании угадывалась ураганная сила, способная снести этот мир с его несправедливыми законами. Он вызывает на дуэль весь мир:

...Порыв урагана развеет мой прах,
но прежде на крыльях демона
переверну я этот старый мир!

Или:

Но перед смертью своей я со страстью
брошу ключ с такою силой,
что Земля эта, перевернувшись,
огненным бриллиантом расколется на кометы.

Эти строки определенно дышат мощью. Слово самум, не летевший со страшной силой, грозит гибелью миру, и небеса, разверзшись, обрушиваются вниз. Видения Кармели распаяла «жаркая Халдея: Вавилон и Ниневия». Этот нежнейший рыцарь поэзии восхвалял «блудливый Вавилон» и был исполнен «палашего жара древних стран». В стихах на эту тему, наряду с ослепительной фантазией, чувствуется горечь и печаль о мимолетности разрушении всего сущего.

Во мне воскресло прошлое, и кажется мне,
Этот мир – Вавилон, что должен быть разрушен.

¹ Здесь и далее переводы стихов подстрочные.

Кармели томила мистическая сила луны. Он отождествлял это светило с катастрофой, трагедией. Луна для него – эшафот, «отбеленный ядовитым сплином»:

Вот чистый лунный эшафот,
где терпят муки души грешные.

Строки трепещут от предчувствия катастрофы, рождаемого магнетизмом и иррациональностью луны. Поэт оставил грузинской поэзии совершенно своеобразное, исключительное понимание Луны.

И все-таки главная тема поэзии Кармели – туберкулез. Никто из грузинских поэтов не писал об этой болезни с такой болью, горечью и слезами, как он:

Похоже, простыл я на снегу, бедняга,
застудил основу легких,
ты, тень моя, кому полюбишься,
заблудившийся бессловесный всадник?!

Как и Корбьера, Кармели мучил призрак туберкулеза, неутомимо сокращая расстояние до губительной пропасти, и поэт в отчаянии восклицал:

Друзья и братья мои,
наш инквизитор – чахотка!

.....
Спешу за ангелом, но боязно, как бы он не
коснулся меня...

Погибну, как Икар, над морем распростерший
крылья.

Судьба, похоже, не уберезет меня от вихря,
грызу бациллы чахотки, носящиеся в сухом воздухе.

Судьба действительно обошлась с ним жестоко. Он прибил к страшному рубежу, мистический ужас перед которым приводил его в содрогание, как отбившегося от стаи лебедя.

Смерть невольно приводит меня в трепет, как
Готье,

ибо «балдахин уносит все наши надежды...»

Под конец его голос звучал обреченно, подобно рыданию лазурных виол скорбящих серафимов:

Бесполезны лекарства, и я отказался от своего
лекаря..

.....
Не суждено мне было излечить чахоточные
легкие..

Кармели возложил свою жизнь на алтарь поэзии. Он сгорел в действительно прекрасном огне стихотворства. Имя этого обреченного юноши безусловно войдет в анналы грузинской лирики.

В роковой миг кончины Шалва находился в Кутаиси, который был для него «мертвым Брюгге».

Это произошло в холодный январский день 1923 года: шел снег и, казалось, что небесные сады Семирамиды развеивались в прах, и пепел опускался на землю белыми бабочками.

Тот, кто помнит его похороны у ограды церкви Архангела, кто был свидетелем слез его друзей, их проникнутых любовью нежных и полных отчаяния слов, наверное, не забудет этого дня.

Шалва Кармели обратился в прах, истаял, как мираж, тайне безбрежного небесного зеркала. Нас разлучил с ним физический бунт материи, но память об этом феноменальном юноше навечно оставит в наших душах свет, подобно сказочным садам Семирамиды.

Перевод с грузинского

2001, № 1-6

*Анна Николадзе***Чернышевский и грузинская общественность**

Духовное наследие Николая Чернышевского ясно прослеживается в истории грузинской общественной мысли и литературы. Идейная программа Н.Г.Чернышевского и его «Современника» постоянно привлекала пристальное внимание грузинских шестидесятников, так называемых «тергдалеулни». Можно сказать, что Чернышевский был одним из первых великих русских мыслителей, с которым представители молодого грузинского поколения установили тесный личный контакт.

Илья Чавчавадзе, как выясняется, лично был знаком с Н.Г.Чернышевским. В шестидесятых годах передовая часть грузинского студенчества Петербургского университета сблизилась с великим русским мыслителем и находилась под его сильным идейным влиянием. Некоторые из них за связь с Чернышевским были взяты Третьим отделением на особый учет. В одном из жандармских документов, в котором перечислялись лица противоправительственного образа мысли, среди сорока девяти «подозрительных», упомянутых вместе с Н.Г.Чернышевским, приводятся фамилии Утина, Печаткина и Гогоберидзе. «Эти три студента, – сообщается в документе, – замечены в студенческих беспорядках, сделали демонстрацию на лекции Костомарова, знакомы с Чернышевским и подозреваются в печатном воззвании в пользу Павлова».

В.Гогоберидзе и в дальнейшем не прекращал связи с членами группы «Современника». Вместе с Илей Чавчавадзе он учился в Петербургском университете. Они были связаны между собой узами крепкой дружбы.

О знакомстве Ильи Чавчавадзе с Чернышевским оставил сведения грузинский литературный критик Илья Хомлели, который сам был воспитан на идеях русских шестидесятников и активно пропагандировал их учение в Грузии.

Естественно, что Илья Чавчавадзе высоко ценил общественно-литературную деятельность Н.Г.Чернышевского. Вот что писал грузинский поэт и мыслитель о революционно-демократическом движении в России и о вождях этого движения, которые смело отвергли старый социальный строй и стали провозвестниками новой жизни:

«Прозревшая Россия увидела, что основа ее недуга – сам общественный строй, её уклад, раз и навсегда установленный и более не обновляемый. Пробужденная Россия отвергла этот строй, отвергла все то, что способствовало этому укладу. Это отрицание существующего возникло в среде, именуемой мыслящим обществом, которое всюду и всегда является надеждой и утешением каждой нации и первым становится во главе жизненного прогресса. Это общество со всей энергией взялось за великое дело отрицания, и в каждом его действии – либо укор и порицание отжившему прошлому, либо учение и мечта о медленно пробивающемся новом. Лучшие представители этого общества – в поэзии, науке, публицистике – всегда были неутомимыми последователями этого великого дела. Благодаря их поистине незабвенным деяниям смелое отрицающее направление прочно утвердилось в России и заняло своё место на жизненном поприще. Вождем этого нового направления был знаменитый «Современник».

Позиции Н.Г.Чернышевского были близки и великому грузинскому поэту Акакию Церетели.

О горячих симпатиях Акакия Церетели к Н.Г.Чернышевскому можно судить по известным словам из его мемуаров «Пережитое». «В шестидесятых годах, – пишет он, – Италия и Венгрия боролись с Австрией, стремясь добиться освобождения. Имена Гарибальди, Мадзини и Кошута были написаны на знаме-

х всех искренних и сознательных патриотов.

Как раз в те годы на литературной арене появился саратовский семинарист Чернышевский. Он стал во главе «Современни-» и вместе с Добролюбовым, Антоновичем, Некрасовым и дру-ми подверг Россию жестокой и язвительной критике. Россия за-велилась... Ничто не могло свергнуть ее снова в рабское сос-ание».

Акакий Церетели в одной из своих статей прямо указывает ту огромную роль, которую играл Н.Г.Чернышевский в борьбе отив идеалистической эстетики за становление принципов ре-стического искусства, убежденным сторонником которого был узинский поэт как в своем художественном творчестве, так и в тературно-критических сочинениях.

«В 60-х годах, – пишет Акакий Церетели, – когда искусство захватило русскую литературу, что даже ее лучшие предста-тели не ступали ногами на землю и витали в небесной синеве, рванные от жизни, выдающийся писатель Чернышевский ука-и им, что искусство существует не ради бесплодного искусства, должно служить жизни... Этим он хотел направить искусство, авшее в крайность, в необходимое русло».

Отметим, что в Грузии большой популярностью пользова-сь не только публицистические и литературно-критические со-нения Н.Г.Чернышевского, но и его роман «Что делать?». ига эта оставила определенный след в грузинской художес-нной литературе. Роман оказал влияние на повесть Антона рцеладзе «Приключения трех», опубликованную в семидеся-х годах, но написанную в 1863 году. Главный персонаж этой вести Симон Бадладзе напоминает Рахметова, а образ героини оизведения грузинского прозаика создан под влиянием худо-ственного образа Веры Павловны.

Из грузинских общественных деятелей шестидесятых годов жее всего был связан с Н.Г.Чернышевским Нико Николадзе.

Нико Николадзе – выдающийся представитель грузинских стидесятников. Он был близко знаком с Н.Г.Чернышевским. В

своих воспоминаниях о шестидесятих годах Н.Николадзе описывает знакомство и дружбу с семьей Н.Г.Чернышевского. На фоне освободительного движения шестидесятих годов Н.Николадзе рисует образ великого русского мыслителя и революционера, который произвел неизгладимое впечатление на грузинских шестидесятников.

Н.Николадзе описывает, с каким волнением ожидал он встречи с Н.Г.Чернышевским в его семье, куда он был приглашен еще будучи молодым студентом. Летом 1862 года Н.Николадзе выехал на дачу в Павловск, где имел возможность ближе познакомиться с Н.Г.Чернышевским.

О том, насколько глубоким и сильным было влияние «Современника» на молодое поколение шестидесятих годов, свидетельствуют следующие строки Нико Николадзе: «Какое было то время, если бы ты знал, читатель, с каким нетерпением и жадной ждали мы, молодежь, счастливый день выхода любимого журнала («Современника». – А.Н.). С каким восторгом и устремленностью, с какой радостью читали мы его без усталы, как бились у нас в тот момент сердца, как были взволнованы чувства, загорались ум и сознание. Сколько длинных, бесконечных северных зимних ночей было просижено за чтением, в раздумье, в рассуждениях и спорах, и сколько ночей неумоимо предавались мы волнению чувств, умственной работе, вызванной у нас этим журналом. Кто сосчитает те дни длительного счастья, восторга, поисков мысли и возвышения чувств, или кто забудет след, проложенный ими в груди; сколько было в то время таких же, как мы, молодых, единомышленников, собратьев наших в будущем счастье и несчастьях. Где сегодня они? Где те герои, чьи слова будили наш разум, чьи примеры делали нас молодыми, чьи труд и мучения облагораживали нас и возвышали? «Иных уже нет, а те далече». Иные умерли, другие исчезли, а некоторые... Но забудем этих последних «некоторых», чтобы наши воспоминания были обращены к светлой и чистой памяти тех первых, которые свято исполнили свой долг, оправдали слова делами и отстаивали свои

беждения, посвятив себя делам, будущему... Их ученье, их жизнь, их путь и судьба – это наша святая обитель...»

Этими взволнованными строками оплакивал молодой николадзе безвременно погибшего гениального юношу – Добролюбова и заживо погребенного в вилюйской ссылке Н. Г. Чернышевского.

В 1861 году Нико Николадзе принимает участие в студенческих волнениях в Петербурге, которые окончились арестом трехсот студентов, в том числе Н. Николадзе и других студентов-рузин. Эти студенческие волнения, революционные стихи и песни, раздававшиеся в стенах кронштадтского каземата, где были заключены арестованные студенты, углубили политическое сознание молодого Н. Николадзе.

Н. Николадзе подробно повествует, какое сильное влияние казали на его умственное развитие статьи Н. Г. Чернышевского и Л. А. Добролюбова, опубликованные в «Современнике», в которых, вопреки цензуре, проводились идеи свержения российского самодержавия и создания утопического социалистического общества.

Студент Петербургского университета, сверстник Нико Николадзе, – И. В. Исарлишвили приводит интересные сведения о влиянии Н. Г. Чернышевского и «Современника» на грузинское студенчество Петербурга: «Кружок грузинских студентов, среди которых были лица, сыгравшие немного позже весьма крупную роль в создании периодической печати на Кавказе и внесении вообще в общественную жизнь Кавказа большого оживления, было тесно связано с редакцией «Современника».

Некоторых из нас общительность и радушие, которые мы встречали в семье Чернышевского, сильно привлекали на вечера, устраивавшиеся в этом доме. Приходили мы обыкновенно вечером на чай, когда заставляли дома всегда гостеприимную веселую Ольгу Сократовну с сестрой. Литературных вечеров мы не устраивали, а просто спорили, шутили и обменивались новостями и слухами о том, что тогда занимало весь Петербург.

Сам Чернышевский очень редко выходил к нам. Только один раз, накануне Нового года, как я помню, мы во главе с Ольгой Сократовной ворвались в кабинет и вытащили его. И муж и жена были внимательны и иногда заезжали к нам, чтобы пригласить куда-нибудь.

В числе посещавших дом Чернышевского кавказцев я помню Н.Я.Николадзе, Г.Е.Церетели, Н.В.Гогоберидзе (впоследствии они, как известно, основали в Тифлисе грузинскую газету «Дрозба» и вообще сыграли выдающуюся роль в истории грузинской журналистики)...»

Нико Николадзе впоследствии с восторгом вспоминал о связанных с его юностью неизгладимых впечатлениях, полученных им в Петербурге. «Представь себе теперь, читатель, – писал Н.Николадзе в семидесятых годах, – что Петербург и есть тот город, в котором я испытал впервые прелесть юношеского восторга и грез, где впервые расцвели мои чувства и надежды, где разум и душа мои испытали первые светлые и мощные впечатления. С какой-то удивительной силой влияют на ваши чувства те места, где мы приобщались к высоким идеалам нравственности, где мы были счастливы или несчастны, где трепетали наши чувства, где мы трудились и где туманил нам голову дым первой победы или поражения... Человек любит подобные места, он вспоминает их в прекрасных образах и цветах. И хотя бы они были за тридевять земель... как только снова увидит их человек, сразу перед его взором предстают одно за другим старые воспоминания, старое знакомое чувство и весь пройденный путь... Перед ним предстают образы тогдашних собратьев и героев, видится блеск их очей, слышатся их голоса, и рука невольно протягивается для того, чтобы коснуться любимых, обнять их и прижать к груди».

Как почитатель Н.Г.Чернышевского, Н.Я.Николадзе ставит своей целью издание произведений великого русского мыслителя. В конце шестидесятых годов Н.Николадзе, находясь за границей в эмиграции, приступает к осуществлению этого намерения. В 1868 году он пишет своему другу Кириллу Лордкипанидзе из

зневны: «У меня есть к тебе просьба: непременно познакомься с ким-либо знакомым Пыпина и найди полный список сочинений тора «Что делать?». Кроме этого списка, найди изъятые места. Это очень, чрезвычайно нужно и полезно... Если ты не сможешь знакомиться со знающим Пыпина, пойди прямо к нему, — ажи, так, мол, и так, один из почитателей Ч-кого (Н.Г.Чернышевского. — А.Н.) желает собрать полное собрание его сочинений. Я надеюсь, что Вы не будете против, если я спишу Ваш список пропущенные места в Вашем присутствии, — такая прямая просьба достигнет цели. Будь это простое дело, я бы тебя не стал просить, а так как прошу, — очень необходимо. Не забудь, что это дело спешное».

В 1868 году Н.Николадзе осуществляет свое намерение. В том же году в Женеве выходит первый том произведений Г.Чернышевского.

* * *

В восьмидесятых годах вопрос об освобождении Н. Г. Чернышевского встал с особой остротой. Самодержавие, перепуганное в этот период нарастающим революционным движением, вынуждено было пойти на некоторые уступки пробуждающейся общественности. Чернышевский был возвращен сначала в Астхань, а потом на родину, в Саратов.

В попытках освобождения Н.Г.Чернышевского деятельное участие принимал Н.Я.Николадзе, а также профессор И.Р.Тархшвили (Тарханов). Об истории этого дела Н.Николадзе подробно повествует в своей статье «Освобождение Н. Г. Чернышевского», опубликованной в 1907 году в журнале «Былое» (№ 9), а что же касается самих рукописей, то первое научное сообщение об их принадлежности моему покойному мужу Георгию Абзианидзе «Неизвестная биография Н.Г. Чернышевского», газета «Литературная газета», Тб., 1934, №26).

Для сбора материалов, связанных с делом освобождения Чернышевского, а также по вопросам издания его сочинений

Н.Николадзе обращался к двоюродному брату великого русского революционера – профессору А.Н.Пыпину (1833-1904), выдающемуся историку русской литературы, который был в близких отношениях с Чернышевским.

Составленные А.Н.Пыпиным по просьбе Нико Николадзе четыре весьма интересные рукописи о Чернышевском находятся в настоящее время в нашем распоряжении. Первая рукопись заглавия не имеет. Вторая носит название «Биографические сведения о Н.Г.Чернышевском». Третья имеет заглавие «Сведения о семействе и положении Н.Г.Чернышевского» и четвертая – «О литературных трудах Н.Г.Чернышевского».

Рукописи Пыпина являются первостепенным документом для изучения биографии гениального русского мыслителя. В них содержится много интересных фактов о литературной деятельности Н.Г.Чернышевского, о его семейной жизни, а также – что представляет большой интерес – важные сведения относительно наказания и ссылки Чернышевского.

Говоря об идейных взаимоотношениях Н.Г.Чернышевского и грузинских общественных деятелей, мы раскрываем замечательные страницы истории культурных взаимоотношений русского и грузинского народов.

1964

2003, № 1-3

Александр Блок

«...Берегитесь Елисейских полей...»

В 1912 году никому не известный грузинский студент, будучи в Петербурге, написал своему кумиру Александру Блоку торжественное письмо. И через два дня получил ответ. Это торжественное письмо Блока к Али Арсенишвили вошло почти во все собрания сочинений поэта, в русском литературоведении ему дается немаловажное значение.

Али Арсенишвили, юрист по образованию, даже служил некоторое время в Министерстве юстиции. Но, как писал в своих воспоминаниях Серго Квдიაшвили, он лично никогда бы не доверил своей защите в суде. Я убежден, — писал Серго Квдიაшвили, — тот гипотетический процесс Али Арсенишвили привел бы в трибуну для пропаганды литературы, поэзии, безусловно привело бы судей в крайнее раздражение.

Али Арсенишвили был влюблен в литературу, знал наизусть много стихов и целые прозаические периоды. Стихи он читал подобно. Казалось, он владел неким тайным ключом, позволяющим ему выявлять волшебство мысли и слова, и даже давние известные вам строки в его передаче обретали новую жизнь. В этом, вспоминает Серго Квдიაшвили, Али Арсенишвили не умел писать, да он и не пытался писать, никто и не советовал ему делать это. Он оставил небольшое литературное наследство — несколько критических и газетных статей, копию письма к Блоку и комментарий к нему и ряд переводов Гайзера и Мериме. Вот, пожалуй, и все. И ничто из запечатанного на бумаге не идет ни в какое сравнение с его устной речью. Нам остается только верить на слово тем, кто слышал волшебные беседы. В литературе остались лишь отклики на

них в стихах, посвященных Али Арсенишвили Паоло Яшвили, Тицианом Табидзе, Валерианом Гаприндашвили.

Еще будучи студентом Московского университета, он влюбился в стихи Блока и написал ему письмо. «Очутившись в туманах Петербурга, – вспоминал позднее Али Арсенишвили, – я впервые после книг и отвлечений мечты познал реальность и фантастику Лугина и Штоса, Невского проспекта Парфена Рогожина, «Трех свиданий» и «Незнакомки». Моим бедкером «в самом фантастическом из всех городов» были литературные представления. Они до того владели мною, что я в Петербурге 1912 года не сомневался в существовании и Онегина, и самого Пушкина. Гора белых цветов на могиле Комиссаржевской говорила, что отзвучали слова даже Ибсена, а я верил в реальность Настасьи Филипповны и только не задавал себе труда, но был уверен, что могу разыскать князя Мышкина.

Из «Всего Петербурга» я узнал адрес Блока – Каменно-островский, Б. Монетная, 13. Пришел было к подъезду большого дома, но вернулся обратно, отдавая реальную «встречу с русским Зигфридом, которого мне так и не пришлось увидеть. После раздумья, отдавшись состоянию, должно быть, близкому восторгу творчества, я написал к нему письмо, о содержании которого и сам могу судить лишь по цитатам, приведенным в ответе Блока».

Что и говорить, ответное письмо любимого поэта потрясло душу восторженного юноши. В нем, вспоминал он позднее, «неотразимо волнует и окрыляет быющая через край сила пророчества и любви, излучение того «единого музыкального напора», который немолчно раздавался в его душе: Вперед к будущему!».

Ниже мы предлагаем читателю ответ Александра Блока Али Арсенишвили.

Ред.

ДОРОГОЙ АЛЕКСЕЙ ИЛЬЧИ!

8 марта 1912

Спасибо Вам за Ваше любящее письмо. Не думайте, что мне безразлично; только вот что, я думаю, читая его: для Вас гихи тех поэтов, о которых Вы пишете (и мои), как «елисейские оля» – благоуханные цветущие поляны...прошлого. Сюда относятся Ваше такое тонкое и такое ч е л о в е ч е с к о е выражение: «с ними мне не так грустно, т.е. грустней еще». Я это чувствую очень хорошо знаю, временами подчиняюсь ему, и не люблю его, или, выражаясь по Вашему, «еще печальней люблю». В этом смысле могу сказать: «не люблю я стихов» – т.е., «слишком, олезненно люблю», за то, что все прошедшие стихи (и мои в том числе) способны стать вдруг «полянами блаженных», царством забвения. Чем меньше сил для жизни, тем слаще забвение.

Вы говорите: «есть сладкая тоска стихов». «Без них – жить а свете тоска, просто дрянь». Я говорю Вам: понимаю Вас, но е х о ч у знать этого. Мы пришли не тосковать и не отдыхать. о чудесное сплетение противоречивых чувств, мыслей и воль, оторое носит имя ч е л о в е ч е с к о й души, именно оттого осит это р а д о с т н о е (да, несмотря на всю «дрянь», в оторой мы сидим) и м я, что оно все обращено более к удущему, чем к прошедшему; к прошедшему тоже, – но, оскольку в прошедшем заложено будущее. Человек есть б у д у щ е е. Когда же начинает преобладать прошедшее, хотя бы в истейших и благороднейших своих формах (именно эту ладкую ноту п р о ш е д ш е г о прочел я в Вашем письме, может ыть ошибся?), то человеку, младенцу, юноше и мужу в нас, розит опасность быть перенесенным в елисейские поля. Пусть се там благоуханно, пусть самый воздух синеет блаженством, – дно непоправимо: н е т б у д у щ е г о. Значит, нет человека

Не видав Вас в глаза, хочу сказать Вам: Милый Друг, ерегитесь елисейских полей; пока есть в нас кровь и юность, – удем верны будущему. Если в современной противоречивой и

вялой жизни многое тонкое и высокое бессильно сказать нам о будущем, будем беречься его, будем даже любить более грубое и более низкое (в культурном что ли смысле), если там голос будущего громче. Например: если в моих стихах для Вас есть свое утешение от тоски – тоскою еще более глубокой, и, тем самым, более единственной, – более аристократической, – то лучше не питайтесь ими. Говорю Вам по своему опыту – боюсь я всяких тонких, сладких, с в о и х, любимых, медленно действующих ядов. Боюсь и, употребляя усилия, возвращаюсь постоянно к более простой, демократической пище. Чтение произведений, которые говорят мне о прошлом только (Вы понимаете, в каком смысле я говорю «прошлое»?); уже почти не занимает места в моей жизни, во всяком случае, гораздо меньше, чем занимало когда-то.

Вот видите, почему мне, при всей близости Вашего письма, не хочется видиться с Вами. Может быть, я не верно понял Вас, или Вы не сказали главного. Я сейчас пишу поэму и поглощен ею, кроме того не слишком здоров, – это второстепенные причины, почему я теперь и вообще почти никого не вижу, давно уже боюсь столь понятных и с к у ш е н и й «сладкими звуками и молитвами»; «О, страшных песен сих не пой,» и т.д.

Объясните мне, прошу Вас, верно ли я понял Вас? Т.е., что для Вас мои стихи? Только ли «елисейские поля» или морфий? Если так, то виноваты мы оба: Вы, не прочитавший между строк б о л ь ш е того, чем сумел (но ведь х о т е л!) написать я; и я, не сумевший написать того, что хотел, засадивший в т ю р ь м у сладких гармоний ю н о ш у, который у меня в груди (ведь это – вечное проклятие художников, и у меня давно н е т «культы», как Вы говорите, даже великих художников мира, т о л ь к о художников). Последняя просьба к Вам: если Вы любите мои стихи, преодолите их яд, прочтите в них о будущем.

Александр БЛОК

2003, № 1-3

Наталья Соколовская

Юг оказался жарким, верченным,
стесненным и свободным разом.
И Грузия, наверно, с вечера
угадывалась за Кавказом.

Такие зрелища возможны ли
привыкшим к северной равнине:
взгляд от вершин летел к подножиям
и уставал на половине.

Немыслимая жажда мучила
весь путь до самого вокзала.
Жара сгущалась в небе тучами
и сумерками опадала.

В тревожном этом черном мареве,
пронизанном жарой и соком,
всему, что было слишком маленьким,
приснилось только о высоком.

А то, зачем весь путь затеяли,
что ожидалось лишь под утро,
в дрожащей за горами темени
угадывалось поминутно.

1997 - 2007

Письмо

Пишу, не уповая на ответ,
о том, как предвечернею порою
мои глаза притягивает свет
во всех домах, нависших над Курою.

Пернатый город рвется из тенет.
Все сумерек подергивает иней.
А между тем в душе моей растет
мысль о тебе, как ирис темно-синий.

Уже не прекословя и круша,
а только растворяясь благодарно,
спешит моя бездомная душа
вослед волне, мерцающей коварно.

А, может быть, и впрямь пришла пора
с водой дремучей слиться до рассвета.
Меня давно влечет к себе Кура.
Что делать мне сегодня, посоветуй!

Но поздно, поздно. Улицы пусты.
Глухая ночь облюбовала склоны.
И страшно мне, что мир многооконный
взирает в темноту из темноты.

2003, № 1-3

Ирэна Сергеева

Тбилиси

Уступами
 спускалась
 улица,
От
 Руставели
 шла
 к Куре...
Когда все это позабудется? –
Нет, никогда не позабудется –
Ни в августе, ни в октябре.
Мы
 по
 уступам
 шли...
Все горести
Свои в себе переломлю.
Тебе не уступаю в гордости.
И в верности не уступлю.

Читаю Руставели

Где вы? Явитесь
 поступью ровной
 тигр или витязь
 в шкуре тигровой!
Не за горами –

а за веками.
С детства пленяли
и завлекали.
Только шепну –
явитесь сами...
Снова беру
«Вепхвисткаосани».

Вхожу в Кашветский храм.
Гляжу в святые лица.
Хочу не богу там –
а гению молиться.
Он недоступен мне.
Он далеко. Он близко.
Он ходит по земле –
по улицам тбилиским.

2003, № 1-3

Гурам Шарадзе

«Муза двадцатого века ...»

В октябре 1981 года, находясь в Лондоне в научной командировке, я попытался увидеться с проживающей там нашей соотечественницей Саломеей Андроникашвили (Андрониковой, в замужестве – Гальперн), однако мне это не удалось. Саломея Андроникашвили, к тому времени перешагнувшая через девяностолетний рубеж, была больна, и я не смог поговорить с ней даже по телефону, чтобы сообщить о своем желании повидать ее.

И вот недавно я узнал, что 8 мая 1982 года она умерла в Лондоне в возрасте девяноста четырех лет. Так закончила свои дни вдали от родины одна из самых замечательных наших соотечественниц, которую современники называли «музой двадцатого века».

Саломея Андроникашвили родилась в Тбилиси в 1888 году в семье князя Николоза Андроникашвили.

В начале 900-х годов она переезжает в Петербург. По сообщению одного из ее современников, опубликованному недавно, «Саломея Андроникова была одной из самых известных светских красавиц той эпохи. Она славилась своим умом, обаянием и остроумием». Среди друзей Саломеи Андроникашвили были известные русские поэты – Осип Манделштам, Анна Ахматова, Марина Цветаева, увековечившие ее имя в своих стихах, а также русские художники – К.Петров-Водкин, В. Шухаев, К.Сомов, А.Яковлев, З.Серебрякова, запечатлевшие ее прекрасный облик на полотне. Портрет Саломеи Андроникашвили, выполненный К.Петровым-Водкиным в настоящее время хранится в Третьяковской галерее. Несколько лет назад его прислала в подарок из Лондона сама Саломея Андроникашвили.

В 1916 году Осип Мандельштам посвятил ей замечательный цикл стихотворений «Соломинка». Вот одно из них:

Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью, – что может быть печальней, –
На веки чуткие спустился потолок,

Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей!

В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их – такая тишина!
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.

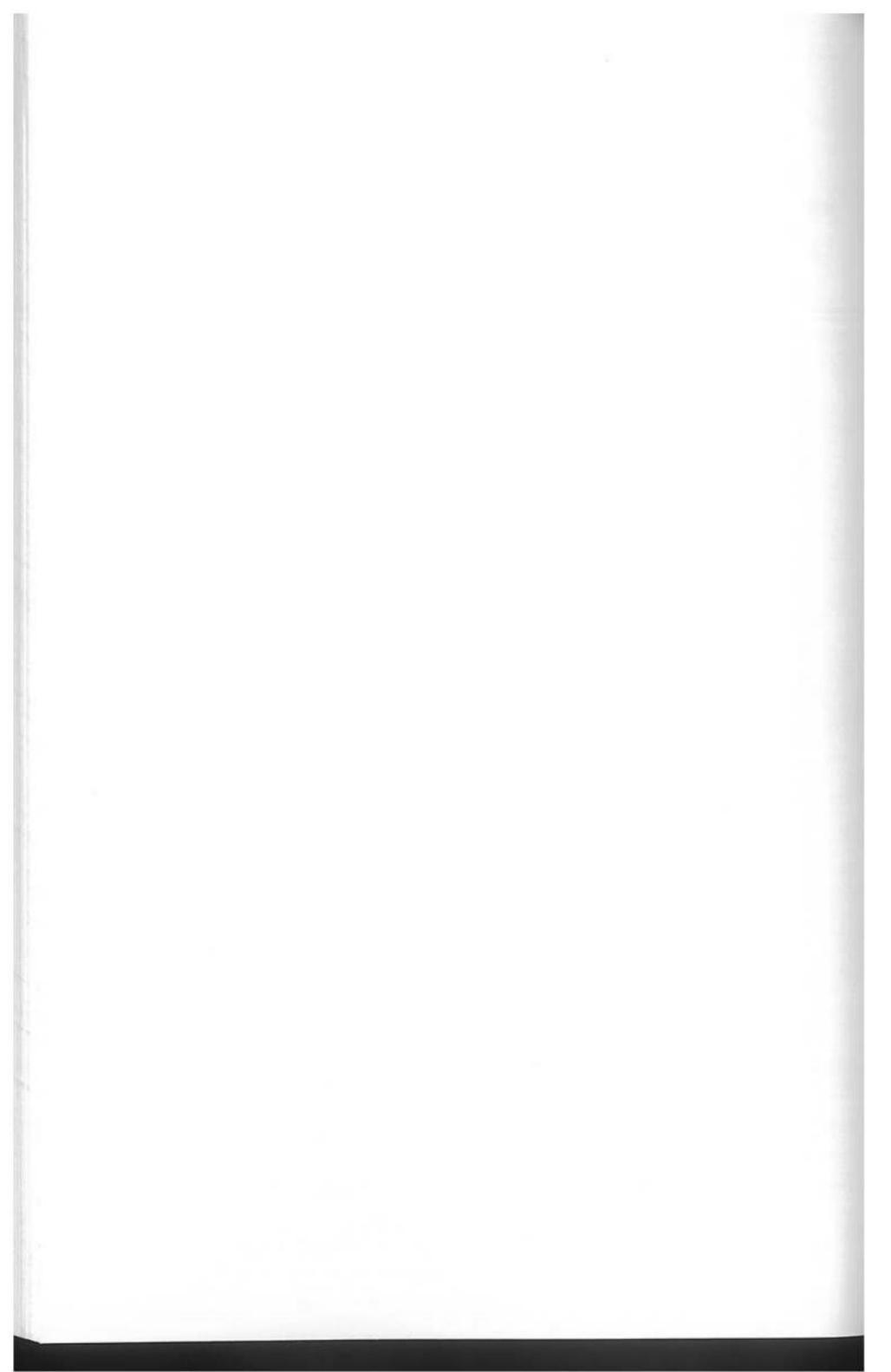
Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате, над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не соломинка – Лигейя, умиранье, –
Я научился вам, блаженные слова...

Если О.Мандельштам сравнивает Саломею Андроникашвили с героинями Эдгара По – Лигейей и Ленор, с бальзаковской Серафитой, а также прибегает к одному из художественных образов В.Хлебникова из его трагической буффонады («Ошибка смерти»), то в другом стихотворении («Мадригал»), написанном в том же году и посвященном нашей соотечественнице, поэт использует



**Зинаида Серебрякова. Портрет Саломей
Николаевны Андрониковой-Гальперн (1924 г.)**



т фамильное предание о происхождении рода Андроникашвили:

— Дочь Андроника Комнена,
 Византийской славы дочь!
 Помоги мне в эту ночь
 Солнце выручить из плена,
 Помоги мне пышность тлена
 Стройной песнью превозмочь,
 Дочь Андроника Комнена,
 Византийской славы дочь!

С 1919 года Саломея Андроникашвили живет в Париже. Как известно, в ноябре 1925 года из Праги в Париж переехала Марина Цветаева с семьей; здесь она прожила более десяти лет. Между ними завязалась тесная дружба. В течение определенного времени Саломея Андроникашвили оказывала терпящей нужду поэтессе материальную поддержку. Этот факт отмечен исследователями жизни и творчества Марины Цветаевой. «С. Н. Андроникова была дружна с Мариной Цветаевой и помогала ей в трудные для поэтессы годы на чужбине», — пишет Г. Васильев.

То же самое утверждает и Анна Саакянц, известный исследователь творчества Марины Цветаевой, которая в комментариях к ее двухтомнику отмечает: «Саломея Николаевна Гальперн (урожд. Андроникова) — знакомая Цветаевой, оказывавшая ей в начале 30-х годов материальную поддержку».

Сохранилось свыше 130 писем Марины Цветаевой к Саломее Андроникашвили. В настоящее время они хранятся в Центральном государственном архиве литературы и искусства, куда несколько лет назад переслала их прежняя владелица. Фрагменты из этих писем щедро использованы Анной Саакянц в упомянутых комментариях, они проливают свет на некоторые вопросы жизни и творчества Марины Цветаевой. А в 1980 году Г. Огрич-Васильев опубликовал сравнительно полный текст письма Марины Цветаевой к Саломее Андроникашвили от 12 августа 1932 года,

которое действительно написано в характерной для Цветаевой экспрессивной манере. Как отмечает исследователь, это скорее стихотворение в прозе, нежели письмо.

Вот отрывок из этого письма: «Дорогая Саломея, видела Вас нынче во сне с такой любовью и такой тоской, с таким безумием любви и тоски, что первая мысль, проснувшись: где же я была все эти годы, раз так могла ее любить (раз, очевидно, так любила) и первое дело, проснувшись – сказать Вам это: и последний сон ночи (снился под утро) и первую мысль утра...

У меня чувство, что я видела во сне Вашу душу. Вы были в белом, просторном, ниспадавшем, струящемся платье, непрерывно создаваемом Вашим телом: телом Вашей души.

Воспоминание о Вас в этом сне, как о водоросли в воде: ее движения. Вы были тихо качаемы каким-то морем, которое меня с Вами рознило. – Событий никаких, знаю одно, что я Вас любила до такого исступления (безмолвного), хотела к Вам до такого самозабвения, что сейчас совсем опустошена (переполнена).

Куда со всем этим? К Вам, ибо ни когда не поверю, что во сне ошибаются, что сон ошибается, что я во сне могу ошибиться... Мой любимый вид общения – сон. Сон – это я на полной свободе, тот воздух, который мне необходим, чтоб дышать. Моя погода, мое освещение, мой час суток, мое время года, моя широта и долгота. Только в нем я – я. Остальное – случайность...

Милая Саломея, письмо не кончается... И даже когда кончится – как нынешний сон и сейчас, гроза, – внутри не кончится – долго. Я все буду ходить и говорить Вам – все то же бесполезное, беспоследственное, беспомощное, божественное слово.

Милая Саломея, лучше не отвечайте. Что на это можно ответить? Ведь это не вопрос – и не просьба – просто лоскут неба любви. Даю Вам его – в ответ на все, целое, которое в том (уже – том!) сне дали мне – Вы».

Марина Цветаева упоминает о Саломее Андроникашвили и в своих известных воспоминаниях об Осипе Мандельштаме – «Истории одного посвящения», где пишет: «...стихи же «Соло-

инка» и ряд последующих /посвящены/ Саломее Николаевне Альперн, рожденной кн. Андрониковой, ныне здравствующей в Париже...»

Узы дружбы связывали Саломею Андроникашвили с Иваном Буниным и Ильей Эренбургом, а Анна Ахматова в стихотворении «Тень», написанном в 1940 году, обессмертила имя своей старой подруги:

«Что знает женщина одна
о смертном часе?»

О. Мандельштам

Всегда нарядней всех, всех розовой и выше,
Зачем всплываешь ты со дна погибших лет
И память хищная передо мной колышет
Прозрачный профиль твой за стеклами карет?
Как спорили тогда – ты ангел или птица!
Соломинкой тебя назвал поэт.
Равно на всех сквозь черные ресницы
Дарьяльских глаз струился нежный свет.
О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя – красавицу тринадцатого года –
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили... А мне такого рода
Воспоминая не к лицу. О тень!

В 1945 году Саломея Андроникашвили переехала из Парижа в Лондон, где и жила до самой смерти. Весной 1965 года после почти полувековой разлуки она вновь встретилась с Анной Ахматовой, приглашенной в Англию в качестве почетного доктора Оксфордского университета.

По недавно опубликованному свидетельству одного современника, бывшего очевидцем этой встречи, «перед отъездом С. Н. Андроникова прислала в подарок Анне Андреевне чудесную

черную шаль венецианских кружев. Через год с небольшим эта самая шаль была накинута на ее красивые седые волосы, когда она гордая, царственная лежала в гробу».

У Саломеи Андроникашвили был интересный личный архив и коллекция произведений искусства, часть которых (рисунок К.Петрова-Водкина и свыше 130 писем Марины Цветаевой) подарена ею Третьяковской галерее и Центральному государственному архиву литературы и искусства.

А прибывший из Лондона Никита Лобанов-Ростовский согласно завещанию Саломеи Андроникашвили передал в дар Государственному музею искусств Грузии «Портрет Саломеи Андрониковой-Гальперн» работы Зинаиды Серебряковой. Надо отметить, что большая заслуга в этом принадлежит ныне покойному Папуне Церетели, известному коллекционеру и деятелю грузинской культуры. Кто знает, сколько еще материалов, представляющих интерес для нашей культуры, осталось в ее архиве!

1983

Перевод с грузинского

2003, № 1-3

*Акакий Гацерелиа***Анна Ахматова**

Древняя Греция явила миру королеву эолийской лирики Сафо – город Митилены чеканил монеты с ее изображением. (Одна такая монета хранится в Бонне). Во второй раз, и совершенно заслуженно, лик поэта-женщины был высечен несколько лет назад на медальоне, украшающем Оксфордский университет. Это – лик королевы мировой поэзии XX века Анны Ахматовой.

Модные школы и течения в литературе умирают, рамки, в которые заключают того или иного талантливого творца, изнашиваются и предаются забвению. Анна Ахматова с точки зрения своего общего поэтического абриса по существу не принадлежала ни к одной школе. Сегодня уже очевиден тот факт, что она занимала нейтральную позицию между символистами и акмеистами, хотя организационно принадлежала к последним.

Рождение великого поэта всегда отмечено, с одной стороны, освещением и разворачиванием той или иной темы или тем (пусть и избитых) под новым углом и, с другой, органическим слиянием с неожиданной, противостоящей утверждению в поэзии автоматизму интонацией, что венчается глубиной художественного мышления и созвучностью творца всей эпохе.

Эту сложнейшую задачу автор «Anno Domini» решила с невиданной дотоле легкостью, впрочем ее необычный лаконизм с самого начала был отмечен глубоким внутренним драматизмом.

Первоначальная поэтическая маска Анны Ахматовой – образ глубоко любящей женщины. Известно, что это чувство в основном воспевали мужчины (гении, таланты и плеяда менее одаренных поэтов). Не будем ссылаться на поэтов-гедонистов античной эпохи (например, Анакреонта, Горация, Овидия, Катул-

ла...), достаточно вспомнить великих европейских, русских и грузинских лириков – Данте, Петрарку, Ронсара, Пушкина, Тютчева, Бараташвили. И скольких еще можно перечислить! Выходит так, что выражение этого высочайшего человеческого чувства составляло в основном прерогативу мужчин. Анна Ахматова внесла в поэзию нашего века в этом смысле резкий диссонанс (я апеллирую в масштабах, соответствующих героине данной статьи). Сама Анна Ахматова сказала об этом изумительно точно, впрочем не без юмора:

Могла ли Биче словно Дант творить,
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить,
Но, боже, как их замолчать заставить?

Анна Ахматова имела полное право шутить подобным образом.

* * *

Поиск автобиографических элементов в лирике Анны Ахматовой в каждом отдельном случае наталкивается на определенные трудности. Движения души поэта-женщины даются во множестве конкретных перипетий. При этом – никакого демонизма или сатанизма в связи с развертыванием темы, что четко отделяет ее поэзию от символистских традиций.

Влюбленная в Петроград и Царское Село женщина сидит обычно в кафе с каким-нибудь молодым человеком, и вдруг Ахматова передает какой-то нюанс внешности, манеры или одежды своего визави, связанный с ее духовным настроем. Интимное переживание героини-автора казалось бы висит на волоске, её художественная вибрация постоянно неустойчива или прерывиста, но всегда конкретна и почти осязаема.

Тема, на которую акмеисты наложили запрет, а символисты потопили в анемичном словесном потоке, у Анны Ахматовой

наряду с пластической четкостью обретает трагическое звучание. После лирики Бодлера мы не знаем такого превосходного поэтического симбиоза подобных моментов. В этом случае Анна Ахматова близка разве что только Блоку.

И все это передается с помощью стиха-фрагмента. Два примера из книги «Четки»:

Было душно от жгучего света,
 А взгляды его – как лучи.
 Я только вздрогнула: этот
 Может меня приручить.
 Наклонился – он что-то скажет...
 От лица отхлынула кровь.
 Пусть камнем нагрудным ляжет
 На жизни моей любовь.

В другом стихотворении «проклятую» грудь юноши украшает гвоздика или тюльпан:

Не любишь, не хочешь смотреть?
 О, как ты красив, проклятый!
 И я не смогу взлететь,
 А с детства была крылатой.
 Мне очи застит туман,
 Сливаются вещи и лица,
 И только красный тюльпан,
 Тюльпан у тебя в петлице.

Суживание темы от абстрактного к конкретному, осязаемому – своеобразие лирики Анны Ахматовой. Однако, несмотря на своеобразную будуарную романтику, рядом с вазой с цветами мы видим Библию, придающую серьезность и солидность отраженной в стихе интимной атмосфере. Поэтому камерность лирики Анны Ахматовой – кажущаяся, о чем упорно и настойчиво

писали не только противники, но и влюбленные в ее поэзию исследователи (имею в виду монографии об Ахматовой Б. Эйхенбаума, В.Виноградова, Э.Голлербаха).

Лирический голос Анны Ахматовой, на первый слух звучащий пиано даже в ранних ее сборниках («Вечер», «Четки», «Anno Domini» и др.) достигает глубины хорала. Вспомним ее патриотическую «Молитву» из книги «Белая стая», датированную 1915 годом:

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молось за твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

Анна Ахматова не мыслила жизни вне своей родины. В 1917 году было опубликовано ее стихотворение без заглавия, явившееся достойным ответом тем, кто призывал ее в ряды эмигрантов:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда.
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд.
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Из этого стихотворения ясно видно, что Анна Ахматова была не только великим поэтом, но и великим человеком.

* * *

Было бы ошибкой не увидеть и иные мотивы в лирике Анны Ахматовой. С точки зрения эмоциональной «полифоничности» ее поэзия приближается к искусству фуги. Прежде всего это проявляется в ахматовском понимании вдохновения, в котором она слышит диктовку Данте. Обладая колоссальной поэтической культурой (Анна Ахматова прекрасно владела несколькими иностранными языками, была великолепным переводчиком, первоклассным исследователем-пушкинистом и пр.), она так обращалась к музе:

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске,
Что почести, что юность, что свобода,
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

Порой Анна Ахматова пренебрегает и рифмой, что никак не отражается на гранитной твердости ее стиха. Вот первые девять строчек ее стихотворения «Вроде монолога», с редкой поэтической силой рисующего налет безнадежности и чувство социальной неприютности:

Так вот он – тот осенний пейзаж.
Которого я так боялась.
И небо, как пылающая бездна,
И звуки города, как с того света
Услышанные, чуждые навеки...

Как будто все, с чем я внутри себя
 Года боролась – получило жизнь
 Отдельную и воплотилось в эти
 Слепые стены, в этот черный сад...

.....

Анна Ахматова считала своим учителем Иннокентия Анненского, известного русского поэта, автора замечательного сборника стихов «Кипарисовый ларец», который произвел на Ахматову глубокое впечатление (между прочим, Анненский был и выдающимся эллинистом, он перевел и издал по-русски сочинения Еврипида в трех томах). В стихотворении, посвященном его памяти, мотив одиночества творца звучит драматически:

А тот, кого учителем считаю,
 Как тень прошел и тени не оставил.
 Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
 И славы ждал и славы не дождался, –
 Кто был предвестьем, предзнаменованием,
 Всех пожалел, во всех вдохнул томление –
 И задохнулся...

Приведу еще два примера. Финал первого вместе с исповедью автора передает нам ощущение развеивания иллюзий и заканчивается репликой божественной силы:

Одни глядятся в ласковые взоры,
 Другие пьют до солнечных лучей,
 А я всю ночь веду переговоры
 С неукротимой совестью своей.
 Я говорю: «Твое несу я бремя,
 Тяжелое, ты знаешь, сколько лет».
 Но для нее не существует время
 И для нее пространства в мире нет.

.....

А надо мной спокойный и двурогий
Стоит свидетель... О туда, туда,
По древней подкапризовой дороге,
Где лебеди и мертвая вода.

Это стихотворение написано в 1936 году. Так что мысль о том, что камерность – доминирующий момент лирики Анны Ахматовой, повторяю, лишена всякого основания.

И второе стихотворение, в котором голос поэта достигает шекспировских высот:

И всюду клевета сопутствовала мне,
Ее ползучий шаг я слышала во сне
И в мертвом городе, под беспощадным небом,
Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.
И отблески ее горят во всех глазах,
То как предательство, то как невинный страх.
Я не боюсь ее. На каждый вызов новый
Есть у меня ответ, достойный и суровый.
Но неизбежный день уже предвижу я, –
На утренней заре придут ко мне друзья,
И мой сладчайший сон рыданьем потревожат,
И образок на грудь остывшую положат.
Никем не знаема, тогда она войдет,
В моей крови ее неуголенный рот
Считать не устает небывшие обиды,
Вплетая голос свой в моленья панихиды,
И станет внятн всем ее постыдный бред,
Чтоб на соседа глаз не мог поднять сосед.
Чтоб в страшной пустоте мое осталось тело,
Чтобы в последний раз душа моя горела
Земным бессилием, летя в рассветной мгле,
И дикой жалостью к оставленной земле.

Читая этот монолог чувствуешь, как кровь стынет в жилах. Кажется, близится песчаный ураган. Мне трудно привести примеры литературной аналогии. В лирике Тютчева подобная тема формулируется либо в медитации, либо полностью обнажена и требует от читателя мгновенной реакции. За монологом Ахматовой казалось бы ничего не колышется, но покой этот кажущийся. «Перед нами раскрывается тихий, серьезный мир, пустынный, замерший, бесцветный, мрачный, недвижимый. Он не радуется и не развлекает. И тем не менее, вы не можете оторваться от темы», — писал Альберт Швейцер о последнем великом сочинении Баха «Искусство фуги» (Альберт Швейцер, «Иоганн Себастьян Бах», 1965, стр. 316).

Это высказывание полностью соответствует тем стихам Анны Ахматовой, в которых аналогичные лейтмотивы поднимают завесу над жуткой тишиной.

О туда, туда,
По древней подкапризовой дороге,
Где лебеди и мертвая вода!

* * *

Чего уж скрывать — Анна Ахматова с величайшей поэтической силой выразила свои душевные кризисы. Но круг всегда замыкается. Она осталась со своим народом и в радости, и в беде:

Нет, и не под чуждым небосводом
И не под защитой чуждых крыл, —
Я была тогда с моим народом
Там, где мой народ, к несчастью, был.

Во время Великой Отечественной войны Анна Ахматова вновь возвысилась до уровня, обессмертившего её имя, патриотического сознания. Из шедевров, созданных в этот период, отметим самое характерное стихотворение «Мужество» (1942), когда враг еще не был распят на смертном одре:

Мы знаем, что ныне лежит на весах
 И что совершается ныне.
 Час мужества пробил на наших часах
 И мужество нас не покинет.
 Не страшно под пулями мертвыми лечь,
 Не горько остаться без крова, —
 И мы сохраним тебя, русская речь,
 Великое русское слово.
 Свободным и чистым тебя пронесем
 И внукам дадим, и от плена спасем
 Навеки!

Анна Ахматова – выдающееся явление в мировой поэзии. Я победила собственную судьбу, – говорила она на закате своих дней. В декабре 1964 года ей присудили первую международную премию «Этна Таормина» (Италия). В тот же месяц того же года Оксфордский университет присвоил ей почетную степень доктора философии.

Анна Ахматова скончалась в марте 1966 года. Замечательный русский писатель Константин Паустовский, прощаясь с ней, сказал удивительно верные слова: «Властительница поэзии, прекрасная женщина и мужественная наша современница – эти слова целиком относятся к Анне Андреевне Ахматовой. Анна Ахматова – целая эпоха в поэзии нашей страны, она спутница нескольких поколений. Я счастлив, что жил в одно время с ней...» («Литературная газета», 1966, N29).

И автор этого этюда принадлежит к поколению, которое с любовью до конца своих дней будет хранить в своем сердце поэтический медальон Анны Ахматовой.

1967 год

Перевод Лианы Татишвили

2003, № 1-3

*Татьяна Никольская***«Блокадная тетрадь» Тамары Кипиани**

В 2003 г. журнал «Литературная Грузия» издал воспоминания Тамары Кипиани «Блокадная тетрадь». Прежде чем рассказать об этой книге и ее авторе, мне бы хотелось напомнить о роли, которую на протяжении нескольких десятилетий играет «Литературная Грузия» в развитии русско-грузинских литературных и культурных связей. Журнал был основан в 1957 г. и занимал, насколько это было возможно, последовательно либеральную позицию. На его страницах часто печатались произведения – стихи, статьи, мемуары – «не проходившие» по цензурным соображениям в московских и ленинградских журналах, в частности неизвестные ранее стихи поэтов «серебряного века», творчество которых было тесно связано с Петербургом – Петроградом – Ленинградом. Так, например, еще в 1967 г. в «Литературной Грузии» (№ 2) были впервые опубликованы стихи О.Мандельштама 1930-х гг., в 1971 (№ 8) – неизвестные ранее стихотворения М.Кузмина, в 1979 (№ 7) – стихи из архива А.Ахматовой, в 1985 (№ 11) – стихи переводчика грузинской поэзии Б.Лившица, а в 1988 (№ 1) – стихи из альбома ученика тбилисской гимназии Н.Гумилева. Один из публикаторов – ленинградский ученый В.Петрановский специально поехал в Тбилиси, где «пристроил» гумилевские стихи, охотно принятые редакцией. В 1970-х – начале 1980-х гг. литературовед Г.Маргвелашвили помещал на страницах «Литературной Грузии» подборку под общим заглавием «Свидетельствует вещий знак», в которой публиковались стихи современных русских поэтов, писавших о Грузии, в частности ленинградцев А.Кушнера, Е.Рейна, Н.Соколовской. Из статей грузинских ученых назову работу Л.Авалиани о литературном турне Ф.Сологуба и И.Северянина по Грузии в 1913 г. (1981, №3) и Н.Элизбарашвили о И.Зданевиче (1981, № 8). Из многочислен-

ной мемуарной литературы, связанной с питерскими писателями, побывавшими в Грузии, упомяну воспоминания замечательного грузинского ученого, с которым мне посчастливилось неоднократно встречаться, А.Гацерелия о Ю.Тынянове – («Литературная Грузия», 1975, № 12, 1976, № 1) и главы из мемуарной книги вдовы поэта Т.Табидзе – Нины Табидзе, рассказывающие о встречах с Ю.Тыняновым, А.Толстым, Н.Заболоцким (1984, № 5, 6).

В годы перестройки на страницах «Литературной Грузии» стали публиковаться произведения забытых и запрещенных при советской власти грузинских писателей, например, одного из крупнейших грузинских прозаиков и эссеистов XX в. Гр.Робакидзе, тесно связанного с петербургской культурой. Так в 1988 г. были опубликованы главы из написанной Гр.Робакидзе в 1919 г. на русском языке книги «Портреты», содержащие эссе о В.Розанове, М.Лермонтове, А.Белом, статья Робакидзе о Ф. Достоевском, написанная к 100-летию со дня рождения писателя, и эссе о Петербурге «Фантастический город». В связи с трагическими событиями 9 апреля 1989 г. в «Литературной Грузии» (1990, № 5-7) было опубликовано заключение Комиссии Съезда народных депутатов СССР под председательством А.Собчака, память которого в Грузии высоко чтут. К 300-летию Санкт-Петербурга именем первого мэра северной столицы в Тбилиси назвали улицу и открыли памятник ему в парке им. 9 апреля.

За время существования журнала его редакторами были К.Лордкипанидзе, М.Мревлишвили, Г.Цицишвили, Г.Асатиани, Т.Буачидзе, Р.Миминошвили. В настоящее время журнал возглавляет З.Абзианидзе. Известно, что экономическое положение в Грузии крайне тяжелое, поэтому журнал выходит далеко не каждый месяц тиражом в 300-400 экземпляров. Тем ценнее, что к 300-летию Петербурга был выпущен специальный номер (2003 г., № 1-3) объемом в 409 страниц. В этом выпуске опубликованы многочисленные материалы о жизни грузинской колонии в Петербурге в прошлом и настоящем, статьи об А.Ахматовой – А.Гацерелия, Д.С.Лихачеве – Р. Сирадзе, И.Бродском – И.Кули-

шовой. Особо хочется отметить работы о восприятии Петербурга грузинскими писателями и поэтами – «Петербург глазами грузинских мемуаристов» Д.Менабде и «Петербург в грузинском отражении» И.Кенчошвили, в которых дается различная трактовка мифа города. Мемуарный раздел представлен воспоминаниями Г.Торадзе о И.Соллертинском, М. Тоидзе о И.Репине, о Г.Товстоногове рассказывают его ученики – режиссеры Г.Лордкипанидзе и С. Мревлишвили. Особо хочется отметить воспоминания ученика Н.Я.Марра И.Мегрелидзе, учившегося в Ленинграде в начале тридцатых годов, из которых мы узнаем, что в 1931 г. в Ленинградском доме писателей была открыта секция грузинской литературы, которая проводила вечера грузинской поэзии, устраивала лекции о грузинской литературе, встречи с грузинскими писателями – Т. Табидзе, В.Гаприндашвили, Г.Табидзе, М.Джавахишвили, П.Иашвили, С.Чиковани, И.Гришашвили. В посвященном юбилею Петербурга журнале можно прочесть стихи Галактиона и Тициана Табидзе о городе на Неве, А.Кушнера, Н.Сokolовской, И.Сергеевой о Грузии. С ленинградской блокадой связан сюжет автобиографического рассказа Г.Цицишвили «Дольше всего живет надежда». Герой произведения – молодой военный пробирается в блокадный Ленинград, чтобы помочь женщине, которая была его первой любовью. В опустошенном морозном городе, обезображенном артобстрелами, он находит дом и квартиру своей возлюбленной и не узнает ее обитательницу, молодую красивую женщину, превратившуюся в дряхлую старуху. Для тех, кто не знаком с воспоминаниями блокадников, такая метаморфоза может показаться художественным вымыслом. Однако схожую историю описывает в «Блокадной тетради» Т.Кипиани. Оставшись одна в квартире родственницы, она зашла в пустую комнату и «заметила какую-то иссохшую, пожелтевшую женщину, укутанную в серую шаль. Я ее не узнала, но поздоровалась, она тоже кивнула мне в ответ. Присмотревшись к ней, вижу что-то знакомое, и мы направились друг к другу. Оказалось, это зеркало, и я вижу свое отражение. Ведь я давно не заглядывала в

зеркало, сознательно избегая его всюду. Я зажмурилась и быстро ушла из этой комнаты» (с.78). Автор «Блокадной тетради» Тамара Кипиани (1908-1978) родилась в грузинском селе Цнори, училась в Кутаиси и Тбилиси, затем для продолжения образования приехала в конце 1930-х в Ленинград и поступила в Педагогический институт иностранных языков. На последних курсах Тамара совмещала учебу на отделении немецкой филологии с работой в Институте востоковедения АН СССР, где заведовала кавказскими фондами. Ее коллегами были востоковеды Варлам Дариспанович Дондуа, который перевел на русский язык книгу царевича Иоанна Багратиони «Калмасоба» и хронику «Жизнь царицы цариц Тамар», Борис Тихонович Руденко, автор первой, написанной на русском языке, академической «Грамматики грузинского языка», секретарь кавказского кабинета азербайджанский историк Абдулкерим Али-заде. Просто и бесхитростно Тамара Кипиани рассказывает, как изменилась жизнь города, Института востоковедения и ее собственная с первых дней войны. В начале августа 1941 г. она вместе с другими сотрудниками научных учреждений Васильевского острова была вывезена под Новгород на оборонные работы, где ученые, многие из которых до этого не держали лопаты в руках, копали траншеи и на время оказались отрезанными от Ленинграда. Вспоминает о дежурствах на крыше Библиотеки Академии наук, где тогда помещался Институт востоковедения, о наступившем после введения карточной системы голоде, неудавшейся попытке эвакуации. Во время одной из стоянок парохода – они эвакуировались по водному, еще открытому в первые месяцы войны пути – муж настоял на возвращении в Ленинград. Они добрались до Шлиссельбурга, попали там под обстрел, а затем на последнем вошедшем в город поезде вернулись. Началась блокада. Тамара с мужем жили у Московского вокзала и поэтому боялись ночевать дома, уходили на ночь к друзьям, жившим в более безопасных районах города. Однажды ночевали у зоопарка в квартире литовских друзей, супругов Аудзе. Именно в эту ночь бомба попала в зоопарк, но

дом, где жили Аудзе, чудом уцелел. В блокадной обстановке Тамара и ее муж Валентин не только, пока хватало сил, работали, но и сдали госэкзамены. По случаю получения дипломов супруги разломали свой последний стул на дрова, сварили суп из картофельных очисток, подаренных Тамаре Б.Руденко, и таким образом отметили окончание учебы.

В воспоминаниях Т.Кипиани много выпуклых деталей, живых штрихов, зарисовок. К примеру, она вспоминает встречу на пароходе бывшую балерину Марию Карловну Андерсен, которая на фоне испуганных войной пассажиров выглядела как инопланетянка. Она раскладывала на полу свои фотографии в ролях, «объясняла женщинам, где и когда снято то или иное фото. Помню один ее снимок в роли Кошечки в «Спящей красавице» П.Чайковского. Мария Карловна говорила, что Петру Ильичу она очень нравилась, и роль Кошечки он написал специально для нее. На фотографии рукой композитора было написано: «Моей кошечке – Чайковский». Не обращая внимания на опасность и царивший вокруг ужас, Мария Карловна, сидя на полу перед уборной, с обычной для нее увлеченностью весело болтала о днях своей молодости, подтверждая свои рассказы вырезками из газет, восхваляющими ее мастерство (с.26). А вот другой эпизод: «Пришла я на работу, заглянула в книгохранилище. Вижу, профессор Варлам Дондуа укладывает книги в ящик.

– Что это за книги, Варлам Дариспанович? – спрашиваю я его.

– Мои собственные. Все, что было ценного в моей библиотеке, я принес сюда. Уложу их в ящики и вместе с раритетами этой библиотеки снесу в подвал. Может, мы не выживем, а вот грядущие поколения найдут и используют эти книги.

– Если есть возможность, разрешите и мне принести двести книг, они у меня тут, в кабинете, – попросила я и быстро сбегала за «Витязем в тигровой шкуре» и русско-грузинским словарем в издании Н.Чубинашвили» (с.43). Интересно, что эти книги уцелели и были возвращены Тамаре через двадцать лет после

окончания войны, в то время как оставшиеся дома пришлось использовать на растопку печки. Т.Кипиани приводит и такую деталь блокадного быта: «Вдруг нас догнала машина с белым полотнищем на боку, на котором огромными красными буквами было выведено «Взрыв». За машиной тянулась прицепленная к ней маленькая тележка на резиновых колесах, а на ней лежала не взорвавшаяся фашистская бомба замедленного действия. Ее везут за город, чтобы взорвать где-нибудь на пустыре. Никто не знает, когда она взорвется и слово «Взрыв» предупреждает прохожих об опасности» (с.34-35).

Муж Тамары Валентин Стеблин не пережил первой блокадной зимы и погиб у нее на руках в начале 1942 г. На краю гибели от голода была и она. Спасение пришло от семьи Аудзе. Христофор Петрович Аудзе работал врачом в госпитале. Тамару взяли на освободившееся место санитарки. Организм женщины был настолько ослаблен, что она с трудом справлялась с работой и вскоре слегла. В критический момент жена Христофора Петровича – Домицилия Адамовна достала ей мяса и, как считает Тамара, именно это спасло ей жизнь. Впоследствии она узнала, что это было мясо любимой кошки Домицилии. В марте 1942 г. Тамаре удалось вместе с сотрудниками Института иностранных языков выбраться по Дороге жизни из осажденного города. Через Алма-Ату она вернулась на родину, в Грузию. Тамара настолько изменилась внешне, что родная сестра в первый момент ее не узнала и приняла за нищенку.

Блокадные воспоминания Т.Кипиани написала в 1968 г. Побудил ее к этому В.Дондуа, который также остался жив. Однако Т.Кипиани не делала попыток опубликовать свои мемуары. Более того, она скрывала написанное даже от своих детей. Только через несколько лет после ее смерти дети – Нана и Шио Васадзе нашли эту тетрадь, написанную почти без правки, неразборчивым почерком, в бумагах матери.

В предисловии к «Блокадной тетради», изданной к 300-летию со дня основания Санкт-Петербурга, редактор книги З.Аб-

зианидзе пишет: «Воспоминания Тамары Кипиани завладевают нами не только потому, что она описывает леденящие душу картины Ленинградской блокады, но потому, что благодаря своему литературному дару она живо воссоздала характерные портреты попавших в смертельный капкан людей (...) Все они увиденны сквозь призму трагического – видимо, самую верную и беспощадную в своей правдивости (...) Сама биография Тамары Кипиани и с редкой достоверностью воссозданная ею картина тяжелейшего испытания, какое только может выпасть на долю человека, сегодня в пору обесценения извечных человеческих ценностей, в пору ожесточения отношений – и между людьми, и между народами – более чем своевременна...»

2007 г.

Александр Эбаноидзе

Ограбление по-грузински

Памяти Шота Нишnianидзе

Несколько лет назад меня ограбили – ранним вечером, в Москве, на одном из главных ее проспектов. Ординарнейшее по нынешним временам событие не заслуживало бы упоминания, если б не некоторые подробности. Они оказались столь необычны, что вот уже который год я с удовольствием (и успехом) потчую ими слушателей. В сущности, по их настоянию и записываю свой рассказ.

Итак, событие преступления имело место четвертого декабря 1997 года, около девятнадцати часов, на Ленинском проспекте, примерно в полукилometре от Дома мебели – если ехать из Внукова. Однако, приступая к его описанию, я чувствую потребность отступить вспять еще часа на три.

...Я возвращался в Москву после затянувшейся поездки по Закавказью. Две недели сложились на редкость удачно. Стояла прекрасная погода, почти летняя теплынь, редкая в конце ноября даже на юге. Мне довелось пообщаться с коллегами, внушавшими профессиональную и человеческую симпатию; удалось кое-что сделать для журнала, который незадолго до того возглавил и каким-то, загадочным даже для меня, образом вытаскил из кризиса... Деталей было много, все они заслуживают воспроизведения, но не в этом сюжете. Здесь я буду конспективен.

В Ереване мы полдня провели с Грантом Матевосяном и Леоном Мкртчяном в летнем ресторане на горке, в зеленой выгородке из слабо пахнущей подстриженной туи – перед едой мои сотрапезники (или собутыльники?) ополоснули руки водкой «Северное сияние», и я с удовольствием перенял этот жест, немислимый в Москве... В Баку мы провели чудесный вечер на

даче у Максуда Ибрагимбекова, стоящей на берегу Каспия в окружении экзотических деревьев, напоминавших картины Гогена... А в Тбилиси мне удалось получить аудиенцию у президента Шеварднадзе, и хотя встреча состоялась поздно вечером, после рабочего дня, он уделил мне целый час и был полон энергии и легкого гурийского обаяния...

В тбилисских редакциях и издательствах я повидал литераторов-земляков, захваченных, озабоченных или удрученных происходящими событиями. Среди них был Шота Нишнианидзе – блестящий поэт, равно органичный как в выражении эпической мощи, так и утонченного лиризма. Пожалуй, Шота относился к числу удрученных происходящим и откровенно делился со мной тревогами. Запомнилось его горестное признание: «Я часто вспоминаю, как нас возмутили слова Валентина Распутина на писательском съезде о том, что грузинская нация больна. А сегодня, глядя на происходящее, порой думаю, что, может быть, этот проницательный человек со стороны видел больше нашего...» В день отъезда по моему настоянию Шота передал мне доверенность на получение гонораров за стихи, опубликованные в «Литературке» и в «Дружбе народов» – обстоятельство, сыгравшее впоследствии решающую роль...

Удачи закавказского турне продолжились в аэропорту: подходя к самолету, я увидел у трапа Колю Пшенецкого. Кроме земляческой приязни, в Москве нас связывал тот самый журнал, который мне удалось спасти: некогда Коля работал в нем художником, ему, в частности, принадлежит логотип «Дружбы народов», похожий на китайский иероглиф, изображающий двух нахохленных ворон.

Колю привели в Тбилиси печальные обстоятельства – кончина матери. Распродав и раздарив оставшееся добро (в том числе квартиру), он возвращался в Москву. Коля был возбужден и взволнован пережитым, к тому же, кажется, под хмельком. В самолете сели рядом. В кресле у иллюминатора уже сидел симпатичный грузин лет сорока пяти, назвавшийся, если не оши-

баюсь, Дмитрием, как выяснилось впоследствии, директор одной из московских кондитерских фабрик.

Едва самолет набрал высоту, Коля подозвал стюардессу, попросил принести коньяк и предложил нам выпить за родителей – помянуть усопших, пожелать долголетия здравствующим... Его хрипловатый басок звучал проникновенно. Мы соприкоснулись пластмассовыми стаканчиками, выпили. Коньяк был превосходный – мягкий, душистый «Греми». У Дмитрия, самого молодого из нас, родители оказались живы; наклонясь к нему, Коля долго объяснял, как он должен ценить такое счастье и ни в коем случае, никогда не обижать стариков... – при этом его глаза блестели от слез.

Погодя он опять подозвал стюардессу и попросил еще коньяка. Мы выпили по второй. Потом по третьей... Коля заметно успокоился. Он говорил так же много и проникновенно, но уже без слез. Его рокочущий бас, гармонично сочетающийся с хорошим коньяком, создавал уют. Есть такая категория людей, довольно редкий человеческий тип – точнее всего он воспроизведен в диккенсовском мистере Пиквике; для создания уюта им не нужен ни каляян с диваном, ни кузнецовский фарфор, достаточно физического присутствия. Таких людей, как Коля Пшенецкий, я советовал бы вербовать в трудные экспедиции, в Заполярье, на дрейфующие льдины – с ними даже сложное из снежных блоков зимовье покажется обжитым и славным домом... Насколько же славным сделался для нас лайнер, наполненный ровным гулом двигателей и благодушным посапыванием вентиляторов!..

Когда, не дождавшись стюардессы (похоже, она уклонялась от очередного заказа), Коля отправился на ее поиски, Дмитрий удивленно полюбопытствовал, что за человек так щедро потчует нас дорогим коньяком, – преуспевающий бизнесмен, или...

– Он художник, – ответил я. – Книжный график, – и почему-то пояснил, – из кавказских поляков, – словно происхождение должно было объяснить поведение Пшенецкого.

– Из поляков?! – удивился Дмитрий. – Да таких теперь и грузин-то не осталось!..

Коля вернулся с бутылочками «Греми», распиханными по карманам. Отвинтив крышечки, разлил по стаканам.

– Я вас прошу! – взмолился Дмитрий. – Вы ставите меня в неловкое положение. Я сижу тут затиснутый между креслами и даже не могу выбраться, чтобы ответить вам тем же... Пожалуйста, не надо больше!

– Хорошо, – согласился Коля. – Выпьем за мягкую посадку и все...

В аэропорту меня встретил шофер редакционной машины Рустам Галеев, Дмитрия – сотрудник его фабрики, элегантный молодой человек. Погрустневший и озабоченный Коля Пшенецкий сказал, что ему придется ждать багажа и пошел к месту выдачи, а Дмитрий, которому наконец-то представилась возможность отблагодарить широкого попутчика, сообщил своему сотруднику, что они непременно должны подвезти до дома «хорошего человека». (Впоследствии Коля рассказал мне, что через неделю после возвращения в Москву, Дмитрий заявился к нему с роскошным тортом, специально изготовленным на его фабрике.) У меня была только ручная кладь – чемодан и портфель; после слов Дмитрия я решил, что могу не дожидаться своего приятеля и направился к выходу. Угрызения совести по поводу того, что оставляю Колю на чужое попечение, вязали по ногам, но я все-таки сел в машину...

Мы резво катили по Внуковскому шоссе, покрытому расшлепанной крупчатой жижей. Падал редкий водянистый снег. Рустам рассказывал редакционные новости. Миновали МКАД и развилку с проспектом Вернадского, в ту пору еще не реконструированную. Машин на трассе было мало, ничто не мешало дорожной беседе, приправленной анекдотами «от Рустама». Примерно около «Дома туриста» нас стал обходить черный «Рейндж Ровер», агрессивно-мрачный, как новорусский пахан в трауре по убитому корешу. Едва обогнав, он вдруг вильнул вправо и сбавил ско-

рость. Рустам ударил по тормозам, но поздно – мы уже подчинились не правилам дорожного движения, а законам физики. В результате наша хрупкая светлая «Волга» врезалась в зад мощному, как танк, черному «Рейндж Роверу». Я чуть не вышиб лбом ветровое стекло и сквозь звон в ушах подумал: «Это мне за брошенного Колю!..»

К нашему удивлению черный «Рейндж Ровер», который мог преспокойно катить дальше – наш удар был для него не чувствительней шлепка – въехал на пустырь и стал, виновато притушив фары. Подойдя к нему, мы увидели за рулем то ли напуганного, то ли очень смущенного человека.

– Как ты едешь! – грозно начал Рустам. – Ты что, второй день за рулем?!

– Виноват...

– Ясно, что виноват, но как нам дальше быть? – не ослаблял напора Рустам. – Может, ГАИ позвать? – в отдалении у тротуара маячила милицейская машина.

– Нет, нет, не надо никого звать! – торопливо ответил хозяин «Рейндж Ровера». – Я виноват и все оплачу... Сколько скажете... Здесь недалеко моя фирма... Поедемте и я заплачу, сколько скажете...

Скорее всего странный фирмач был под «кайфом» – такой пришибленный и рассеянно-отсутствующий у него был вид; единственное, что цепко держало сознание, это нежелательность встречи с законом.

Осмотрев разбитую «Волгу», Рустам назвал кругленькую сумму, которая была принята без обсуждения, и они уехали.

Я походил вокруг изувеченной машины, исследовал покоренное железо. Бампер и передок были сильно вмяты, капот – в гармошку. Удивительно, что такой удар никак не сказался на громаде «Рейндж Ровере». Из чугуна он, что ли, отлит?!

С неба продолжал падать мокрый снег, дул ветер. Я предпочел залезть в машину и, устроившись поудобнее, стал ждать возвращения Рустама.

Погодя, откуда-то из сумрака проспекта возник молодой человек. Деловито подошел к машине, что-то сказал. Я не расслышал, приспустил оконце. Молодой человек наклонился, спросил:

– Как праехать рэстаран Ханой?

Я услышал сильно выраженный грузинский акцент, точнее – его мингрельскую разновидность, которой в точности соответствовала физиономия говорящего: конопатая, светлоглазая, с рыжеватой щетиной на мальчишеских щеках. Предвкушая его удивление, я невозмутимо ответил по-грузински, слегка имитируя мингрельскую интонацию.

– Чем калечить русский язык, давай я по-нашенски растолкую, как тебе проехать.

Молодой человек не отреагировал на родную речь, как будто услышал ее не в Москве, а в Потии или Зугдиди. «Видно, много нас тут развелось...» – слегка озадаченный подумал я, и принялся объяснять маршрут. Я хорошо знал местоположение «Ханоя», да и схема получалась простая, поскольку он находится на Профсоюзной. Молодой человек внимательно слушал, понимающе кивал. Потом разбитую «Волгу» объехала красная иномарка с низкой посадкой и гоночным силуэтом, подобрала молодого человека, и мои земляки покатали в сторону центра. «Зачем им «Ханой», когда в Москве столько вкусных грузинских заведений», – подумал я.

Погодя появился Рустам – хозяин «Рейндж Ровера» не только выдал затребованную сумму, но доставил к месту аварии. Рустам сунул уемистую пачку в «бардачок», еще раз осмотрел машину и сказал, что придется тащиться на буксире. Я выбрался из машины, вышел на мостовую и стал «голосовать», а он полез в багажник за тросом.

– Что за черт! – услышал я через некоторое время.

– В чем дело, Рустам? Нету троса?

– Трос-то есть, – ответил он. – А вот твоего чемодана и портфеля нету.

– То есть как это?! – оторопел я и тоже заглянул в багажник.
– Может, в салон положил?

– Еще чего!.. – проворчал он. – Исключено... – но на всякий случай заглянул в салон.

– В аэропорту не мог оставить?

– Скажешь тоже! Как всегда, сложил в багажник. – Он раздумчиво уставился на меня. – Что здесь было, пока я с этим типом ездил?

– Ничего... – ответил я и, сосредоточась, стал припоминать.
– После того, как вы отъехали, я походил вокруг машины, осмотрел вмятину, потом сел и больше не вылезал. – И вдруг вспомнил: – Ко мне подошел паренек и спросил, как проехать в ресторан «Ханой». Оказалось – земляк. Мы с ним покалякали по-грузински. Потом он сел в красную иномарку и уехал.

– Все понятно! – Рустам сокрушенно покачал головой. – Пока вы калякали по-грузински, багажник и обчистили...

Мне вдруг отчетливо припомнилось, точнее, если воспользоваться классическим клише, я увидел мысленным взором, как, наклоняясь ко мне почти лицом к лицу, молодой человек разок-другой глянул куда-то мимо: похоже, следил за действиями напарника, колдующего над багажником.

– Может быть, хоть номер иномарки запомнил?

– С какой стати? Я и не смотрел.

– Понятно, – Рустам в сердцах захлопнул багажник. – Что будем делать? Заявлять в милицию себе дорожке. Ищи ветра в поле! Грабанули тебя земляки. Что унесли-то?

– В чемодане шмотки. Считаю, полгардероба.

– А в портфеле? Портфель тяжелый был, я еще удивился.

– Бумаги и отборный коньяк, бутылок десять, от Гурама Панджикидзе подарок.

– Эх, выпьют бандиты за земляка, и спасибо не скажут!..

Мы стояли позади разбитой «Волги», сокрушаясь и припоминая подробности. Рустам высказал предположение, что, может быть, и «Рейндж Ровер» не случайно подставился, однако версия

показалась мне надуманной. Попробовал запустить двигатель «Волги», но тут же вылез, чертыхаясь. Казалось, он был расстроен не меньше меня. Я же сокрушался от беспомощности и бессилия и от того, что стал жертвой не тамбовских или солнцевских, а своих дорогих земляков. Ищи ветра в поле! В поле хоть есть шанс углядеть, а в Москве...

Нас долго никто не брал на буксир, машины мчались мимо, не замечая двух немолодых мужчин, уныло голосующих возле разбитой «Волги».

Вдруг от оголтелого потока отделилась красная иномарка – низкая посадка, гоночный силуэт – мягко подрулила к тротуару и притормозила. Сидящий за рулем мужчина наклонился к дверце, обратился по-грузински:

– Батоно, можно вас на минуту...

Я направился к нему и, подходя, увидел на заднем сидении свои вещи – чемодан и портфель. В сущности, это уже не было неожиданностью, я знал, кто их увез, но увидев воочию, искренне вознегодовал (перевозу дословно):

– Полюбуйся на них! На что это похоже?! Чем вы тут занимаетесь?!

– Работа такая, – по-русски ответил сидящий за рулем мужчина и сдержанной улыбкой смягчил как свой ответ, так и мою горячность.

Дальше он перешел на грузинский и наш разговор быстренько съехал в привычную колею: из каких вы краев, да откуда родом, какими судьбами в Москве и давно ли из Грузии?.. Движение по наезженной колее чаще всего приводит если не к общей родне, то к общим знакомым, однако для результата нужно время. У нас его не было, поэтому я успел узнать только, что мои грабители – беженцы из Сухуми, и что им случалось проезжать мимо моей родной деревни. Совсем немало для короткого разговора. Впрочем, со мной разговаривал только сидящий за рулем мужчина – молодяк помалкивал, неспешно, по цепочке передавая мне вещи.

– Ваше возвращение все меняет, – сказал я. – Слов нет, оно настолько все меняет, что я буду рассказывать о нем и здесь, в Москве, и там, у нас расскажу!..

Чемодан был возвращен с рук на руки и опять уложен в багажник. Но портфель, который ребята протянули мне, сильно полегчал.

– Э, нет! – сказал я. – Он был полный и очень тяжелый. Спросите Рустама...

Послушно, как дети, они поставили в портфель с полдюжины коньяка.

– Одну оставьте, – разрешил я. – Отметите нашу встречу, – моя щедрость, несопоставимая с их, позабавила меня. – Ну все, ребята, счастливо! Советую сменить работу. А лучше возвращайтесь в родные края!

– Куда возвращаться? Ни кола, ни двора...

– Тоже верно, – вздохнул я и, не зная, чем их обнадежить, добавил: – Дай вам Бог радости, как вы меня обрадовали!..

– Будьте счастливы, батона, – отвечали они. – Гора с горой не сходится, а человек с человеком...

Мы расставались, довольные друг другом, с веселой легкостью на сердце. Я шагнул к нашей машине, к ее распахнутому багажнику, и тут услышал те самые слова, ради которых и взялся описывать свое необычное приключение.

– Извините, батона! – сказал сидящий за рулем мужчина и голос у него был не такой, как при разговоре в «наезженной колее». – У вас там бумаги, подписанные Шота Нишнианидзе... Это тот самый Шота Нишнианидзе – наш замечательный поэт?..

Я так и оторопел. Обернулся изумленно.

– Ну вы даете! С ума сойти! Вы не только машины грабите посреди Москвы, но и поэтам цену знаете!..

Сидящий за рулем мужчина со смущенной улыбкой покачал головой. Красная иномарка объехала нашу «Волгу» и влилась в пестрый поток машин...

В сущности, ничего загадочного. Все просто. Зарулив в темный проулок, они покопались в вещах, порылись в бумагах и обнаружили доверенность Шота Нишнианидзе, переданную при нашей последней встрече. А дальше... А дальше вмешалась поэзия. Поистине, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется!..

За прошедшие годы я десятки раз рассказывал эту историю – и в застолье, и в студенческих аудиториях, и случайным попутчикам, но тот, кому она предназначалась прежде всех – главный герой, волшебник, своим поэтическим словом преобразивший грубый житейский анекдот, так и не услышал ее. Меньше чем через год Шота Нишнианидзе – волооккий молчун с внешностью чемпиона-тяжеловеса, умер от скоротечной болезни.

Что ж, дорогой Шота, вместе с твоими стихами, вместе с воспоминаниями о нашей молодости мне осталась и эта притча о наших лихих земляках и силе поэтического слова...

Перечитав написанное, я вдруг задумался: из упомянутых друзей-литераторов сегодня нету в живых не только Шота Нишнианидзе, но и Гурама Панджикидзе, Гранта Матевосяна, Левона Мкртчяна... Как повыкосило! А ведь они едва переступили за шестьдесят – не возраст для кавказца!..

Что и говорить, трудно писательской братии дается реставрация капитализма: душа ноет, сердце болит, почки отказывают, желудок не принимает...

«Я больше не пишу», – сказал мне Грант в ресторане на горке, в выгородке из подстриженной туи. «Почему?» – спросил я. Он пожал плечами: «Когда заглядываю на несколько лет вперед, не вижу девушку, читающую мою книгу...»
Но это уже другая тема. Или все та же?..

2007 г. №1-6

Паола Урушадзе

В альбоме

Манане Роговской

...И старый костел... и залитые солнцем
Католики - цвет кутаисской общины...
Почетно. по правую руку от ксендза,
Сидит там твой прадед - суровый и чинный.

...И дед твой поодаль - студентом Сорбонны -
Стоит у решетки нездешнего парка...
А вот он опять - молодой и влюбленный,
Венеция, голуби, площадь сан-Марко.

А рядом... и тут из альбома повеет
Духами, театром, осенней аллеей,
Чудесная бабушка, дама-каменя,
Взирает на нас, как и прежде - жалея...

Жалея за вечную нашу усталость,
За все неизбывные наши заботы,
За то, что застав ее тихую старость,
Не знаем, как жили в те - "лучшие годы"...

Когда вместе с нею и город был молод,
А на Головинском - знакомы все лица,
И не было странным вдруг встретить Паоло
И Тициана... с гвоздикой в петлице...

К а т е

Будь начеку... быть может сквозь века
За нами, как в комедии Шекспира.
Какие-нибудь три весельчака
Из смежного подглядывают мира...

И наши беды, страхи и позор
Для них ничто - безделица, потеха...
Как сквозь забор, сквозь временной зазор
Глядят на нас и делятся от смеха.

А значит мир не так уж сер и плох...
Ты не ершишь - возможно и такое,
И не пытайся их поймать врасплох,
В ладоши хлопни, сосчитай до трех
И наугад им помаши рукою.

Гильденстерн - Гамлету

Что вам такого насажала Тень,
Какого яду вам дала она отведать?
Ученый человек - и дюжина смертей!
И ни один вопрос не завершен ответом!

Сместилась ось души, сменен ее состав,
Да, это страшно, это больно... Очень!
Но этой боли должное воздав,
Вы заключили - век вконец источен...

И вправду легче - посох да сума,
Да прочь бежать из вспыхнувшего зщала...
Светлейшее сошествие с ума, -
Кого оно когда-нибудь спасало?

Бредете коридорами дворца,
Потухший взгляд, приспущенный чулочек...
Ответчик век, истица - Тень отца,
А подсудимые - лишь близкие да отчим.

Без данных, без улик, без знания основ
Вы над людьми чудили как алхимик:
"Горсть датской почвы, горстка детских снов,
Щепотка слов" - и стали все плохими...

Невесте - "в монастырь!" И вот невесты нет,
Мать - на позорный столб! И в этом преуспели...
А старый хлопотун! Какой чудесный дед
Мог выйти из него... Да вы не захотели.

Когда актеры, смыв испарину и грим,
Пришли просить за труд и кланяясь неловко,
И вам бы в этот миг отбиться от Игры,
А Клавдию вплоне хватило б "Мышеловки".

1998, № 1-6

Из редакционного портфеля

«Редакционный портфель» – неотъемлемая часть любого периодического издания – оказался особенно ценным для нас в период вынужденного «простоя».

Журнал не выходил, но, тем не менее, авторы, по старой памяти, присылали свои материалы в редакцию. Из этих авторов особенно хочется отметить верных друзей «Литературной Грузии» – наших русскоязычных сограждан – писателей и переводчиков, для которых «Литературная Грузия» была и ареной дебюта, и школой литературного мастерства.

Прошли годы, и вот на страницах «Литературной Грузии» появились новые имена: интересно и то, что переводами грузинской поэзии на русский вновь стали заниматься грузинские поэты (к примеру, покойный Гиви Нижарадзе, продолживший традицию символиста Валериана Гаприндашвили), русскими стихами заговорили актеры (Шота Кобидзе), театроведы (Паола Урушадзе), даже экологи (Гугули Кебурия) – в последних номерах «Литературная Грузия» ознакомила читателей со всеми этими именами.

Но вот уже с более молодым поколением, увы, ознакомить читателей мы не успели, – и не по нашей вине. Тем не менее, их стихотворения и переводы, так же, как и произведения их грузинских сверстников, имена которых уже на слуху в наших литературных кругах, были в редакционном портфеле, и сегодня, пользуясь случаем, мы присоединяем эти новые имена к традиционным авторам «Литературной Грузии». Из имен «старых» и уже знакомых – предлагаем читательскому вниманию рассказы нашей сотрудницы, журналиста Ирины Зурабашвили, и новые стихи самого преданного из наших авторов Гугули Кебурия, который

упорно приносил в редакцию свои рукописи заведомо зная, что журнал который уж год простаивает...

Надеемся, это символическое соседство нескольких литературных поколений отразит пафос полувекового существования журнала.

Нет сомнения, что читатели сборника с интересом ознакомятся также с записями Евгения Лансере, которые недавно прислал в редакцию правнук известного художника.

Ред.

1997 - 2007

Анна Григ

Ура!

кофейна гуща в стакане
увы –
жизнь все равно не отстанет
а вы?
секунды дробью по коже
с утра
и вряд ли кто-то поможет
ура!
едва – уже заблудиться
везет!
убрать бы лишние лица
ну вот
то клеим-строим
строим-клеим
то подгоняем
к средствам цели
потом досадливо
жалеем
что что-то склеить
не успели

Полуфантазия

у открытой двери кафе-бара
топчется ленивый тротуар.
буду называть вас – Вольдемаром!
украду ваш новый портсигар.
надарю вам ароматов в стиле
полумягком как вечерний джаз.
может и влюблюсь в вас... может!

или

предоставлю вам такой же шанс.
и безвольно тяготея к ночи
вы прижмете взгляд к моим губам...
мне не будет *неприятно-очень*
но зато *приятно* будет вам.

Мы

всё катимся, катимся...
хлопочем и тратимся.
пройдем и спохватимся.
отпрянем – погонимся...
да с места не тронемся.
от темы отклонимся.
одетые – харимся,
раздетые – даримся.
не зарятся – заримся.
и в пьянь ароматимся
и а-рис-то-кратимся.
всё катимся, катимся...

1997 - 2007

Сон

я из окна
к его лицу
в окне напротив
ко мне одна
ночь на крыльцо
день в даль забросив
зачем и как
а наяву
мы не соседи
но сон иссяк
его зову
обратно в сети

Solo

а-может-всё-оно-труха-
и-я-почти-неповторимый-
ещё-твердить-нескромно-рано-
вдруг-сразу-выйдет-чепуха-
а-чем-не-*solo*-и-не-прима-
а-чем-не-центр-не-пуп-экрана-

в-одном-ряду-по-три-по-две-
вон-лошадятся-иномарки-
заразна-мания-туризма-
по-светски-наспех-протрезвев-
спасаются-мозги-от-сварки-
в-киосках-неопопуризма-

По-Пушкински

я вас люблю... я нахожусь во власти
недолгих, хоть – увы! – глубоких чувств.
нет! *не мечтайте*: я отдамся страсти
и вам в угоду натворю безумств.
стыдливости душа моя не знает,
но весь ваш вид меня смущает *так* –
что красный цвет во мне преобладает,
едва замечу *пыльный* ваш пиджак.

Ирина Зурабашвили

«Да любите друг друга...»

Феодора

Я люблю приходить сюда, где рядом стоят грузинская церковь Синий монастырь и русская – Иоанна Богослова. Пожалуй, это один из немногих уцелевших островков Тбилиси. Здесь тихо, немноглюдно, не режут глаз наводнившие весь город коммерческие будки, не бросаются к тебе навстречу толпы нищих, остервенело рвущих из твоих рук скудное подавание и, честно говоря, отбивающих всякое желание войти в храм. Времена, конечно, настали иные, так что в моем представлении нищий – немощный, зачастую старый человек, на глазах превратился в далеко не старых женщин с наглыми глазами и жадными, цепкими руками и, что самое страшное, детей..

– Тетенька, дай 1000 рублей! – подбегает ко мне маленький оборванец лет шести-семи.

– Нет у меня таких денег, детка!

– Тогда сто! – не теряется малыш.

Протягиваю ему 500 рублей.

– Где твоя мама?

– Умерла, – заученно отвечает ребенок.

– Не ври, – устало говорю я, заглядывая в безразличные глаза ребенка. – Не говори больше никому так, а то накличешь беду и мама твоя правда умрет. Ты хочешь остаться без мамы?

Малыш испуганно мотает головой...

А здесь все время величественное спокойствие. И в храме очень мало людей, часто я остаюсь здесь почти одна, только в

закутке у входа сидит продавщица свечей и знаю, что где-то за алтарем находится священник. В такие минуты мне не хочется отсюда уходить, вся душевная усталость и безысходность проходит, уступая место безмерному умиротворению. Ни о чем не думаешь, ничего не просишь у Бога, только горячо благодаришь Его за эти столь редкие для нас минуты блаженства.

В один из дней я заметила старушку, сидящую на стуле у входа в храм. Я инстинктивно протянула ей деньги и тут же сердце испуганно сжалось при мысли, что этим я могла ее оскорбить, ведь она не сидела с протянутой рукой. Старушка окинула меня удивительно ясным для ее лет взглядом и благословила. С тех пор я всегда старалась как-то незаметно, ненавязчиво давать ей деньги.

Иногда на душе бывает до того мутно, что никакие друзья и «положительные эмоции» не в состоянии разогнать гнетущую тоску, сжимающую сердце. Ноги сами несут тебя в храм. Встанешь перед иконой, зажжешь свечу и, глядя как она догорает, чувствуешь, что гнетущая тяжесть чудодейственно рассасывается, а в душе опять воцаряются покой и надежда. Это был как раз один из таких дней. На улице стояла прескверная погода, дул ледяной ветер попеременно с мокрым снегом. В храме никого не было, только моя знакомая старушка чистила подсвечник. Окошко, откуда продаются свечи, было закрыто. Я подошла к старушке спросить, где мне можно взять свечи.

— Подойди к алтарю, позови батюшку и он даст, детка.

Я так и сделала. Как только поп увидел в моей руке купоны, он тотчас же категорично заявил, что свечи нынче только на рубли. Я молча протянула ему 500 рублей. Поп придирчиво рассмотрел купюру и вернул мне обратно:

— Порванные деньги не принимаем.

Вторую купюру постигла та же участь.

— Значит, я не смогу поставить свечки? — задрожавшим от обиды и унижения голосом спросила я. Служитель Бога равнодушно пожал плечами. К счастью, к оказавшейся у меня двух-

сотрублевой купюре он уже не смог придраться и я, после долгих торгов, стала счастливой обладательницей свечи. Я зажгла свечу. Горькие слезы заливали мне лицо. От одной только мысли, что большинству моих соотечественников отказано даже в надежде на Божью милость, мне не хотелось жить. Ведь немало людей, у которых последняя надежда и пристанище – церковь и Бог, не могут из-за неимения российских рублей (потому что зарплата в Грузии выдается в купонах), засветить перед образом свечку.

– Не плачь, детка, – незаметно подошла ко мне старушка, ласково дотронувшись до моей руки. – Ты сама как свечка. Когда нет денег, встань перед иконой и молись. Бог все видит, не обязательно зажигать ее. А священники такие же обыкновенные люди, так что и они не без греха...

Я, кажется, уже рыдала во весь голос. Меня поразило то, что эта совершенно чужая, нищая старушка так тонко поняла, что со мной творилось. С тех пор мы сблизились. Прихожане с удивлением главели на нас, наверное, не понимая, о чем так долго может говорить молодая, прилично одетая особа с нищей, оборванной старухой.

Попала Феодора в Тбилиси в Великую Отечественную войну. Приехала сюда еще девчонкой с эвакуированным авиационным заводом, да так и осталась в Грузии навсегда. Три года училась в консерватории, но закончить ее не пришлось. Замужество в те нелегкие послевоенные годы, затем дети, семейные хлопоты и от музыки, конечно же, пришлось отказаться. Жизнь у нее была не безоблачная, но тем не менее: «Только в старости я поняла, что значит «от тюрьмы да от сумы не зарекайся», – говорит Феодора.

Нет, она не ропщет. Она ежедневно возносит молитвы Богу, что не оставил ее на закате лет без надежды и куска хлеба.

– Деточка, как ты пришла в этот храм?

Я лихорадочно вспоминаю и никак не могу вспомнить, что меня сюда привело. Полный провал в памяти. А вот то, что рассказала мне Феодора, потрясло меня до глубины души.

– Я ведь раньше вообще не знала о существовании этой церкви. Жила в Сабуртало, каждый день ездила на Руставели на работу, а вот то, что здесь могла быть церковь и духом не ведала. Снится мне однажды сон. Стою я будто на Земмеле, а в это время идет по улице церковная процессия. Впереди несут икону, а я смотрю и не узнаю, чья это икона. Подошла спросить какую-то монашку и слышу в ответ: «Это – икона Иоанна Богослова. Сегодня день его рождения и несут ее в его храм». Я присоединилась к этой процессии. Свернули на улицу Киачели, прошли ее до конца и вдруг все исчезло, осталась я одна. Вот только стою да храма не вижу. Проснулась, думаю: «Господи, к чему бы этот сон?» Спросила детей, есть ли на Киачели какая-нибудь церковь, так они, как и я, понятия не имели. «А я все места себе не нахожу. Пришла на Земмель, встала на то место и пошла теми же путями, что во сне ходила. Иду и надежду не теряю. Встретилась мне на Киачели какая-то женщина, спросила я ее, есть ли здесь поблизости церковь, а она в ответ: «Идите до конца этой улицы и увидите. Там рядом стоят Синий монастырь и Иоанн Богослов. Вчера был большой праздник, церковь справляла день рождения Иоанна Богослова». У меня, детка, колени подкосились.»

С тех пор Феодора стала посещать этот храм. Были в ее жизни тогда и лучшие времена, но и в тяжкие годы храм ее не оставил, помогает не сломиться духом и не умереть с голоду. Вот и девятнадцатилетний внук Феодоры вернулся из Абхазии, правда без ноги и без глаза, но Феодора горячо благодарит Бога за то, что сохранил внуку жизнь.

– Никогда, детка, не ропщи на Бога. Он все видит и всех любит. А то, что в нашей жизни бывает трудная, горькая година, это не значит, что Он нас забыл и отвернулся. Это – Испытание Господне, и если ты личность и хочешь ею остаться, то сможешь с достоинством это преодолеть...

1993 г.

Икона, которая сама назвалась

Новый храм Святой Троицы притягивает к себе, в какой части Тбилиси ты бы не находился. И не удивительно, что придя сюда раз, ты будешь приходить сюда снова и снова, вопреки укоренившемуся понятию, что в ненамоленное место верующих сложно притянуть.

Хотя, конечно же, здесь с самого же начала не было отбоя от толп «религиозных туристов» и злые языки даже утверждали, что народ тянется сюда из любопытства. Да и было с чего утверждать, ведь в Грузии доселе не строилось таких грандиозных по объему храмов. Да что там в Грузии, говорят, что это один из самых больших православных храмов в мире. Только это не храм, а целый кафедральный комплекс, который стремительно отстраивается и хорошеет день ото дня, уже позолотили купол главного храма и девственные стены храмов украшаются все новыми и новыми иконами.

В старых церквях как-то привычно находишь нужную тебе икону, а если не знаешь, какая-нибудь старушка тут же тебе подскажет, где тебе нужно поставить свечку, а при желании еще и краткую аннотацию к иконе выдаст. Здесь же немного иначе... Люди, первый раз пришедшие в главный храм страны, сосредоточенно ищут вдоль стен и колонн огромного зала нужную икону. Здесь уже старушка может спросить тебя, где икона Святого Георгия столь почитаемого в Грузии. А не может найти потому, что в новом храме пока не появилась икона ставшего уже привычным для многих образа святого Георгия на белом коне, повергающего дракона, и мимо святого без коня могут пройти сто раз, не подозревая, что он зовет их со стены.

А то, что иконы к себе зовут, многие наверно слышали или же сами сталкивались с этим. Здесь много новых икон и около некоторых уже толпится много народу, люди спрашивают для себя и своих близких милости Господней и потом щедро

одаривают и чудодейственную икону и храм. Так огромным поклонением в Троице пользуется икона Божьей Матери «Скоропослушница», копия той знаменитой, что находится в Афонском монастыре и которую доставили в Тбилиси из Греции. Среди почитательниц «Скоропослушницы», разумеется, и я не являюсь исключением, хотя всем иконам храма стараюсь уделять одинаковое внимание и отдавать должную дань. Но больше всего меня почему-то тянет в дальний угол храма, где народу всегда как-то поменьше, и несмотря на это перед огромной новонаписанной иконой всегда горит множество свечей. Я и не сомневаюсь, что это великомученик Целитель и Врачеватель Святой Пантелеймон и всегда с благоговением задерживаюсь около этой иконы, ничего не спрашивая, но тем не менее чувствуя, как благодатный елей согревает израненную душу... Сколько длилось то неведение, когда со дня появления этой иконы в храме, мне казалось, что это Святой Пантелеймон, трудно сейчас сказать. Но это был как раз тот случай, когда и спрашивать ни у кого не было нужно.

Если раньше я приходила сюда от случая к случаю, то с тех пор как сюда перевели моего наставника отца Давида Эристави, я хожу сюда регулярно. В ожидании отца Давида стою перед дорогой сердцу иконой и, обращаясь к Святому Пантелеймону, пытаюсь зажечь свечу. Зажигается она с трудом, но затем я никак не могу ее установить. В глубине храма появляется отец Давид и явно выискивает меня, но стоит мне поставить свечу и отойти, как свеча падает, но не гаснет. Ставлю ее на место, теперь вроде бы прочно, с облегчением собираюсь отойти, делаю шаг, второй, но свеча опять падает. Я ничего не могу понять и растерянно оглядываюсь по сторонам, мой взгляд в отчаянии устремляется на икону и я, совершенно неожиданно для себя, замечаю за спиной у святого крылья, о которых раньше и не подозревала. Тем не менее, я начинаю лихорадочно соображать, но никак не могу припомнить икону Святого Пантелеймона с крыльями. Свеча уже решительно не хочет устанавливаться. Я готова стоять под этой иконой с зажженной свечой в руке до тех пор,

пока она не сгорит до конца. В это время к иконе иступленно припадает какая-то стареющая женщина и что-то просяще бубнит, я, поборов неловкость, терпеливо жду, когда она завершит свою горячую молитву, и робко спрашиваю, какому святому принадлежит эта икона. Женщина стыдливо пожимает плечами в знак того, что не знает и торопится уже к другой иконе. В это время прямо передо мной возникает совершенно очаровательное юное создание с ангельским лицом и огромными зелеными глазами и кротко улыбаясь отвечает: «Это Архангел Михаил!». Я молча бросаюсь к иконе и виновато прижимаюсь к ней лбом, причем с такой силой, что рискую оказаться под ее тяжестью, если она вдруг обрушится со стены. На душу буквально проливается благодатный елей и безудержные слезы заливают все лицо. Я благодарно оглядываюсь, чтобы сказать спасибо, но юное создание так же незаметно исчезло, как и появилось. Полное ощущение того, что в этом огромном храме только я и эта благодатная икона Ангела Господня Михаила, которая наконец дала знать, Кому я все это время так благоговейно ставила свечи, и которая словно еще раз напомнила: «Я Есмь Его Любовь, защищающая здесь!». Еще одна попытка установить свечу, и она сразу же схватывается подсвечником... Теперь кажется у меня вырастают крылья.

Отныне я знаю, что в кафедральном храме Святой Троицы меня ждет новонаписанная икона Архангела Михаила, Архангела Первого луча, Блюстителя Веры, Защитника Женщины и ее семени и Предводителя воинств Света в битве Армагеддона.

Икона, которая сама назвалась.

P.S. Иконы Архангелов Михаила и Гавриила в кафедральном храме Святой троицы написаны Католикосом-Патриархом Всея Грузии Святейшим и Блаженнейшим Ильей Вторым.

Гугули Кебуриа

Одиночество

(На темы Джано Гиоргадзе)

Твои шаги слышались у двери,
Был это знак судьбы иль показалось мне?
От ветра двери жалобно скрипели,
Душа им вторила, кружась в кошмарном сне.

Ты в жизнь мою ворвалась ураганом.
Он подхватил меня в заоблачную высь,
Но ветер стих и нет тебя уж рядом.
Мой сон кончается и вновь лечу я вниз.

Несправедлив порой закон природы –
Забыл он женщину от ветра отличить.
Как Пенелопа ждет она нас годы,
И, как Кармен любя, вдруг может изменить.

Нет нас с тобой давно уже на свете.
Историю любви, увы, не повторить...
Мир помнит о Ромео и Джульетте,
У нас так не было, но так могло бы быть.

Внимая музыке молчанья...

*Я так давно тебя ищу,
Что встретив, счастью не поверю,
Ни слов заветных не сыщу,
Ни тишине их не доверю.*

Г.К

Порой слова так бесполезны!
Порой молчанье лучше слов...
Они сухи и бестелесны,
В них нет таинственности снов.

Любимые воспоминанья
Мерцают и плывут в ночи,
И оживают вновь желанья,
И в ночь зовут нас светлячки.

Пусть счастья миг наитишайший
Вернется на круги своя.
Поклон тебе наинижайший,
Бог мой, за радость бытия!

И оглянувшись напоследок,
Я жизнь свою сожму в кулак.
О, как ты дорог и как редок,
Премьеры бурной, мой аншлаг!

Судьба таится за порогом,
Там все проблемы решены.
Нам предстоит узнать о многом,
Услышав голос тишины.

Лела Самнишвили

Платье

Каждой тесьмою, вышивкой,
бусами мне б представить,
насколько была красива
та, что носила это
белое платье – в музее,
в полуподвале и в вечных
сумерках нежно распятое.

Но без тяжелых кос,
отдельно от уст и от глаз –
мерцает так одиноко
и полки вокруг. Рубины
поблескивают средь шелка
на головных уборах,
кольца, кинжалы, осколки –
склеенные в чаши,
и снова – оно, это платье,
отвергнутое навсегда –
как слишком тяжелое, длинное
слишком, до ослепленья, красивое.

Стою – от него независимо.
Ради легкости пусть и наряд,
и тело растает! Но платье –
такое легкое издалика –
проступит, когда захочу,
на миг – стихотворением:

его я надену, подол
одерну, – оправлю – и вниз
посыпятся бабочки-тени.

Может, стоит тебе – развлечься,
и вязать, продлевая наши
тени. Я не несусь – извлечь бы все
нити, вычернившие пряжу.

Если связано этой пряжей
мое – путаное – стихотворенье,
не оставлю на память даже,
намотаю – клубками – тени.

* * *

То, что в горсти сжимаю –
ключи,
чтоб двери открыть, конечно, –
тех башен, где королевичи
прячут красавиц, как прежде.

Красавицы ткут, или, нежась в кровати,
мечтают – свободны от сонных заклятий.

Перевод А.Лобовой

Элла Гочиашвили

Если любила его, схорони

Схорони мертвеца,
Скорее, скорей схорони мертвеца.
Пока он еще похож на того,
Кем был,
Кого ты любила.
Пусть эта схожесть не остановит тебя,
Не введет в заблужденье,
Опомнись
И в чистой земле былого
Схорони мертвеца драгоценного.
Чем сильнее ты любила его,
Тем усердней должна схоронить.
Скорей схорони!
Пока запах от жизни оставшийся
Не собрался, как шлейф, не развеялся,
Пока на него черви сытые не набросились,
Схорони мертвеца драгоценного.
Вот лопата!
Вот гроб!
Вот гвоздь!
Возьми это все, схорони его!
Укрой одеялом,
Утепли и в прошлом оставь навечно
И не выкапывай.
Если и впрямь любила, схорони.
Если и впрямь любила, оставь его там.

О, способная на любовь!
Не считай меньшим дара любви
Искусство и дар
Схоронить мертвеца драгоценного.

Не темно вовсе

Темно, даже очень темно.
Был лавровый лес – нынче луг,
И нам это ясно, как день.
Но кто дал вам право на сруб?

Темнеет, темнеет Парнас,
Ломаются ветки, шум-гам,
Подпольно выносятся лавр.
Куда вы с ним прётесь, куда!

Знакомство здесь вряд ли пройдет,
Блатные заходы – не в масть.
В Ваке – вы вакийцы, увы –
Селом вы взошли на Парнас.

И кляча не пустится вскачь,
Уймите на время свой пыл.
Стихами кинто-зазывал
Парнас не окутает пыль!

Вакийский «Парнас» – магазин
С идейной приставкою «лит».
Парнас – не равнина-Ваке,
Парнас много выше стоит!

Здесь многим сломали хребет,
Князькам своего закутка.
Здесь климат иной и притом
Другие полеты в стихах.

Здесь в моде другой порошок,
У кайфа здесь свой колорит;
Здесь ломка от царских стихов
У тех, кто от Бога родит.

Доколе вам польза от нас,
Так гордо не ранящих слух;
В Ваке – ты хороший пацан,
Парнасу – свободный пастух.

Вы знаете, может и нет.
Не знаете наших имен.
Пытаетесь даже не знать
И каждый из вас так взбешен:
В Ваке – мы село, но Парнас
Вакийцами чествует нас!

Перевод Д. Лоскутова

Заза Тварадзе

Старые дети

Я вышел на улицу, — жаром прижатых
лоточников-беженцев гомон слышней,
чем шелест листвы и чем щебет пернатых, —
и вижу я старых-престарых людей.
Эй, молодка!
Вижу я старых-престарых людей.

Поднялся на ветреный склон, — за спиною
с убожеством всем и с беспечностью всей
остался мой город, подверженный зною, —
и вижу я старых-престарых людей.
Эй, молодка!
Вижу я старых-престарых людей.

Пошел мостовых по брусчатке, — что стая
сквозных в шевелюре древесной галчат,
вязь шрамов на грубой коре созерцая,
без умолку старые дети кричат.
Эй, молодка!
Дети со старыми лицами в ряд.

В жилище вступил, — процветали в том доме
мужчина и женщина прежде того, —
старик предо мной со старухой, и кроме
них больше не вижу уже никого.
Эй, молодка!
Старик со старухой, —
больше не вижу уже ничего.

Состарилось детство, лучи постарели,
состарился мир и все сущее в нем, —
бредет, вся дрожа и шатаясь, без цели
старуха по плитам, омытым дождем.
Эй, old woman!

Зачем на меня ты так смотришь большими
глазами поблеклыми, — я ничего не
должен тебе, не виновен ни в чем.

Твое ли я помню роскошное тело,
твоих ли волос разливную волну? —
жила ты у моря и счастья хотела...
Я кровопролитную помню войну,
помню гиблый
шквал, оползень, землетрясение, помню
того старика, что подсчитывал мертвых,
сколько в телегу их ляжет, в одну.

Со всем ты, старик, распростился, что было,
угрюм и потерян, со всем, что грядет. —
Под ливнем, чья всеочистительна сила,
шагает по городу старый народ,
по улицам старый-престарый народ.
Эй, молодка!
Не видишь? — смотри, дух испустит вот-вот
старый народ.

Перевод Максима Амелина

Шота Иаташвили

Золотое сечение

Выучи меня наизусть

Выучи меня наизусть,
После ложись и усни.
А утром, проснувшись,
Прошу, повтори.

Лежа рядом с тобой,
Сладко уснув,
Я вижу тебя во сне склоненной
Над моей головой и бормочущей что-то.
Увижу, как ты
Меня звездам расскажешь
И длинным деревьям, как ты
Станешь сдавать предмет
По имени «Шота»
Каждому встречному.

Учи меня каждую ночь,
После усни или бодрствуй,
А утром
Сдай меня людям, вещам,
Молитве,
Траве.

Возможно, я стих,
Человек
Или вовсе бамбук.

Учи меня наизусть.
Иль вызубри просто.

Далекий Хлеб

Человек пришел к тебе и прижался...
положил хлеб на стол, малое миновав расстояние,
подошел, прошелся по твоей душе веником и прижался ...
Человек пришел к тебе...
До этого в булочной хлеб купил,
вышел в утренний город,
шоссе пересек, пришел он к тебе,
коснулся лба твоего сновидением и прижался...
Человек пришел к тебе...
И был у него глаз, как драгоценный камень,
и теплый хлеб...
Он его выпек в горячем тонэ¹, на буковых дровах,
обжигая руки, достал и выбежал прямо в зарю,
в раннего утра прохладу спокойную,
и принес к столу твоему,
положил между вазой цветочной и банкой мацони,
пришел к тебе, твое сердце помазал мукой и прижался...
Человек пришел к тебе...
А вчера он навьючил мешок на себя и пошел на мельницу
послушать воду, посмотреть на жернова,

¹ Тонэ – грузинская печь, специально предназначенная для выпечки хлеба.

и пшеница помолота, как положено по старым обычаям;
и на рассвете он мельнику помахал рукой на прощание,
к твоему дому направился, лаваш испек по пути,
пришел, положил хлеб на стол,
по твоей губе прошелся теплом и прижался...
Человек пришел к тебе...
Из далеких полей, перепев песни, потрудившись,
пришел он к тебе...
Не принес большого богатства...
Лишь один теплый хлеб...
Положив его на стол, он пришел к тебе,
помазал землей небо и прижался...
Человек пришел к тебе...
Его шаги были честными и
руки большими...
Прошелся он веником по твоей душе и прижался, и
В будущем еще один хлеб обещал ...

* * *

Я смешался в твоих нерасчесанных волосах,
ты же голову просто побрила, и ушла, и
я еле спасся
от огромной метлы уборщицы в парикмахерской.

Через несколько лет
я повесился на твоей
уже отросшей косе,
ты же встала и
просто избил меня другою косой.

Позже
пытался я
превратиться в каплю шампуня,
и мне удалось,
но горячей струей из душа
ты смыла меня со своих золотистых волос.

И когда
чистой грязью твоего тела
насыщенная вода
уносила меня к ужасному открытому
отверстию на дне ванны,
я увидел ко мне направленный
твой один-единственный волос и,
как за притчевую истину,
я ухватился за него...

Перевод Кети Чухрикидзе

Теона Бекишвили

* * *

В декабрьском, зимнем саду,
где аиста остов белеет,
на фоне земли одиноко
Поэты гнездятся на ветвях сосновых.
Спускаются вниз,
подносят под длинные ноги
и посвящают ему свои белоснежные строки
бесстыдно, нахально и смело...
Кристалл его глаз – их судья,
вот лучшее дело.
И ветер швыряет на сосны их сроки,
а ветви все ниже и ниже
опускают тонкие руки...
И полон их взгляд
печали, тоски и тревоги.
Стоят вдалеке, на обочине старой дороги.
И болью исходит с земли, из корней
животворная сила
И мощью своей устремляется
в смерти горнило...

* * *

Моей сестре Нино

Я и ты,
Соломенные куклы,
Смешны,
Растопырены руки,
Расставлены ноги,
Всклопочены космы.
Безвольно висят
В старушкином детстве,
Бабушки нашей –
Ее схоронили
два года назад.
Не додали слез ей,
Не додали горя.
И все же
Время от времени
Подует ветер холодный,
Подбросит соломинки
К колючей могиле,
Соломенных кукол –
Меня и тебя.

Браслет

Прошла весна.
А ты в своей ветхой одежде
Лето встречаешь.
Манто, старое платье
Небрежно одето
И в бабушкином приданом

Затерянный постаревший браслет.
Уходит весна.
Взгляд твоих глаз на браслет
Устремляется вновь.
Серебро обводит стекло,
И свет отражает
Потухшую чью-то любовь...
Он старый,
Старушке носить его или ребенку,
когда удалось
Примерить украдкой
Все мамины платья...
Взгляни на меня –
Любовь так стара – в ней я дитя.
Ты же морщины свои расправляешь,
Снова боишься давления,
А вдруг рассыпется
На миллионы лекарств
Стальное терпение?
Весна уже прошла.
Настало время
Нафталином посыпать сомнение.
Ты вынесешь к свету,
На солнце,
Откроешь, забудешь
И не найдешь там в себе изменение.
Напомнят то время лишь
Старые – платье, манто, украшения.
И ветер пригонит внезапно, как боль,
Старую нашу любовь...

Перевод Ады Пленинг



**Памятное фото, снятое в редакции
“Литературной Грузии”. В первом ряду
слева направо: Эдуард Елигулашвили, Заза
Абзианидзе; во втором ряду: Игорь Калашьян,
Светлана Алиева, Гурам Асатиани, Камилла
Коринтэли, Лиана Татишвили (1980 г.)**



Вместо послесловия

Обычно к уже сверстанной и практически готовой к печати книге ничего не добавляют. Известно ведь: «Лучшее – враг хорошего!». Тем не менее, перечитывая наш, уже сверстанный юбилейный сборник, я все-таки решился добавить это послесловие, поскольку «редакторское чутье» (или не знаю, как это еще назвать) вначале робко, а к концу все более настойчиво «шептало на ухо», что и принципы композиции и соседство авторов (уже независимо от степени известности), собранных здесь, в этой книге, под одной обложкой и подбор самих произведений, и жанровые соотношения – все это – в силу многих и многих причин требовало комментариев от составителя или редактора сборника. Поскольку, в данном случае, обе эти функции совмещались – отступить было некуда – пришлось снова взяться за перо...

Как ясно с первого взгляда, материалы юбилейного сборника (за редким исключением) расположены в хронологическом порядке и отражают всю ретроспективу полувекового пути «Литературной Грузии». Следуя уже апробированной практике аналогичных сборников основные вехи полувековой ретроспективы журнала и для нас обозначены деятельностью того или иного редактора. Если эти годы прошли под знаком советской цензуры, то, казалось бы, редакторская воля доведена до минимума – вот после «Перестройки» уже можно было глотнуть «воздух свободы». К счастью, это расхожее представление явно не подходит для характеристики нашей «литературной биографии». И сегодня, просматривая журнал за журналом в поисках подходящего для сборника материала, убеждаешься, как индивидуальность редактора отражается на «лице» журнала и как, уже годы спустя, сквозь пожелтевшие тома журнальных подшивок проглядывают редакторские ориентиры, вкусы и пристрастия...

И раз уж в основу составления избран этот, «редакторский» принцип, то, естественно, составителю поневоле приходит-

ся учитывать вышеупомянутые «ориентиры, вкусы и пристрастия» своих предшественников, учитывать «дух времени», характерный для того или иного периода, и уже потом соотносить все это со своими литературными принципами и пристрастиями. Могу сказать – не такая уж легкая задача...

С первых же номеров «Литературная Грузия» стала знакомить русскоязычного читателя с классическими образцами грузинской литературы и, конечно же, символично, что прекрасная традиция нашла отражение на страницах нашего сборника. По сей день и Илья Чавчавадзе и Важа Пшавела в грузинском восприятии не просто литературные классики, а провидцы, во многом предопределившие духовную эволюцию своего народа. Достаточно перечитать страстные строки Важа Пшавела о свободе, чтобы убедиться, насколько вечны этические проблемы, стоящие перед нами, и сколь своевременны, даже столетие спустя, советы наших великих учителей.

Юбилейный сборник «Литературной Грузии» не был задуман как антология классической или современной грузинской литературы, и отсутствие даже знакомых для нашего литературного пантеона имен объясняется здесь иногда – давнишними упущениями, иногда – не подходящим для сборника объемом, а иногда – не заслуживающим воспроизведения переводом.

Кстати, со дня основания журнала, вокруг «Литературной Грузии» образовалось некоторое подобие переводческой школы. Здесь были свои мэтры: Фатьма Твалтвадзе и Элисбар Ананишвили, их младшие коллеги и ученики – Анаида Беставашвили и Аида Абуашвили, Лиана Татишвили и Камилла Коринтели, Зураб Ахвледиани и Нодар Тархнишвили... Это переводчики грузинской прозы, что касается области поэтического перевода – совершенно исключительна здесь заслуга выдающихся русских поэтов нескольких поколений и воспроизведенные в нашем сборнике образцы переводческого мастерства Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Павла Антокольского, Николая Заболоцкого, Арсения Тарковского, Александра Межирова, Елены

Николаевской, Беллы Ахмадулиной, Юнны Мориц, Евгения Евтушенко, Булата Окуджавы, Станислава Куняева, Юрия Ряшенцева и их коллег – прекрасное тому свидетельство.

К тому времени, когда стал выходить наш журнал, т.е. к концу 50-х годов прошлого века, радениями старшего поколения русских поэтов уже были переведены классические образцы грузинской поэзии (здесь, прежде всего, надо отметить заслугу Н.Заболоцкого, выпустившего образцовый двухтомник грузинской классической поэзии в русском переводе и пастернаковские переводы великого грузинского поэта-романтика – Николоза Бараташвили).

На страницах «Литературной Грузии», конечно же, публиковались эти переводы. Но особенный акцент делался на ознакомление русскоязычного читателя с теми грузинскими писателями, которые в ту пору уже были литературными мэтрами и, помимо официальных почестей, в своем большинстве, были облаканы читательским вниманием. Первым в этом ряду, конечно же, следует назвать Галактиона Табидзе. Сегодня он, пожалуй, единственный из грузинских поэтов XX века, к имени которого добавляется эпитет – «гениальный». Возможно, именно в силу этой гениальности, которая прежде всего проявилась в неуловимом, суггестивном, чувственном пласте его поэзии, она, в сущности, увы, незнакома негрузинскому читателю и как бы подтверждает известное межировское изречение – «поэзия непереvodима».

Из поэтов «Галактионовской эпохи» мы заново представляем здесь переводы Георгия Леонидзе, Колау Надирадзе (так же, как и Леонидзе, бывшего «голубороговца»-символиста), Иосифа Гришашвили, Симона Чиковани (начинавшего с футуристских увлечений), а из последующего поколения, дебютировавших в 30-ые годы – Ираклия и Григола Абашидзе.

Для того, чтобы русскоязычная аудитория по-настоящему ознакомилась с творчеством грузинских писателей, вышедших на литературную арену в послевоенные годы (из поэтов это – Анна Каландадзе, Мурман Лебанидзе, Мухран Мачавариани, Михаил

Квливидзе. Из прозаиков прежде всего – Отар Чхеидзе и Леван Готуа), должно было пройти более двух десятилетий: все эти вышеназванные имена были, вроде, на слуху, но самые глубинные, самые важные их вещи появились в «Литературной Грузии» много лет спустя и, надо сказать, благодаря переводческому чутью и упорству уже более младшего поколения 60-х гг. прошлого века. Для русских поэтов, прозаиков и переводчиков стихи Анны Каландадзе, так же, как, к примеру, проза Отара Чхеидзе казались откровением и трепетное отношение Беллы Ахмадулиной к каландадзевской поэзии или же Галины Корниловой к чхеидзевской прозе явствует об этом...

Раз уж речь зашла о 60-х годах, годах «Оттепели», годах невероятных надежд и столь же невероятных разочарований, как тут не вспомнить ту атмосферу действительного, а не «фасадного» разноплеменного, литературного братства, которое после тридцатилетнего интервала продолжило традицию глубинной человеческой привязанности и творческого содружества Бориса Пастернака с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе, а Николая Тихонова – с Георгием Леонидзе; Нодар Думбадзе особенно был дружен с Грантом Матевосяном, братья Чиладзе – с Беллой Ахмадулиной, Чабуа Амирэджиби – с Евгением Евтушенко... Этот список можно продолжить до бесконечности...

Многое изменилось с тех пор, но, несмотря на то, как оценивают сегодня наши писатели или же уже их «зарубежные коллеги» пору своей романтической юности, результат этой дружбы еще много лет сказывался на тематике литературных журналов и книг как в самой Грузии, так и далеко за ее пределами.

У «шестидесятников», в свою очередь, нашлись последователи, и с конца 70-х годов в «Литературной Грузии» появляются имена Михаила Синельникова, Владимира Леоновича, Марины Кудимовой, Натальи Соколовской, ныне покойных Ильи Дадашидзе и Яна Гольцмана. С легкой руки Гии Маргвелашвили для многих из них Грузия стала второй родиной, а «Литературная Грузия» – ареной поэтического и переводческого дебюта. Эхо тех

времен, тех литературных открытий и восторгов не могло не отразиться в нашем юбилейном сборнике. Хочется упомянуть здесь еще несколько имен – одни более ассоциируются с «Литературной Грузией», другие – менее. Но если за последние десятилетия те давнишние симпатии все еще не улетучились и грузинская литература приобрела тысячи новых читателей и почитателей за пределами нашей страны, если для нас, в свою очередь, стали ближе и понятнее произведения наших русских коллег, и, наконец, если, несмотря на политическую стужу последних лет, традицию русско-грузинских литературных отношений с завидным пафосом продолжают молодые писатели – во всем этом немалая заслуга тех людей, которые взрастили столь «морозостойкое поколение».

Помимо упомянутого здесь Гии Маргвелашвили, не могу не вспомнить династию Златкиных. В течение десятилетий пожалуй ни одна переведенная на русский язык книга не выходила без живейшего участия Марка Израилевича Златкина. Я застал его уже в качестве одного из патриархов книгоиздательского дела в Грузии, дружил с его сыном и невесткой (милейшая Лиля Браиловская, кстати, долгие годы была сотрудницей «Литературной Грузии») и не случайно, что в юбилейном сборнике опубликованы и теплый отклик на юбилей Марка Израилевича и статья его внука, питомца Литературного института имени М.Горького Александра (Саши) Златкина.

Со Златкиным старшим меня познакомили мои родители – Георгий Абзианидзе и Анна Николадзе. Поскольку моя мать была племянницей Нико Николадзе, одного из классиков грузинской литературы, редактора известного «Обзора», родоначальника прогрессивной русскоязычной прессы на Кавказе, то, не без участия авторитетнейшего дяди, область ее интересов стали русская литература XIX века и русско-грузинские литературные связи; отец был профессором грузинской литературы. Таким образом, в нашем доме образовалось нечто вроде «русско-грузинского литературного клуба» и, несмотря на тесноту, по вечерам было

многолюдно: литературные знаменитости и вчерашние студенты моих родителей, московские поэты и грузинские критики до хрипоты спорили об искусстве... В общем, витал тот романтический «литературный дух», который, к сожалению, все реже и реже встречается в нашем окружении. До недавнего времени дух этот витал и в доме-музее Тициана Табидзе. Здесь царила его дочь – Нита, унаследовавшая родительский дар искреннего общения с людьми, независимо от их возраста, национальности и положения... Статья Тициана Табидзе о Константине Бальмонте, так же, как и пастернаковские письма, адресованные супруге Тициана Табидзе – Нине Александровне, внесены в нашу подборку вполне сознательно – как символы немеркнувших примеров литературного сотрудничества и дружеской преданности.

Также символично, что грузинская живопись XX века представлена в сборнике именами Елены Ахвледиани и Ладо Гудиашвили. Символично и то, что Ахвледиани пишет о репрессированном Оцхели, а Гудиашвили о своем армянском коллеге – Сарьяне; и то, что пришедший в мастерскую Ахвледиани поклонник ее творчества мог попасть на импровизированный концерт Рихтера, а гудиашвилевский гость стать слушателем растроганного Пастернака... Надеюсь, читатель простит мне это «ностальгическое отступление». Возможно, чрезмерно личное, но, думаю, в какой-то мере объясняющее логику соседства имен и произведений в нашем сборнике. Однако ж, вернусь к «хронологической канве» нашего послесловия...

Годы, когда новорожденный литературный журнал завоевывал место под солнцем, были годами утверждения на писательской арене «шестидесятников» в течение многих последующих лет, самого динамичного, активного и плодотворного литературного сотоварищества. Не удивительно, что и в самих «шестидесятых» и много позже «Литературная Грузия» знакомила своих читателей с творчеством этого, действительно примечательного поколения. Мы постарались максимально отразить спектр «60-ых»: здесь и братья Чиладзе, и Шота Нишнианидзе, и

Реваз Инанишвили, и Гурам Рчеулишвили, и Гиви Гегечкори. У вышеперечисленных поэтов и прозаиков были верные друзья-критики и, насколько позволял объем, в нашем сборнике представлены образцы критики и эссеистики, обрисованы портреты Гурама Асатиани, Реваза Тварадзе, Отии Пачкориа, Гии Маргвелашвили...

С конца 70-х годов прошлого века в грузинской литературе начинаются знаменательные новации, которые в той или иной мере отражала и «Литературная Грузия». Мы, в свою очередь, отобрали из многочисленных публикаций несколько, на наш взгляд, наиболее знаменательных имен, начиная с Гурама Дочанашвили и завершая также прозаиком, но уже другого поколения и другой повествовательной манеры, участника и летописца трагических событий грузино-абхазского конфликта – Гурама Одишария. Образцы творчества самого молодого поколения литературного поколения, вышедшего на арену уже на пороге XXI века (которые, уже не от хорошей жизни, лежали в редакционном портфеле), публикуются с соответствующим введением и здесь не стоит повторять сказанное.

Работая над составлением этого сборника, мы с особым теплом перелистывали те пожелтевшие от времени страницы журнала, которые повествовали о том, как «Литературная Грузия» в силу своей специфики – грузинского русскоязычного журнала, в силу царящего здесь толерантного духа объединила многих, схожих в своих возвышенных устремлениях людей; объединила иногда, просто как авторов одного журнала, а чаще – как единомышленников, соратников и друзей для которых года, связанные с сотрудничеством в «Литературной Грузии», навсегда останутся одним из лучших периодов жизни.

Заза Абзиганидзе

Содержание

Полувековой путь	3
Илья Чавчавадзе	
Поэт. Перевод М.Максимова	11
Деятнадцатый век. Перевод Г.Чикваидзе	12
Симон Чиковани	
Майский дождь. Перевод Б.Пастернака.	15
Борис Пастернак	
Снег идет	17
Галактион Табидзе	
Абхазский дождь. Перевод А.Патарая	19
Ираклий Абашидзе	
В Мцхета. Перевод А.Межирова	21
Микола Бажан	
Родник. Перевод Г.Литвака	24
Георгий Леонидзе	
Судьбы Грузии. Перевод А.Межирова	26
Анна Каландадзе	
Стихи. Перевод Б.Ахмадулиной	31
Тамаз Чиладзе	
Из книги «Сети звезд». Перевод Е.Евтушенко	
Перевод К.Коринтели	38
Важа Пшавела	
Что называется свободой? Что такое свобода?	40
Колау Надирадзе	
Снег идет. Перевод С.Стаценко	49
Мурман Лебанидзе	
Стихи. Перевод Р.Сефа	51
Баграт Шинкуба	
Я родился под солнцем Грузии. Перевод Э. Иодковского ...	53
Иван Тарба	
Стихи. Переводы Б.Ахмадулиной и Э.Иодковского	54

Джансуг Чарквиани	
Небо Грузии. Перевод Э.Иодковского	57
Булат Окуджава	
Картли	59
Григол Абашидзе	
Строки о жизни. Перевод П.Антокольского	62
Станислав Куняев	
Грузинские тосты	63
Юнна Мориц	
Из цикла «Грузинские гравюры». Стихи	64
Реваз Инанишвили	
Море. Рассказ. Перевод В.Зининой	67
Гурам Рчеулишвили	
Старая учительница. Рассказ. Перевод К.Коринтели	70
Гиви Гегечкори	
Из цикла «Сезам, отворись!» Перевод Ю.Мориц	74
Елена Николаевская	
Стихи	77
Отар Чиладзе	
Громко дождь стучал. Перевод Ю.Мориц	79
Александр Цыбулевский	
Стихи	81
Елена Ахвледиани	
Петре Оцхели	83
Ладо Гуднашвили	
Большой художник	86
Витезслав Незвал	
Стихи. Перевод с чешского Г.Мазурина	88
Лев Аннинский	
То, что мы называем книжностью.	90
Борис Пастернак	
Письма грузинским друзьям	116
Оливер Уордроп	
Зеркало жизни	121

Иосиф Гришашвили	
Когда пишу стихи. Перевод А.Ахматовой	138
Михаил Квливидзе	
Памяти Саят-Нова. Перевод А.Ахматовой	139
Тициан Табидзе	
Бальмонт и Грузия. Вводное слово Л.Андгуладзе	140
Николай Тихонов	
Сосны Пицунды	146
Арсений Тарковский	
Дождь в Тбилиси	147
Нодар Думбадзе	
Мать. Рассказ. Перевод З.Ахвледиани	149
Михаил Синельников	
Шарден в Тбилиси	160
Гурам Дочанашвили	
Человек, который очень любил литературу.	
Рассказ. Перевод Э.Джалиашвили	162
Тамаз Натрошвили	
Гурам Асатиани	210
Морис Поцхишвили	
Стихи. Перевод И. Сергеевой	216
Владимир Леонович	
Стихи	218
Ян Гольцман	
Неслышно подошел Покров	220
Илья Дадашидзе	
Стихи	221
Иза Орджоникидзе	
Стихи. Перевод М.Кудимовой	223
Бесик Харанаули	
Стихи. Перевод М.Кудимовой	226
Белла Ахмадулина	
Павлу Антокольскому	235

Георгий Маргвелашвили	238
Когда на нас глядит поэт	
Мака Джохадзе	246
Гурам-Гурам. Рассказ. Перевод В.Хеладзе	
Александр Кушнер	251
Зимой в Тбилиси	
Галина Корнилова	253
Вот фиалка (этюд о городе)	
Роман Миминошвили	261
Тенгиз Буачидзе	
Реваз Асаев	265
Годы. Пер. Н.Горохова	
Чабуа Амирэджиби	266
Сказки. Перевод Г.Снегирева	
Гурам Асатиани	274
Как любили в Грузии	
Александр Златкин	292
Послание к людям	
Отар Чхендзе	297
Домино. Рассказ. Перевод Н.Тархнишвили	
Лунджи Магаротто	306
Поэтика «Взгляда» в поэме И.Чавчавадзе «Отшельник»	
Годердзи Чохели	313
Бера. Рассказ. Перевод Е.Бараташвили.	
Нугзар Шатаидзе	318
Бес. Рассказ. Перевод Л.Беджизати	
Дональд Рейфельд	325
Григол Робакидзе	
Наира Гелашвили	329
Миниатюры из цикла «Осколки зеркала».	
Перевод Л.Кравченко	
Реваз Тварадзе	340
Отиа Пачкориа и его друзья	

Отна Пачкориа	
Из записной книжки	346
Заза Абзианидзе	
Нетускнеющий образ.	353
Гурам Одишария	
Возвращение в Сухуми. Перевод Л.Татишвили	362
Инна Кулишова	
Стихи	371
Тамаз Чхенкели	
«Видишь, темнеет...»	374
Гага Нижарадзе	
Советский анекдот: национальные стереотипы	378
Анаида Беставашвили	
Век любви	385
Георгий Антелава	
Вспоминая ушедших друзей.....	388
Нико Самадашвили	
Стихи. Перевод Б.Окуджава	393
Мухран Мачавариани	
Стихи. Перевод Г.Кебуриа	396
Шота Нишнианидзе	
Одиночество. Перевод Г.Кебуриа	397
Шалва Кармели	
Стихи. Перевод С.Гандлевского и З.Габуня	3983
Георгий Абзианидзе	
Шалва Кармели. Силуэт	403
Анна Николадзе	
Чернышевский и грузинская общественность	407
Александр Блок	
«...Берегитесь Елисейских полей...»	415
Наталья Соколовская	
Стихи	419
Ирэна Сергеева	
Стихи	421

Гурам Шарадзе	
«Муза двадцатого века»	423
Акакий Гацерелия	
Анна Ахматова	429
Татьяна Никольская	
«Блокадная тетрадь» Тамары Кипиани	438
Александр Эбаноидзе	
«Ограбление по-грузински»	445
Паола Урушадзе	
Стихи	455
Из редакционного портфеля	458
Анна Григ	
Стихи	460
Ирина Зурабашвили	
Рассказы	464
Гугули Кебуриа	
Стихи	471
Лела Самниашвили	
Стихи. Перевод А.Лобовой	473
Элла Гочиашвили	
Стихи. Перевод Д.Лоскутова	475
Заза Тварадзе	
Стихи. Перевод М.Амелина	478
Шота Иаташвили	
Стихи. Перевод К.Чухрикидзе	480
Теона Бекишвили	
Стихи. Перевод А.Пленинг	480
Вместо послесловия	487

საიუბილეო კრებული „ლიტერატურნაია გრუზია“

გამომცემლობა „ინტელექტი“

თბილისი 2008

Издательство "Интелекти"
Тбилиси, пр.И.Чавчавадзе, 176
intelekti@caucasus.net
www.intelekti.ge

Тираж 350 экз.

Цена договорная

